



# ЮЖНОЕ СИЯНИЕ

ОДЕССКИЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
ЖУРНАЛ

4(20)'2016

---

**Главный редактор**  
Станислав АЙДИНЯН

**Выпускающий редактор**  
Сергей ГЛАВАЦКИЙ

**Отдел поэзии**  
Людмила ШАРГА

**Отдел прозы**  
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

**Отдел литературоведения**  
Алёна ЯВОРСКАЯ

**Общественный совет:**  
Евгений Голубовский (Одесса), Владимир Гутковский (Киев),  
Олег Дрямин (Одесса), Олег Зайцев (Минск),  
Кирилл Ковальджи (Москва), Татьяна Липтуга (Одесса),  
Марина Матвеева (Симферополь), Виктор Петров (Ростов-на-Дону),  
Александр Петрушкин (Кыштым), Юрий Работин (Одесса),  
Илья Рейдерман (Одесса), Анна Стремшинская (Одесса),  
Александр Хинт (Одесса), Евгений Черноиваненко (Одесса).

---

Свидетельство о регистрации: серия ОД № 1563-434-Р от 16.11.2011 г.  
Учредитель – Общественная организация «Южнорусский Союз Писателей»

Е-mail редакции: [aurora\\_australis@lenta.ru](mailto:aurora_australis@lenta.ru)  
Интернет-версия журнала: [ursp.org](http://ursp.org)

© «Южное Сияние», 2017

# В НОМЕРЕ

## ПОЭЗИЯ

Одесса: Ирина Дежева. <b>Как рассказали мимы.</b> Стихотворения .....	4
Одесса: Юлия Мельник. <b>В троллейбусе по Млечному пути.</b> Стихотворения .....	10
Одесса: Юлия Петрусевичюте. <b>«Во флейте ещё не остыло дыханье...».</b> Стихотворения .....	14
Одесса: Алёна Щербакова. <b>Песни гор.</b> Стихотворения .....	20

## ПРОЗА

Одесса: Инна Ищук. <b>Гость с неба.</b> Рассказ .....	22
---	----

## ПОЭЗИЯ

Одесса – Москва: Ольга Ильницкая. <b>Над головою благодать.</b> Стихотворения .....	30
Одесса: Анна Стреминская. <b>«Венеции на самом деле нет...».</b> Стихотворения .....	34
Одесса: Владислав Китик. <b>Возраста иммунитет.</b> Стихотворения .....	39

## ПРОЗА

Одесса: Алексей Рубан. <b>Дорога назад.</b> Рассказы .....	44
--	----

## ПОЭЗИЯ

Новосибирск: Лада Пузыревская. <b>Покидающий этот дождь.</b> Стихотворения .....	55
Москва: Арина Грачёва. <b>Вирус воркованья.</b> Стихотворения .....	61
Тамбов: Майка Лунёвская. <b>Дня голубая прорубь.</b> Стихотворения .....	64
Ставрополь: Сергей Сутулов-Катеринич. <b>ВГИК: 30 лет спустя. Фотографии на память.</b> Стихотворения .....	68
Сумы: Игорь Касьяненко. <b>Обнаружить себя на цветке.</b> Стихотворения .....	75

## ПРОЗА

Николаев – Кирьят-Ям: Юрий Гельман. <b>Подарок ангела.</b> Рассказ .....	81
Майями: Елена Черткова. <b>Счастливый.</b> Рассказы .....	88
Одесса: Анатолий Михайленко. <b>И ливни шли... Новелла</b> .....	93

## ПЕРЕВОДЫ

Аспазия. <b>Стихотворения.</b> В переводах с латышского Руты Марьяш .....	98
---	----

## ПРОЗА

Москва: Рада Полищук. <b>Ах, Одесса.</b> Триптих .....	104
--	-----

## ПОЭЗИЯ

Москва: Александр Спарбер. <b>Высокое косноязычье.</b> Стихотворения .....	131
Москва: Владимир Мялин. <b>«Вниз по горке ледяной...».</b> Стихотворения .....	136

## ПРОЗА

Коломна: Александр Руднев. <b>У Чуковского в Переделкине.</b> Мемуарный очерк .....	140
Москва: Екатерина Августы Маркова. <b>Я звал тебя.</b> Эссе .....	143

«ЛИТМУЗЕЙ»

Москва – Одесса: Станислав Айдинян. <b>О личности и поэзии В.П. Филатова</b> .....	148
Владимир Филатов. <b>Проза и поэзия</b> .....	150

«ДРУЖБА ЖУРНАЛОВ»

Кишинёв: Олеся Рудягина. <b>Журнал «Русское Поле» – в гостях у «Южного Сияния».</b> <i>Вступительная статья</i> .....	168
Кишинёв: Татьяна Некрасова. <i>Стихотворения</i> .....	170
Кишинёв: Ирина Ремизова. <i>Стихотворения</i> .....	172
Кишинёв: Александра Юнко. <i>Стихотворения</i> .....	178
Кишинёв – Прага: Леонид Поторак. <i>Стихотворения</i> .....	183
Иванча: Михаил Поторак. <i>Рассказы</i> .....	186

«ОКОЕМ»

<b>По итогам «Пятой стихии – 2016».</b> <i>Вступительная статья</i> .....	190
Нью-Йорк: Юрий Бердан. <i>Стихотворения</i> .....	191
Стихотворения финалистов поэтического конкурса ( <i>Сергей Макеев, Сергей Смирнов, Никита Брагин, Владимир Кетов, Виктория Кольцевая, Вера Кузьмина, Клавдия Смирягина, Ольга Флярковская, Евгений Овсянников</i> ) .....	196

«ШКАФ»

Москва – Одесса: Станислав Айдинян. <b>Пьеса Максима Панфилова «В кругу ночи» – о Сергее Есенине.</b> <i>Рецензия</i> .....	205
Москва: Александр Карпенко. <b>Рог изобилия Сергея Шелкового.</b> <i>Рецензия</i> .....	207
Москва: Александр Карпенко. <b>«Падение в небесах» Сергея Главацкого.</b> <i>О книге Сергея Главацкого</i> .....	208
Евпатория: Елена Коро. <b>Рыбное место.</b> <i>О книге Евгении Джен Барановой</i> .....	210
Копенгаген: Нина Гейдэ. <b>Сюртук из вечности.</b> <i>О книге Станислава Айдиняна «Механика небесных зерновов»</i> .....	213

# ИРИНА ДЕЖЕВА

---

## КАК РАССКАЗАЛИ МИМЫ

ХУбилХУ  
(обрядовая песня)

*Глюку*

Мы встретимся за Малым Эрмиажем  
Ты будешь прятать волосы и голосить глаза  
Так чуткость возвращается однажды  
Вне мыслимый рукав скользя  
Когда и выжить-то отжил приказ  
Мы воплотим вселенскую причуду  
Мы будем брать за брат как брат сестре  
И усмехнётся в оный раз архангел  
Такой трактовке на земле  
О чудо!  
Ты похож на вдох  
Прописан солодом кратчайшей сказки  
Ты нем  
Как я смотрю на берега любя  
В огласке веруя тетрадке  
Оглянись

## ЗАГАДКА

И мы два сердца, пояденные фильмом  
Две моли, сжатые, чем Бог...  
Пребудем жалко, жадными не жарко  
Два рояля  
Поставленные в опочивальне  
Вдруг  
Забьём на сладкие привычки  
И как бы так не про-стоять  
Не верить жалкое, жадное, жаркое...  
И чуть повыше  
Чуть повыше  
Чуть  
Ять



## ДВЕ МИССИИ НА РАССВЕТЕ

– Ну?  
 Может быть, последняя строка  
 Жара, отбой, турецкий хлеб и группы риска  
 На трубчатой скале последних царств  
 Имперский поцелуй  
 Забыли флирт переименовать летописцы  
 В скорбь  
 И младший брат апрельским снегом  
 И старший тронут небеса  
 Искусством  
 Плоть погреть под светофором  
 Прочсть – всех  
 Вымереть  
 Засунуть лишь одно желанье –  
 Побороть себя – как Ч(э)Л(эл)Е потомка  
 В писательски незримый катафалк...

## СНЫ

К чему гранат на пляже  
 Тефственный песок касаясь  
 Пальма, вкус и нежность ветерка  
 Неужто я опять на гвоздь попалась  
 На новый ржавый якорь этот Бытия  
 Но был орёл  
 Он тактно приближался  
 Он так парил – я потеряла явь  
 И столько схожести приятной  
 Как никогда всегда познав простя.сь..  
 Придёт ли час навывдуманных story  
 Иль это грех пугает спесь  
 И нет уж ветерка  
 Всё счастье – образ  
 И весь он взвесь  
 На Безымянном кролем  
 Тухнет и тягает //:  
 Ты  
 Не  
 Придётся  
 Отчасья запах  
 Не густ. Смоковница суха  
 Мы дельно прячем свет, когда охота хапать  
 И удим пульс как двое перстьешляпок у виска  
 Когда придёшь – останется черства планета  
 Муж мой с притчей косаря  
 Плодов пустырьи семечко за тишь  
 Два лета  
 Крови кроссом  
 И совсем твоя  
 Я отвернусь  
 Чтоб боле всем попало



Пахнёт киселью  
 Вымолвит ли вдох  
 Хотенье не касаясь  
 Трапез  
 Чресел  
 В сакхьях по воск уйти  
 И вспрынуть плакать  
 Пахнуть падать невдоплёс  
 На расстоянье вертикальном  
 Расстояние горизонтальных  
**Превращается** в любовь  
 И девство тянет  
 Криминальный низ  
 Блаженный верх  
 От сна восстав  
 Не исчезает поёт //:

\*\*\*

Ну кто без О  
 Без аж 2 О  
 Не я  
 Не он  
 Но кто бы даждь ми  
 Ленты ЯкорЯ  
 Без О  
 Я не  
 Не я  
 А тс.....!

### ИСПОВЕДЬ

Прости меня  
 Я думаю о многом  
 Перед разлукой сладок день  
 И тихок конь  
 И каждый час, секунду, бденье  
 Я разоряю шанс  
 И думаю о нём  
 Я кое-что нашла  
 И вроде всё простила  
 Я даже гибкой  
 Сволочью прошлась по якорям  
 И всё  
 Со дна  
 Простительное  
 Вскрыла  
 И...



\*\*\*

*Посвящается лекфок клубу*

Я думала в 14  
 А получилось в 40  
 Мечты пожившие как полдень  
 Очнулись без вопросов  
 Слава Господу!  
 Как без одежда  
 На праздник рвётся только слово  
 И взгляд оттаивающий снег  
 На Обь возложены причины  
 На горб вознесены цветы  
 Сон – жмётся мальчик нелюдимый  
 На людях вяжущий крестцы  
 И пахнет голод тучкой связи  
 И я – кто знает – чем больна  
 В 14 хотелось яви  
 А в 40 трудится душа...

\*\*\*

*Суженый как идеальный двойник  
 народная мудрость*

Ты и не ты  
 Но кто похож  
 Кого так путаю с собой небрежно  
 Стекает спесь секундно  
 За смирение не прячутся  
 В нём утопают  
 Приближеньем отразившись  
 Так  
 Меркнут  
 Как близостью порой заведено  
 Зевает, бдиг, корячится двойник  
 Ты знак и проводник?  
 Сирень и ягода распада?  
 Невстреч смазливая награда  
 Смуты мятной здесь?  
 Чувств сухих распято дно  
 И заворачивает кто-то что-то  
 Наверно(е), облака срисованные с ока  
 Антов  
 Иль братский свёрток с фресок –  
 Взгляда двойничок...с...пс...  
 Monblanc (-в трубу\*)  
 Мой танк почти заполнен  
 (Как бланк)  
 Я только дочь не родила  
 И не спостила дом  
 Никому ничуть не вяла  
 И просверкала вод каем



Ямою на ложе забыла как воронка  
 Надпись: Явь  
 Под скованным в клише забором  
 От счастья  
 Суток  
 По доверью  
 Ельбюсок едва ли дочерью  
 Сотой верно  
 Потекла  
 Остерегись, порог  
 За профиль  
 И за шкуркою медведя  
 Тщедушья запах  
 Вянь, просоленная язь  
 Не столько мой осколок  
 Впереди или сзади  
 Во скольком серафимы  
 Поют и плачут  
 Молчат и помнят  
 Стоят и зной тот...  
 Раскосенькая Зоя...  
 Опознан венчик века – повторение  
 Прихода  
 Ты и не ты  
 Но так похож  
 Как горизонт  
 И след уездного помёта  
 Как всё, что знаю, бавлю, верю,  
 Под киото.м  
 С.дави  
 Во растворение  
 Любовь ...

## МИМОЛЁТНОЕ

*Д. Добровольскому*

Високосная весна  
 Виски косит  
 Высоко висит  
 Ось моя ох! Виснет  
 Кос уж нет  
 А виски просят  
 Гости-гуся  
     с малым сердцем  
 Между думою и травами  
 Скрывшиеся  
 Куролесные  
 Истаявшие  
 Облака...  
 Снега...  
 Как путь неосвещённый  
 Тобой незряч



---

В посадке контура – река  
По конуре – руины и Стамбул  
Ты впрямь зарёкся? С кондачка с горы исчезнуть?  
Иль так, как рассказали мимы  
В ми-? пожаловал  
Дурак  
    то есть  
    есаул...

# ЮЛИЯ МЕЛЬНИК

---

## В ТРОЛЛЕЙБУСЕ ПО МЛЕЧНОМУ ПУТИ

\*\*\*

Не бросай, ребёнок, в море камни...  
Вдруг случайно ты его поранишь,  
Рыбу одинокую спугнёшь...  
Привыкай хранить солёный ветер  
В сердце, плеск прибоя на рассвете  
Чутко-чутко, как последний грош.

Привыкай, что каждый раз другое  
Это море и у нас с тобою  
Не найдётся, что ему дарить...  
Для него мы лишь смешные дети,  
Хоть сверкаем в этом ярком свете  
Иногда, как древние цари.

А когда идёшь по водной кромке,  
Море может показаться горьким,  
Столько в нём намешано разлук...  
Столько лодок и корыт разбито,  
Что порою кажется сердитым  
Даже этот нежный, вечный звук.

\*\*\*

Есть дни, куда приходят без поклажи –  
Без сумок, без зонтов, без рюкзаков...  
А в небе тучи, словно пятна саж  
От чьих-то писем и черновиков.

Здесь Диоген свою покинул бочку,  
Она сквозь сердце катится – пуста...  
И дерево баюкает, как дочку,  
Немую жизнь багряного листа.

Вдруг забываешь стрелки на запястье,  
Они гуляют сами по себе...  
И ты молчишь. И что такое «счастье» –  
Ещё пока неведомо тебе.



Слова, как семечки, летят сквозь пальцы,  
Пора опомниться, пора идти...  
Иначе кажется – ты едешь «зайцем»  
В троллейбусе по Млечному пути.

\*\*\*

Я хочу говорить с тобой, осень...  
Я учу твой язык давно.  
Ты всё ближе ко мне и просинь  
Твоих глаз блестит за окном.

Ты шуршишь, как бальное платье,  
Хоть ещё не начался бал...  
И пестреет, словно замятые,  
На ладонях листвы судьба

Озорного краткого лета,  
Что готово на юг сбежать,  
И деревья все ждут совета,  
Как тугие пальцы разжать.

Не меняются только сосен  
Шали терпкие на плечах.  
Я хочу говорить с тобой осень...  
Ну а больше всего – молчать.

\*\*\*

Рассеянный, добрый месье Паганель  
Спасёт непременно, над картой старея,  
И смелого Гранта, и юного Грея,  
И даже потерянный кем-то апрель.

Сугул, близорук и немного смешон,  
Немеркнувший свет позапрошлого века,  
Он чище и радостней первого снега...  
А здесь, рядом с нами, что сделал бы он?

Каким бы он островом нас одарил,  
Когда всё изведано, спето, обжито,  
И только тоска дикой веткой привита,  
И хрупким цветком прорастает внутри.

\*\*\*

Напиши в судовом журнале,  
Что увидел берег вдали.  
Для чего трофеи, медали,  
Что потом хранятся в пыли?



Нарисуй одинокий остров,  
Где никто никого не съел,  
Где дышать и сладко, и просто,  
И откуда вернёшься цел.

Где тебе не подыщут цепи  
После сладкого пирога...  
«Может, есть такой остров в небе,  
Но ведь мы на Земле пока», –

Ты ответишь, пожав плечами,  
Чистый, светлый, как серебро...  
И закроешь журнал в печали,  
И отложишь своё перо.

\*\*\*

Я немного комнатный цветок,  
Мне не по плечу шторма и ветры...  
Мне нужней в окне немного света,  
И молчанье, и воды глоток.

Хоть порой мне снятся корабли,  
Что увозят к островам нездешним,  
Я врастаю в эти стены, вещи,  
В горечь терпкую родной земли.

Небольшая власть цветку дана –  
Праздновать коротенькое лето...  
И заплакать оттого, что где-то  
На Земле опять идёт война.

\*\*\*

Соломон опять обронил кольцо,  
И блеснули слова с кольца,  
Чтобы стало проще взглянуть в лицо  
Суламифи и небесам.

Отпустить эту девочку-виноград,  
Эту сладкую грусть внутри,  
Этот свет, эту музыку невпопад,  
Над которой мы не цари.

И пойдёт она, лёгкая, словно луч,  
Золотая, как дикий мёд...  
А кольцо, как закаятье, твердит в углу:  
«Всё пройдёт... Всё пройдёт... Всё пройдёт...»



\*\*\*

Говорят, что к нам прилетают с далёких звёзд...  
Их ладони стирают следы наших детских слёз.  
На полях что-то чертят, но разве же разберёшь  
Их неясный почерк, их мудрёный чертёж?

Если мы для них – опыт, они для нас кто, скажи...  
И о чём эти круглые письма в золоте ржи?  
Одинокий учёный в очках на длинном носу,  
Ты прочти в этих письмах, что любят нас и спасут.

# ЮЛИЯ ПЕТРУСЕВИЧЮТЕ

---

## «ВО ФЛЕЙТЕ ЕЩЁ НЕ ОСТЫЛО ДЫХАНЬЕ...»

*Из цикла «Книга Бабы Яги»*

\*\*\*

Сон деревянный, глубокий, как старый колодец,  
Гулкий, как колокол, тёмный, как тень под камнями,  
Спутанный, как обнажённые белые корни.  
Запахи влажной земли в развороченной яме,  
Мокрого дерева, ягод колючего тёрна.  
Наглухо дом заколочен. И ждёт незнакомец

На перекрёстке вчера, и сегодня, и завтра,  
Горстью зерна засыпает пустые глазницы,  
Горстью зерна барабанит в закрытые окна.  
По деревянному срубѹ дождями стучится,  
Снится то птицей осенней, то ветром, то волком,  
Возле реки, где рогатая пьёт кобылица.

Я просыпаюсь. И с первым же медленным вдохом,  
Первым за тысячу лет, возвращается память –  
С первым глотком молока возвращаются силы.  
Сказано слово, и яблоку некуда падать.  
Окна открылись, и хлопают серые крылья.  
Хлеба кусок не забудь за порогом оставить.

Чёрного хлеба и чашку осеннего меда  
Нужно оставить под яблоней, между корнями.  
Время гостей. Приходи на блины и орехи.  
Время сучить бесконечную нить над полями,  
Ткать полотно, шить рубашки и штопать прорехи,  
Время гусей-лебедей отпускать на свободу.



\*\*\*

Из земляного хаоса корней.  
Из плотной глины и из чернозёма  
Ты прорастаешь. Лопаются зерна,  
Течёт сукровица и липкий клей,  
И каждое усилие весомо,  
И груз на плечи давит всё сильнее.  
А ты тяжёлый, сонный, неживой,  
Не одолевший сумеречной грани.  
Ещё трещит челнок на ткацком стане.  
И волосы присыпаны землей,  
И понемногу нарастают ткани,  
Но ты ещё незрячий и немой.

Я буду ткать твою земную плоть,  
Я буду греть твоё земное тело,  
Я буду жечь в печи сухие стрелы,  
И пальцы наконечником колоть,  
Чтоб нитка стала красной, а не белой,  
Чтоб холст ни разорвать, ни распороть.

Над ледяной рекой холщовый мост  
Два берега связал одной дорогой.  
Я снова хлеб оставляю за порогом,  
И буду ткать свой бесконечный холст,  
И без иголки шить рубашку волку,  
Чтоб он домой царевича принёс.

\*\*\*

Сколько зёрен в колосе?  
Сколько звёзд в космосе?  
Сколько песен в голосе?

Небесной коровы косматое лить молоко  
В холодную воду реки, за которой так тихо,  
Что слышно, как ткёт бесконечную ткань паучиха,  
И щёлкает лёгкий челнок под прозрачной рукой.

И падает мелкий снежок за расстрелянный лес,  
За ворот рубашки, и в грудь пробивается дрожью.  
В сторожке висело ружье. Знаешь, очень похоже,  
Что кто-то незванный туда накануне залез.

Две красные ягоды в голову, снег в волосах.  
Последняя роща уходит в последний полёт.  
На синих губах молоком расплывается лёд,  
И тёмная кровь проступает на белых холстах.



\*\*\*

Ласточки улетели. В небе светло и пусто.  
 Лето уже на пределе, на последнем дыхании.  
 Время разлук и странствий, череда расставаний.  
 Время сбросить на ветер бремя лишнего груза.  
 Бремя усталой плоти снять, как старое платье.  
 Сорок ли дней перелёта, шесть ли недель на крыльях.  
 В тех краях, что за краем, открывается вырий.  
 Не навсегда расстаёмся. Только не надо плакать.

\*\*\*

Просто дивись мені в вічі до самого скону.  
 Хто з нас перший піде і закриє очі?  
 Бачитимемо в очах дорогу Додому,  
 Жовтих, як місяць, мій хижоокий вовче.

Я не боюся, мені тільки якось стрьомно:  
 Там чекають на нас, чи вже забули обличчя?  
 Ми підемо за місяцем у потойбіччя.  
 Кажуть, вовки знаходять шляхи Додому.

\*\*\*

Научи меня, ночь, тишине,  
 Пусть уснут утомлённые звуки,  
 И бессонные звёзды закроют сухие глаза.  
 Пусть усталое поле во сне  
 Разожмёт онемевшие руки,  
 И по тёмной воде не разносятся пусть голоса.

Станет тихо до звона в ушах.  
 Я увижу, как дышит дорога,  
 И услышу свой собственный выдох и собственный вдох.  
 Научи меня просто дышать.  
 Научи меня радости вдоха,  
 Чтобы видеть Того, Кто стоит у начала дорог.

\*\*\*

На рубеже столетий, на рубце,  
 На криво сросшемся открытом переломе  
 Никто уже не помнил о Хароне  
 И двух монетах на своём лице.

А над рекой стояли облака,  
 И вниз во все глаза смотрели боги.  
 И сколько бы не путались дороги,  
 Единственной всегда была река



Из молока и ясноглазых звёзд,  
Солёная и сладкая немного.  
И там, куда сходились все дороги,  
Мы видели паром. А боги – мост.

\*\*\*

Дождь всё идет, засекает усталую землю.  
Город плывёт по холодной реке, утекает сквозь пальцы.  
Стёртой монетой незнамо которого царства  
Тускло блестит, опускаясь в иные пределы.

Долгая песня у самой воды на прощанье  
С белой ладони стекает, и звук растворяется в дыме.  
Соль обжигает язык, и стирается имя,  
Только во флейте ещё не остыло дыхание.

\*\*\*

На грани жизни светлая вода  
Течёт сквозь пальцы, капает с ладоней,  
И каждой каплей мёда день наполнен,  
Как солнцем яблоко, и молоком – звезда.

Ты здесь ещё, и льётся Млечный путь  
В глаза и в рот, в протянутые руки,  
И новонародившиеся звуки  
Скользят по тонким струнам прямо в грудь.

\*\*\*

Флейта ещё не остыла, в ней теплится выдох.  
В тонком стволе не погасла последняя нота.  
Звук резонирует в дереве, музыка длится.  
Голос умолк, но на лестнице, в гулких пролётах,  
Держится эхо, вибрирует в окнах открытых,  
И подхватить его могут и ветер, и птица.

\*\*\*

И конь гуляет в медленном дожде,  
Молочном, тёплом, сладком, бесконечном,  
И никогда не наступает вечер,  
И вечный день стоит в лесной воде.

В объятьях неба голая земля  
Раскрытым полем принимает семя.  
И здесь ещё не народилось время,  
Здесь белый дождь и сонные поля.

*Из цикла «Весна»*



А мы – свидетелями торжества  
Приглашены на брачный пир и ложе,  
Где яблоко и конь – одно и то же,  
Где космос сыплет зёрна в жернова.

\*\*\*

Мы видели цветущие сады.  
Кипели молоком и мёдом чаши,  
А ветер был и сладостней, и жарче,  
Чем поцелуев сладкие следы.

Спустилось облако на спящие холмы,  
И обхватило, и вросло корнями,  
И закипело белыми цветами.  
А вкус цветов узнали только мы.

\*\*\*

Долгий день до краев ожиданьем дождя переполнен.  
Долгой жизни серебряный ковш, ледяной, запотевший,  
Будем пить не спеша из колодца под старой черешней,  
И смотреть, как луна кобылицу ведёт через поле.

Будем жить не спеша, обнимая друг друга ночами,  
В старом доме у моря, где пересеклись три дороги.  
Будут нас навещать только птицы и древние боги,  
И делить с нами радости, и предаваться печали.

\*\*\*

Вьётся нитка, Эвридика, жизнь моя, не уходи.  
Ткёт молочные дожди  
В серые холсты ткачиха.

Все мы пленники, дружок, тесен каменный мешок.  
Время сжало кулачок.  
Тихо сыплется песочек.

Звонко щёлкает челнок, тянет сквозь дожди дорогу,  
Отмеряя понемногу  
Долгий срок, короткий срок.

И ложится полотно серебристой тонкой пряжи  
На столы, и шьёт рубашку  
Без иглы не знаю кто.



\*\*\*

Я услышу, как волны стучат о дощатую пристань.  
Я увижу, как ветер качает ночные деревья.  
Мы последние дети весёлого братца Апреля,  
Нам дано то, что будущим спящим уже не приснится.

Мы, как древние боги, сильны, мы умеем смеяться.  
Мы, как древние царства, богаты вином и весельем.  
Но несжатым останется поле, в котором мы сеем,  
И никто не найдёт наши скрытые в яблоках царства.

И никто не сумеет напиться из наших колодцев,  
И никто не сыграет аккорда на крыльях стрижиных.  
Наша музыка так и останется неувимой,  
И заплачет о нас только осиротевшее солнце.

# АЛЁНА ШЕРБАКОВА

---

## ПЕСНИ ГОР

### ВЕСНА О ЗЕМЛЕ

Изнанка весны – Тамерлан.  
В стрелу проникает стрела,  
Улыбкой такой обезглавь,  
Задай мне загадку, Калаф.  
Арена вращает пои,  
И клятвы, понятные им,  
Навек недоступные нам,  
Чем можешь их всех напоить?  
Что можно течению отдать?  
А, впрочем, в одной из элад  
Нас тоже сочли за своих.  
Раз солнце восходит на трон,  
А спины влажнеющих троп  
Теперь превосходят игрой  
Железные лица ворот,  
Алмазных дворцов города,  
Равнин пламеневшие рты,  
И звёзд багровевших стада,  
Цветочного рода орда  
И всадники ветра – твои.

Но как пред луной устоит  
Сто молний доспехов, когда  
Достаточно встречи двоих.  
Мой дом заливает вода,  
Твой дом заливает вода

### ЧАРАДАГ

Ты да, обратное тени,  
трезвеющей у порога – темы,  
глины второго текста,  
что и на стёклах постелей  
всходило под рёбрами  
тихо персоной кобры;

Ты – дар  
 утраты,  
 кристаллов, кратных  
 планет,  
 ответ – гравитации,  
 мелькающих рано станций,  
 игра  
 обратного  
 острова, где недавно  
 ещё чернела гора –  
 как данность  
 волн,  
 очередной контрольный  
 отражения воина,  
 плеска  
 сна, встающих за лесом;  
 Да, открытый отведай  
 Заповедник



\*\*\*

Голова будды из шунгита с отбитым краем –  
 Притча о сопромате.

Щит, пронзённый изнанкой плёнки –  
 В зеркале встречи.

Мальчик, поющий у моря Изиды,  
 Престола её коленей.

### ТОМУ КТО НЕ ИСЧЕЗ

...Когда не осталось слёз,  
 не настало дел,  
 не представилось слов...

прийти к ним, стать прозрачным, как предать,  
 ясней, чем дверь луча вошедший нерв,  
 изменчивость – что может быть верней  
 во времени, на слове невермор,  
 как опыт (невозможностью отдать) –  
 открытое и лёгкое, как «да»,  
 протяжное и слитное, как снег.

## ГОСТЬ С НЕБА

### рассказ

Мария давала распоряжения кухарке Дарье, когда заглянул Богдан. Утром к ним приехала группа туристов на постой. Они заказали праздничный ужин, и надо было составить блюдо из гуцульских блюд.

– К нам ещё один постоялец, прими, – коротко бросил муж и уже собрался подниматься по лестнице в гостиную, но остановился, – только повнимательней с ним. Он какой-то особенный, не наш.

Мария отложила листок, испещренный крупным почерком, и побежала в гостиную. Там в кресле её ожидал гость. Обычно Мария по первому взгляду определяла, что за человек к ней пожаловал, и как с ним вести. Бывали гости своенравные. И приходилось держать свою марку, чтобы на голову не сели, и уважили. Мария сразу таких определяла и задавала свой тон. Но здесь она немного растерялась. Он был не из категории туристов, которые постоянно останавливались у неё, чтобы покататься на карпатских горках. И не любитель покупить вдали от жены. У него была какая-то цель. Он был сосредоточен на ней. Его красивое лицо с тонкими чертами, словно скрывало тайну. Чёрные смоляные волосы, чёрные брови врзлёт над зелёными озёрами глаз, по которым уже осели топи морщинок. И посмотрел на неё пронзительно быстро, словно что-то определив для себя, и снова ушёл в свои мысли. Он поднялся ей навстречу, высокий, могучий богатырь.

– Мария, – она протянула руку.

– Миша, – представился он, легко пожав кисть. Но Мария чуть не вскрикнула. Через неё словно прошёл ток.

– Я к вам на три дня, – сообщил незнакомец, слегка смутившись.

– Так! – согласилась Мария, широко улыбаясь, как было положено при встрече, – Миша, я дам вам одноместный с удобствами, люкс, – опустила она голову и снова взглянула в его глаза, словно пытаясь разгадать тайну произошедшего.

Но она увидела там смешинку, белоснежную, как снежинку. И ей сразу стало легко и весело. Напряжённость как рукой сняло.

– Идёмте, – позвала она его за собой, ожидая, что он возьмет баулы или чемоданы с вещами. Но он ничего не взял.

– Вы налегке? – заметила Мария.

– Да, я лёгкий на подъём, – пошутил незнакомец.

Они поднялись на третий этаж. Мария открыла дверь и пропустила Мишу.

– Я сейчас вам постель принесу, – сказала она.

Через минуту она снова была у него. Он стоял у окна и смотрел вдаль на заснеженные горы.

– Отсюда хороший вид, – заметила Мария, – лес еловый, горы, а там дальше озёра. Сейчас все бело, а летом красота. Мы с Богданом по озёрам ездили, они наш талисман. – Мария положила бельё на кровать.

Миша беспомощно посмотрел на неё. И она поняла, что застелить придется ей. С такими постояльцами она уже сталкивалась, поэтому не удивилась. Мало ли к чему привыкли! Пока она застилала, она чувствовала на себе его взгляд. Она ощущала кожей, как он смотрит на её руки, ловко одевающие подушку, скользит по шее, гладит щеку. Она остановилась передохнуть. Почему-то ей стало жарко, она покраснелась. Он понял её смущение и снова отвернулся к окну.

– А вы как вижу, не турист, не лыжник? – спросила она, взбивая подушку, – с горок не летаете.

– Летаяю, – вдруг ответил он, обернувшись, – это очень захватывает, с высоты и вниз.

– Я тоже люблю, – призналась Мария, – только мы с мужем редко выбираемся, знаете, как отель держать.

Миша вынул кушоры из кармана и отсчитал:



– Возьмите, за три дня, – протянул деньги.

Мария быстро сунула их в карман. Она почти никогда не считала. Доверяла людям. Разве что если человек шил, тогда мог неправильно дать за жильё.

– Доверяете? – улыбнулся Миша.

– Вам да! – сказала Мария и снова почувствовала, как по ней прошел электрический разряд.

– Отдыхайте, – быстро произнесла она и поспешила уйти. Хотя ей очень хотелось оставаться с ним ещё.

На кухне она снова взяла листок с меню ужина для своих постояльцев. Но вместо того, чтобы читать, перед ней снова возникло лицо гостя.

– И бануш ещё можно, – отвлекла её кухарка, старая гуцулка Дарья, которую взяли подработать на зиму.

– Да, бануш, – согласилась Мария, дописав ещё одно слово.

В кухню опять заглянул Богдан:

– Мария, едем за продуктами, через десять минут вниз, я уже прогреваюсь.

Она вскочила, сунула листок кухарке, и напоследок крикнула:

– И глинтвейн им сделаешь.

Кухарка пожала плечами. Вот ещё новость! Без этого напитка ни один вечер не обходится. Как будто бы она могла о нём забыть!

Но Мария уже одевалась в прихожей. За день ещё столько надо успеть. А по пути домой дочек из школы забрать. Она потянулась за шубой. Но одежда вдруг сама поплыла вверх. Миша снял её с вешалки и подал Марии.

– Спасибо, – поблагодарила женщина, смутившись. Ведь даже не слышала, как он спустился, – вы наверно поедете кататься на «Буковель»? – спросила она, – там лучше всего. И прокат лыж есть тоже. Хотите, подвезём?

– Нет, благодарю. В округе много хороших мест. Зачем куда-то ехать?..

– Ну, отдыхайте, – краснея, произнесла она и выскочила на улицу, где шёл густой дым от урчащей машины.

Она вскарабкалась на подножку джипа и уселась на сидение.

– Деньги взяла? – спросил Богдан.

– Да, всё здесь, – показала Мария сумочку.

Машина вырулила на дорогу, которую Богдан сам очищал от снега, и покатила в город.

Дом Марии и Богдана стоял на окраине села у самого леса. Обычно сюда приезжали любители загородного отдыха. И просто так человек с дороги попасть не мог. Поэтому появление Миши всех удивило. Его никто не рекомендовал. Он ни на кого не ссылался. А просто вдруг появился на крыльце.

– Станный этот постоялец, – сказал Богдан. – Обычно я вижу, когда к отелю подъезжают. Утром весь день крутился во дворе. А тут, смотрю, стоит на крыльце, словно с неба свалился.

– Может, и свалился, – рассмеялась Мария

– Ты поосторожней с ним, – предупредил Богдан, – его сразу не поймёшь. Что у него на уме...

Мария промолчала. Опять перед ней возникло его чернобровое лицо и зелёные глаза.

– Цыган он, что ли, – перебил её мысли Богдан, – они часто по одиночке ходят, счастье своё ищут. Только не в тот дом попал, – подмигнул он Марии.

Богдан был высоким статным гуцулом. В молодости сколько девок по нему сохло! Но выбрал он Марию. С ней по горам ходил, на лыжах катался. После свадьбы они выбрали участок возле леса, построили дом. Сначала одноэтажный. Стали людей принимать на отдых. Потом два-три этажа. А сейчас и пристройку уже сделали. И джип приобрели. В селе им завидовали, но по-доброму. Мария со всеми по-хорошему. Да и некогда по-другому. Столько забот.

Она вытасила список продуктов и калькулятор.

– Мало снега в Карпатах, вот люди и не едут, – заметил Богдан, – всю экологию нам подпортили, откуда эти потепления. Помнишь, сколько снега раньше зимой было. А сейчас лишь бы нос утереть. Как тут заработаешь.

Они выехали на главную дорогу и свернули к складу. Машину тряхнуло на кочках. И Мария почувствовала, как в бок закололо. К горлу подкатила тошнота. Она заставила себя сглотнуть. Затаила дыхание. Такие приступы повторялись уже месяц. Сначала она думала, что беременна. Но прогнозы не оправдались. Она решила, что это от перегрузки. Вот закончится сезон, тогда отдохнет. Богдан посмотрел на бледное лицо жены.



– Что такое? – спросил он.

– Всё хорошо, – кивнула Мария. И открыла дверцу машины. Не хватало ещё Богдану доставить хлопот. На нём и так весь дом. Она уверенно зашагала к двери склада, чтобы не вызвать лишних подозрений. Богдан провел её взглядом и тоже вышел из машины – к соседу, договориться насчёт завтрашней поездки в город за топливом. Марино бы он тоже взял, чтобы девчонкам обновки прикупила. Да у соседа грузовичок на два пассажирских места. Третьего некуда посадить.

На складе женщина увидела лавку и села на неё, чтобы отдышаться. От боли она едва не теряла сознание. В помещении никого не было, кроме чёрного старого пса. Он подошёл к Марии и ткнулся в колени. Мария погладила его. Пёс наверняка был бродягой. Раньше Мария его здесь не видела. Видимо, зашёл сюда, как и она, перевести дух. Она гладила пса, и боль понемногу стала отступать.

Дверь открылась, и пропустила Семёна – хозяина. Он был маленького роста, шуплый, с вьющимися каштановыми волосами и горбинкой носа. Не красавец, но успешный делец. Мария не заметила, как пёс выбежал в открытую Семёном дверь.

– Мне как всегда, – встала она навстречу Семёну, – пять мешков муки, два риса и три гречки. Ну и масла бутылка.

Семён вынул замусоленную бумажку и быстро написал цену.

– Почему так дорого? – изумилась Мария.

– Та всё ж подорожало, – в свою очередь удивился Семён, – ты, видать, давно в городе не была. Почти в полтора раза масло подскочило, хлеб тоже подорожал.

– Ладно, – согласилась Мария, – отсчитывая сумму, – тогда сотню буду должна.

– Ты кого хошь уговоришь, – вздохнула Семён и принялся за мешки. В одном мешке оказалась дырка. И рис тонкой струйкой потёк на пол.

– Стой, – закричала Мария, – так всё добро разбросает. Она быстро завязала дырку верёвкой, подобранной с пола.

– Хозяюшка, ты Мария, – ласково произнес Семён, – мне бы тебя!

Он до сих пор ходил в холостяках. Не ответила ему Мария. А больше никого по сердцу он не нашёл.

– Не дождёшься, – засмеялась Мария и поспешила в машину открыть багажник. Семён загрузил мешки и масло, и всё топтался рядом.

– Да иди ты уже, – подтолкнула его Мария.

Семён увидел Богдана и последовал совету. Богдан супротив Семёна был силен и могуч. И чужих взглядов на свою жену терпеть не мог.

– Всё взяла? – спросил Богдан.

– Всё, но с долгом. Семён цены поднял, – сказала Мария.

– Так-то оно. Всё дорожает, – махнул рукой Богдан, – на завтра договорился, поеду в город.

– А я? – спросила Мария.

– Места не будет, – отмахнулся Богдан, – в следующий раз. Девчонки до конца марта подождут, не время сейчас наряжаться.

Машина выехала на дорогу. И Мария снова увидела чёрного пса. Он смотрел на неё, словно спрашивал, как она.

– Смотри, какой забавный пёс, – показала Мария Богдану.

– Где? – оглянулся Богдан, – ничего не вижу.

Они быстро доехали до школы, где их ждали дочки. Настя и Олеся козочками прыгнули на заднее сидение.

– Мама, а я сегодня лучше всех стих рассказала, – первой сообщила младшая Олеся.

– А я больше всех подтянулась, – перебила Настя. Она была на год старше и не терпела первенства младшей сестры.

Мария выгашила из сумки леденцы – держите девчонки. Неожиданно в боку снова закололо. Она прижала руку и закрыла глаза. Как же эту боль заставить замолчать? И вдруг она отчётливо увидела перед собой лицо Миши. Горячая волна захлестнула её. И боль ушла. Женщина открыла глаза, кивнула тараторившим девчонкам.

В холле никого не было. Мария повесила шубу и направилась на кухню, откуда шли ароматные запахи пирожков.

– Всё уже готово, – удостоверила её кухарка. – Вот только глинтвейн сварю, когда они сядут.

– Молодец, – похвалила Мария, – можешь идти, я сама подам. Твои дома уже заждались.



Мария не стала ожидать, что она скажет и как начнёт собираться. Ноги сами понесли её на третий этаж. Она спросила у Миши, что подавать на ужин. Нет, она только посмотрит ему в глаза и уйдёт. Она постучалась. Но ей не открыли.

– Ну и слава богу, – решила Мария, – совсем очумела! Что, мне Богдана мало?

Внизу топали приехавшие с катания ребята. Лица были красные от мороза и довольные светились от счастья.

– Хорошо покатались? – спросила Мария.

– Здорово! – согласились ребята. – Ветра не было. Солнце и мороз. И народу не много.

Мария с завистью смотрела на лыжников. Они с Богданом смогут выбраться отдохнуть только недели через две. А сейчас работа, работа, работа.

Мария села перебирать гречку. За окном потемнело. Лес казался чёрной стеной. А горы ночными копками. Неожиданно в окно что-то стукнулось и с хрустальным звоном упало вниз. Тут же она услышала голос Миши.

– Простите, вы мне глинтвейну не сделаете?

– Конечно, – вскочила она, – вам в номер принести или в столовой подать?

– В столовую. Там весело, – кивнул Миша, изучающе посмотрев на неё.

Мария вспомнила чёрного пса на складе, а потом на дороге. У него был такой же вопросительный заботливый взгляд!.. «И чего только не привидится», – подумала Мария, бросая гвоздику и корзину в вино, закипавшее на огне.

В столовой было шумно. Ребята за двумя столами делились впечатлениями о катании. За тремя другими собрались остальные постояльцы отеля. Они уже поужинали, но оставались в уютной зале. Трещали дрова в камине. Яркие язычки лизали свой каменный дом.

Миша сидел один, глядя на огонь. Мария поставила ему чашку с напитком.

– Посидите со мной, – попросил Миша.

– Я бы с радостью, – сказала Мария, – но столько дел!

– Я здесь ради вас, – тихо произнёс Миша.

– Ну конечно, у нас очень хорошо, – согласилась Мария и села рядом. Ей показалось, что от него идёт намного сильнее жар, чем от камня. И захотелось притронуться к нему. Но она сдержалась. – Вы, наверно, по лесу сегодня гуляли?

– Да, я люблю летать по лесу, – сказал Миша.

Громогласный хохот сотряс столовую. Парни просматривали видеосъёмку с катания.

– Наверно, летать в фантазиях и мечтах? – уточнила Мария, – я обожаю смотреть на снежные очертания елей. Столько придумывается сразу! Хоть картину пиши!

– У вас есть дар – видеть прекрасное, – сказал Миша, и вдруг посмотрел ей прямо в глаза:

– Я приехал за вами. Вы без меня не сможете.

Её окатила горячая волна, словно не он, а она выпила горячее вино. Она резко повернулась, стараясь избежать от охватившего её опьянения. Но боль в боку, словно вонзилась кинжалом. – Да, я больше не могу, – тихо сказала Мария, как ей показалось, про себя. И сама удивилась своим словам.

– Я знаю, – пожал её руку Миша и отпустил.

Она посидела ещё минуту, чувствуя, как боль схлынула вместе с горячей волной и оставила её опустевшую, как флакон из-под духов.

Мария медленно поднялась и словно в тумане, побрела на кухню – варить глинтвейн. Потом автоматически разнесла по столикам. Миша снова куда-то исчез. Но ей и не надо было его присутствия. Он уже был в её душе. Наскоро убрав и помыв тарелки, Мария наведалась к дочерям.

– Мама, я первая сделала уроки, – сказала младшая Олеся.

– Не ври, чуть не плача, – кинулась к матери Настя, – тебе мало задали.

– Давайте, я вам почитаю, – предложила Мария и села с девочками на диван.

– Только не сказку о спящей царевне, – попросила Олеся.

– А можно про живую воду и Ивана-царевича? – сказала Настя.

Мария открыла книгу и начала читать. Девочки притихли и жадно слушали, как Иван-царевич добыл живую воду и спас царевну.

– И жили-поживали они счастливо, – закончила Мария.

– Как мама с папой, – добавила Олеся.

Мать поцеловала дочек и, пожелав спокойной ночи, отправилась в спальню. За дверью слышались



шаги Богдана. Он всегда последним обходил дом и только после того ложился спать.

– Что-то с тобой не так, – заметил Богдан, укрываясь одеялом.

– Я и сама чувствую, – сказала она. – Будто что-то должно произойти.

– Глупости, – перебил её Богдан, – лучше подумай о хозяйстве. А летом поедем на наше озеро.

Мария представила голубое невинное око, смотревшее на них из белизны снега, разноцветные кристаллики, сияющие под ослепительным солнцем и горячие поцелуи мужа после купания. Вся пелена вечера, все его события сползла с неё, словно шагреновая кожа. Она крепко прижалась к Богдану. И провалилась в сладкую сердцевину сна.

Утром солнце разбивалось о стёкла, не в силах разбудить Марию. Богдана рядом уже не было. Он, как обещал, поехал в город. Печь уже была натоплена. На кухне возилась Дарья.

– Я сама управлюсь, – лучше девчонок проводи, – кивнула она хозяйке.

Олеся и Настя уже сидели за столом и ели гречневую кашу.

– Мама, давай с нами, гречка – очень полезная, – сказала Олеся.

– А хочешь, возьми мою тарелку, – поддержала Настя.

– Ой, нет, я с утра не хочу, – сказала Мария, – лучше вам чая сделаю.

Девочки быстро поели и, собравшись, побежали в школу. Мария провожала их хрупкие фигурки, бегущие по дороге среди сугробов снега. Солнце разбивалось на миллионы цветных бликов, рисуя сюрреалистическую картину на белом полотне снега.

– Как хорошо! – вдохнула морозный воздух Мария. Прочь все глупые мысли! Она живёт в чудесном краю. У неё семья. И она счастлива. Но тут она поймала себя на мысли, что ей хочется убежать далеко-далеко, вслед за девчонками, за Богданом, подальше от дома.

Мария вернулась в столовую, где уже завтракали лыжники. Они нахваливали гречневую кашу с омлетом и пили цветочный чай. Мария носила тарелки, а сама всё посматривала на лестницу – не спустится ли Миша. Но его не было.

– Наверно, любит поспать, – решила Мария, – хорошо было бы вовсе с ним не встречаться.

Она боялась и в то же время хотела встречи с ним. Собирала бельё для стирки, а сама прислушивалась, не скрипнет ли лестница. В доме никого не было, кроме неё и Дарьи. Однажды она всё-таки поднялась на третий этаж. Но комната Миши была заперта.

Солнце к полудню затянуло облаками. День сразу посерел, как мышь. К обеду небо было словно в сугробах туч, и пошёл снег. Девочки прибежали из школы с белыми копнами снега на шапках. Мария их долго отряхивала. А за окном всё больше мело. Низ и верх стали одного цвета. Женщина вглядывалась в разыгравшуюся бурю и волновалась о муже. Ведь он уже должен был возвращаться из города.

– В бурю не поедет, – прервал её мысли Миша, неожиданно появившийся в столовой, – слишком метёт. Только завтра можно.

– Не знаете вы Богдана, – усмехнулась Мария, – он всегда домой вовремя возвращается, буря, не буря.

– Увидите, – посмотрел на неё Миша.

И Мария снова утонула в его зелёных глазах, как в райском блаженстве. Он словно проглотил её, всю, без остатка. Миша подошёл к ней и обнял её.

– Что вы со мной делаете, – попыталась отстраниться она

– Люблю, – поцеловал её Миша.

В коридоре раздали шаги. Мария едва успела отпрянуть.

– Мама, как этот пример решить, – вбежала в столовую Олеся, – Настя не хочет подсказать.

– Это же сущие пустяки, – Миша взял книжку и стал писать в Олесином черновике цифры.

Через минуту вниз спустилась Настя.

– Я не понимаю, как здесь решать, – протянула она свою математику.

Миша улыбнулся, объяснив пример Олесе, взялся за Настину работу.

Мария сидела с ними и рядом и не понимала ничего, что они говорят. Её голова была занята другим. Она не понимала, что с ней происходит. И не могла идти против себя. Что-то магическое заставляло её делать именно так. Почему рядом нет мужа, его помощи? Она вышла в холл и набрала телефон Богдана.

– Милый, когда ты будешь? – спросила она.

– Сегодня вряд ли, – сказал Богдан, – слишком метёт, справляйся уже сама.

За окном уже ничего не было видно. Нужны были дрова и мука из сарая. Миша вышел за дровами, принёс мешок муки. Мария не знала, как его благодарить.



После ужина все разошлись по номерам. В доме стало тихо. Даже девочки легли спать. Видимо, метель производила тягостное впечатление. Мария открыла шкафчик с аптечкой. Её снова беспокоил бок. Но и таблетки не помогли. Она свернулась калачиком на постели, прижав ладонь к животу. И тут она услышала возле себя тихий голос.

– Я постараюсь тебе помочь, – её руки коснулась тёплая рука Миши.

– Ты? – обрадовалась она и в то же время испугалась, – как ты вошёл?

– Ничего не говори, – он погладил её по волосам и закрыл ей рот своими губами.

Марии стало горячо, словно на крыше в раскалённый зной. Она обняла его и притянула к себе. Всё горело и пылало у неё перед глазами. Она задышалась. Боли уже не было. Зато была огненная и всепоглощающая страсть.

– Как я тебя люблю! – простонала она.

– Люблю, – повторил он, словно эхо.

Ночью Мария услышала крик и побежала в детскую. Плакала Олеся. Ей что-то приснилось во сне. Мария легла рядом с ней, обняла её и положила руку на голову. Девочка быстро заснула. А у Марии слёзы текли ручьём. Что она наделала?!

Утром метели как не бывало. Снег чистым полотном лежал за окном. Мария, как всегда, провела девочек и поднялась к Мише. Он стоял у окна, когда она вошла.

– Я уезжаю, – сказал он, – три дня пролетели, как мгновение.

– Да, – покачала головой Мария, – со мной такого ещё никогда не было. Что теперь станется?!

– Ты поедешь со мной, – утвердительно сказал Миша.

Мария замахала головой

– Ты что? У меня семья, дети.

– По-другому нельзя, – повернулся к ней Миша и сжал в объятиях. – Всё будет хорошо.

Он поцеловал Марию в губы. И словно заколдовал её. Ей стало неожиданно легко и сладко. Она стала послушной куклой, которую с помощью ключика завели и заставили идти.

Женщина спустились вниз. Зашла к Дарье и сказала, что едет в город купить девочкам платья. Дарья только пожала плечами.

Мария ничего не взяла, кроме сумочки с деньгами. Она не собиралась уезжать из дома. Она просто ехала с Мишей. Потому что не ехать не могла. Как и обходиться без него.

– Провожу его и вернусь, – тешила она себя, – а заодно и город навещу.

О Богдане она думать не могла. Это было очень тяжело.

Миша завёл машину и подъехал к дому. Мария села на переднее сидение. На секунду ей показалось, что рядом Богдан, что ничего не происходит. Они едут, как всегда по делам.

– Ну, с богом, – сказал Миша, – мы должны успеть, – и нажал на газ.

Если Богдан был известен в селе, как бесстрашный лихач, то Миша превзошёл его своей скоростью. Мария вжималась в кресло, со страхом глядя на уносящиеся по дороге сосны. Они словно указывали лапами путь, расступаясь на поворотах.

Через полчаса пути, Миша посмотрел на небо и сказал Марии:

– Позвони Дарье, пусть заберёт дрова у опушки. Я нарубил для печки. Не то у неё на обед не хватит.

Мария послушно набрала телефон:

– Дарья, сходи за дровами на опушку, – начала она.

– Немедленно, – повысил голос Миша, – пусть сейчас же идёт.

– Сейчас же иди, – повторила Мария, – потом вареники долепишь.

Мария отложила телефон.

– Пойдёт? – переспросил Миша.

– Да!

– Она в доме одна? – спросил Миша.

– Нет, лыжник Коля вернулся пораньше.

– Пусть он ей поможет, – сказал Миша.

Мария снова набрала номер и попросила поторопиться.

– Всё! Они уже идут, – успокоила она водителя.

Миша остановил машину в кармане дороги.

– Что случилось? – спросила Мария.



Но он, не отрываясь, смотрел на небо. Он выбрал место, где хорошо просматривалась местность. За лесом были видны горы и их село. По стеклу скатывались снежинки, словно с горки.

И тут Марии показалось, что через небо пронеслась чёрная точка, перечеркнув красной полосой горизонт. Послышался грохот. Сорвался ветер, так что машину закачало и протащило несколько метров по дороге.

– Что это? – испугалась Мария, вжавшись в кресло.

– Надеюсь, они всё-таки успели дойти до опушки, – сказал Миша и завёл мотор.

Мария снова набрала домашний номер. Но никто не брал трубку.

– Ты объяснишь, что происходит?! – закричала она. И тут же ощутила приступ тошноты и невыносимой боли.

В глаза нестерпимо било солнце, словно требовало открыть веки. Мария послушалась и увидела белый потолок, белые стены. Она лежала под белой простыней, не в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой. Из-под простыни поднималась прозрачная трубка капельницы. Над ней склонилась голова Миши.

– Теперь уже всё в порядке, – сказал он, – мы успели.

В палату вошла медсестра и меняла бутылку с лекарством на капельнице.

– Что, проснулась? – улыбнулась она, – Благодарите мужа, знал, куда вас везти с внутренним кровоотечением, слава богу, вовремя.

– Что со мной? – попыталась шевельнуться Мария.

– Больше тебя не будет беспокоить твой бок, – погладил её Миша. – Ты бы ни за что не обратилась сама к врачу. И погибла бы. Мне дали всего три дня, чтобы спасти тебя. Я слишком полюбил тебя, глядя с небес. И буду всегда любить и помогать вам. Но мне уже пора.

– Куда? – не поняла Мария. И тут же странная усталость навалилась на неё. Она закрыла глаза. А когда открыла их, вместо Миши увидела другого мужчину.

– Я так рад, что ты спаслась, – начал Богдан.

– Зачем ты здесь, – на глаза Марии навернулись слёзы.

– Мария, прости, что я был так невнимателен к тебе, – сказал Богдан, – я не заметил, как ты серьёзно больна. Всё деньги, деньги. А теперь я понял, что самое ценное у меня это ты и девочки. Ведь у нас больше ничего нет.

Мария отвернулась. Ей совсем не хотелось говорить с Богданом.

– Мы уже не сможем быть вместе после всего, – прошептала она.

– Мария, – взял её за руку Богдан, – это была иллюзия, мечта. Он спас нас от большой беды.

Но Мария молчала.

– А помнишь наше озеро, чистый кристальный снежник, – продолжал Богдан. – И мы с тобой вдвоём. И больше никого. Ведь это наша тайна. Наш уголок. Разве ты не хочешь поехать туда ещё раз?

Мария вдруг увидела голубое озеро на искрящейся поверхности ледника, разогретые солнцем камни, служившие им шезлонгами. И почувствовала жаркие губы Богдана на ладони. Волшебное наваждение куклы вдруг исчезло. Она словно пришла в себя.

– Богдан! – вскрикнула она. – Почему я здесь? Что со мной?

Она обвила его руками. И трубка капельницы послушно взмыла вверх.

– Осторожно! – Богдан вернул всё на место. – Вот выздоровеешь, я тебе расскажу.

Через неделю Марию выписали из больницы. Богдан приехал за ней на машине.

– Нам надо кое-куда заехать, – сказал он и остановился у храма.

Они прошли к алтарю. Возле икон горели лампадки. И вдруг Мария увидела Мишу. Он смотрел с иконы своими сияющими глазами, словно улыбался ей. Марию окатила знакомая ей волна тепла. Она дотронулась до стекла иконы.

– Женщина, так нельзя, – предупредила её служительница, – лучше поставьте лампадку. Мария послушалась. Слезы навернулись на её глаза. Она помолилась и вышла из церкви, терзаясь в сомнениях. Что же это было?

Богдан свернул на просёлочную дорогу и подъехал к дому Дарьи.

– Почему мы не поедem сразу домой? – поинтересовалась Мария. Но Богдан не решился сказать правду. В прихожей навстречу ей выбежали девочки.

– Мама, смотри, какие бусы для тебя сделала, – протягивала ожерелье Олеся.

– А я салфетку связала, – перекикивала Настя, – мне Дарья помогала.



Дарья, прислонившись к стене, смотрела влажными глазами.

– Что ты плачешь? – спросила Мария.

– Ты ведь меня спасла, – сказала кухарка, – тогда позвонила, чтобы мы с Колей к опушке шли. Мы только добежали, стали дрова искать. Вдруг видим, падает с неба чёрная здоровая глыба, всё солнце затмило. Нас с Колей по опушке как понесёт, и вниз по склону. Слава богу, в овраг скатились. Пока выбрались, уже вечер. А дома – нет. Только чёрный камень стоит. Всё разрушил. Такой гость с неба.

– Как?.. – ахнула Мария и опустилась на табуретку, – всё разрушил...

Она минуту молчала. И никто до этого момента не сказал, что случилось. Она не только могла умереть. Но и всё семейство тоже.

Мария вынула маленькую иконку святого, купленную в церкви, и прижала к сердцу.

– Ничего, ещё отстроимся, – уверила она.

С началом весны в селе началось необыкновенное паломничество. Туристы валом валяли посмотреть на необычного гостя с неба. Богдан огородил метеорит забором и показывал как достопримечательность. К лету супруги собрали деньги на постройку нового дома. А к осени поселились в трёхэтажном отеле рядом с метеоритом. Говорят, пуля в одно место два раза не бьёт. А на опушке возвели часовню святому Михаилу. Иногда Мария уединяется в ней. И Богдан никогда ей не мешает. А вечером по лесу проносятся две летящие тени и возвращаются в часовню. После чего Мария пишет очередную картину, чтобы показать всем, как прекрасен их Карпатский край.

# ОЛЬГА ИЛЬНИЦКАЯ

## НАД ГОЛОВОЮ БЛАГОДАТЬ

### ПРОГУЛКА ВДОЛЬ ОБМОРОКА

Не получается. Ускользаю. Опадаю. Вот: слышу вас, Фа и Ли, ещё слышу. Но незачем говорить. Хорошо исчезать в книжном магазине, с Бахтиным в руках, с Померанцем в сумочке, с Ли и Фа за спиной.

Впереди дорога между Небом и Землёй. Я уже немножко не я, а «чистый разум». И в нём отражаются звезды и тайны. И я отражаюсь, и слышу, как бьют по щекам. Пальцами веки раздвигают, вовнутрь заглядывают. Что видят?

Всё залито молоком из чашки, перевернутой в детстве. Мышка бежала, хвостиком махнула, мама подолом лужу промокнула. С тех пор в голове молоко плещется, через край проливается в жизнь, где вопросов немерено: «Ты слышишь нас? Глаза открой! Как часто в обморок впадешь? Где ты так долго пропадешь? Да отвечай же...».

– Боже мой!

Всё тише голоса, всё больше молока – это кровь моя белеет, из неё уходит жизнь. Лишь сгущённый сладкий смысл остаётся.

– Здравствуйте, милые, ясноглазые. Какое вольное дыхание у времени. Дихотомия смерти и жизни отпустила, и свет настольной лампы согревает ладонь, на которой лежит стеклянный шарик Мира.

Хочется конкретного.

Поэт Миролава в шерстяном свитере захлопывает дверь такси, вновь открывает, сосредоточенно целует мою руку, рука белее молока.

Мороз семь градусов, машина уплывает, поэт красив, и, отдаляясь, тает.

Мы едем мимо Александр – Хаоса, я вижу, что тебя в нём нет. Воскресенье. Ночь.

Мне жаль, что у тебя есть более серьёзные и интересные вещи, чем я.

Как интересно это!

Я боюсь, что отнимаю у тебя время, когда говорю.

Я в замешательстве из-за утрачиваемых привычек быть среди агрессивной среды, к которой надоело приспособливаться.

Я в замешательстве из-за разворачивающейся жизни, сияние огней ночной Москвы говорит о том, что мрак у меня в голове, раз вокруг блестит и ослепляет.

Но в голове моей плещется детство крови, разбавленной молоком.

Не хочу я пить этот напиток, с каждым невыпитым глотком детство моё продолжается.

О, как ты недоступен слуху, взгляду, ты словно собака на поводке, таком длинном, что я всегда за углом, а ты далеко, около свободы.

Я держусь за поводок крепко, а разожму, и мы умрём.

Не берегись, родной, не берегись. От свободы поступать не так, а иначе – не уберечься!

Но так ли, иначе – везде есть я, и на юге, и на юго-западе, по левую руку, и по правую, и в небе, и под землей – взгляд мой исподлобья вопрошает: «Где и когда? Когда и где?».

Отвечаешь: «Всегда».

Отвечаешь: «Везде».

О чём шепчет вода в реке, леденя?



Чешуя чешется от мороза, – пожаловалась рыба, высовывая голову из-под глыбы, плывущей по Нескучному саду, где я по тебе не скучаю, потому что, став гордой, набираю воздуха в грудь и взлетаю – к свободе твоего поступка.

Там, где окажешься ты – встречу тебя!

Фа, я не хочу их больше видеть, я жить их жизнью не хочу. Я памятью могу обидеть.

Завтра наступит сегодня, и Ли теребит: «Ты позвонила доктору?».

– О, да, я ему позвоню, через тридцать минут. Он скажет, что время не ждёт. И вколет иглу, и моё молоко по иголке из крови уйдёт. Это будет под вечер – красное на белом, румянец на щеках.

Я улыбнусь и всем скажу: «Привет!» Я вновь не только слышу – отвечаю! – И, значит, долго буду быть».

О чём продолжить – чтобы не без смысла? – Продолжить надо начатую фразу про чистый разум.

В нём горит печаль.

Утраченная память не сомнется, она висит на плечиках в шкафу, ты выпьешь водки, и она заткнётся. Как плохо разговаривать стихами, а понимать и думать что хочу.

Возможно, в нашем мире нет ничего, что быть хотело б нами.

«Упрямо буду я мочить в сортире  
врагов любви, всех тех, кто любит TV,  
кто за стеклом...».

Соседа по квартире мотив ворвался в мой прохладный дом. Ритм и размер – всё было черт-те как, вновь мне хромать, и фыркать раздражённо, газетой вытирать те зеркала, что отражают загрязнённый разум.

Произношу ненужные слова, по библии читаю про разлуку, и напеваю «Пам – парам, пам – пам».

Скука... заполонила всю... до чердака...

Я протяну стареющую руку и свет включу. Ты помолчи, пока я раздвигаю медлительные губы, чтобы ребёнка в мир впустить, и вновь тебя спросить:

– Что с нами завтра будет?

Ведь завтра дети станут с потолка всей твоей жизни – в мир, срываясь, падать. Вместо того, чтобы спускаться лифтом...

Моя радость...

О, не бывает лучше, чем решили.

Жизнь так проста, что некуда в ней думать.

P.S.

А лучше взять билет на самолёт.

И вместе встретить Старый Новый год.

## ОСТАНОВИ СПОКОЙНЫМ ВЗГЛЯДОМ

### 1

Если скажу, что «Жизнь всегда права»,  
останови спокойным взглядом.

Но ты не здесь, где шелестит трава,  
и я не там, где «вместе» или «рядом».

Я далеко. Здесь очень злые ветры.

Ты ещё дальше. Связывают метры  
пространство, где служу...

Былых служивых – рать.

А у тебя просторов километры.

Нам смысла нет цифирь соизмерять.

Кто ты, что охранять меня посмел –  
как будто я просила одолженья.

Пообещал развеивать сомненья.

Пообещал беречь мои права.

О чём и кто? На что мне снисхождение



того, кого не вижу и не жду?  
 Прости, мой враг, пишу без сожаленья.  
 Пространству, не простору я служу...  
 И не прошу у смерти снисхожденья.

## 2

Пока душа в неведомом парит –  
 лежишь и стынешь. Тьма шершава.  
 И колокол сконфуженно звонит,  
 за горизонт не дотянув октаву.  
 ...Что, хорошо ль? – во сне и наяву,  
 как в домовине!.. жаловаться дню...  
 Что, страшно падать вверх до рубежа,  
 где жар и свет – и есть жива душа?  
 Где всё пожар!  
 Где только и прохлады  
 мороз вопроса: «Господи, ужель?».  
 А на рассвете, постучавши в дверь,  
 душа из полямья смущённо, неумело,  
 в щеку, словно в подушку, жарко ткнувшись,  
 тебя окстит, чтобы восстал, очнувшись.

## 3

... но я люблю. Теряя с каждым днём  
 мгновения, что не прожить вдвоём...

## РОЖДЕСТВЕНСКОЕ

Отец на кладбище лежит.  
 Я позвонила. Он не спит.  
 Мы говорим о постороннем.  
 Я поздравляю с Рождеством.  
 Он, усмехаясь: «Ты о чём?».  
 Люстдорфской\* долгою дорогой  
 не еду – кладбище стоит там,  
 где лежит дорога к Богу:  
 легла – и сорок лет лежит!  
 ...Теперь возьму чернил.  
 И – плакать...  
 Я стану долго жить. И ждать.  
 Он позвонит. В Одессе слякоть.  
 Над головою благодать.

\* По Люстдорфской дороге расположено Второе Христианское кладбище Одессы.

## СЕКРЕТ РУСАЛКИ

## 1

Над голым пляжем протянулись  
 и невода, и провода,  
 и электрические лужи горят,  
 не ведая стыда.



Здесь совершенно невесомы  
коньки морские.  
И чистят стрелы ледяные  
рыбы стальные.

## 2

Тебе будет трудно обнять меня.  
Если успеешь догнать.  
Я смогу быстро бежать, и когда  
ветер очнётся, и с неба вода  
брызнет внезапно, я острою рыбой  
врежусь в твои невода...  
Ты мой рыбак, успокоенный ночью.  
Свет мой внезапный в крошечном дыму.  
Тёмный пожар, разъедающий очи.  
Если догонишь – я обману.

## 3

Стану русалкой на скалах слепых.  
Чёрной жемужиной в тайных объятьях.  
Ты мне подарешь вино и распятые.  
Я развяжу войну.  
Жизнь не прольётся из рыбьего брюха.  
Жабры не высохнут до октября –  
зло и отчаянно брошенный мальчик,  
преданный зря.  
Если остынут жестокие губы.  
Если заучено слово навек.  
Выйди навстречу,  
как море чужое,  
ты.  
Не чужой человек.

## 4

Время развеет капризные тучи,  
выпростав руку из рукава.  
Мы разломаем горячие пальцы  
и оборвём провода.  
Мягкий рассвет подкрадётся внезапно.  
Свет электрический нас не найдёт.  
Чем ты повяжешь, когда на рассвете  
Солнце рассвет разольёт?  
Луж электрический сух прибой.  
Всё, что случилось со мной и тобой,  
станет слезами русалки:  
слоёной – солёной – морскою – водой.

# АННА СТРЕМИНСКАЯ

---

## «ВЕНЕЦИИ НА САМОМ ДЕЛЕ НЕТ...»

\*\*\*

*Одиссей возвратился, пространством и временем полный...  
О. Мандельштам*

Сколько талантов зарыто в земле – она не спешит делиться –  
сколько секретов, страстей и прочих других сокровищ...  
Только растениям она открыла и птицам –  
сколько впиталось в её чернозём неповинной крови.

Сколько оружия, амфор, роскошной посуды,  
сколько монет, украшений искусной работы.  
Сколько сокрытых любовей – чьих? и откуда?  
в землю ушло и полито могильщиков потом.

Сколько безвестных легло в этот грунт, что убиты  
дерзким мечом или просто устали чрезмерно.  
Их имена или клички лишь травам открыты –  
травы их помнят уж тысячелетья, наверно...

Всё принимает земля – чернозём и суглинок  
так же податливы, как и во дни сотворенья.  
Дом твой стоит на костях скифов иль сарацинов?  
Чьи различимы слова в шелестеньи и пеньи?

Всё принимает земля, а трава покрывает –  
ходят по степи зелёные, пряные волны...  
Кто там, в земле? Одиссей ли зарыт под сараем?  
Кто упокоен – и жизнью, и бременем полный?

\*\*\*

А я почти всегда на стороне  
того, кто убегает от погони.  
Кто ноги сбил, иль скачет на коне,  
когда за ним другие мчатся кони.

На стороне я волка иль оленя,  
когда идёт охота на зверей.  
Олень бежит, и с морды каплет пена,  
и сердце скачет рядом всё быстрее!



Вся жизнь – охота, Брейгель или Шишкин  
 об этом знали все почти – смелей  
 охотники! – сочувствие излишне,  
 а жалость – это скука и елей...

Вот близко жертва – вы уже в восторге!  
 Зверь ловит воздух пересохшим ртом...  
 И это – худшая из всех возможных оргий –  
 зверь или человек погиб притом...

\*\*\*

Солнце жуком-скарабеем ползёт по небу,  
 шарик из звёзд перед собой толкая...  
 Жук-скарабей, ты ползёшь, словно быль и небыль,  
 солнцу свой ход неспешный уподобляя.

Скифы, сарматы тебя приняли из рук Египта –  
 до Борисфена дошёл ты и до Урала.  
 Имя твоё во множестве манускриптов...  
 Из гематита тебя на века создали.

Чёрные капли в земле и моей хранятся –  
 Их выпускают на волю на Ланжероне.  
 Их извлекают в тени золотых акаций,  
 как талисманы – мой город никто не тронет.

Город благословенный, моя Одесса,  
 Фортуна с тобою, судьба твоя – мир и счастье.  
 И никуда тебе от неё не деться –  
 ведь скарабей к этой земле причастен!

### ВОЛШЕБНЫЙ ШАР

Шар голубой, запущенный в небо Богом,  
 крутится, вертится, хочет упасть – не может.  
 Шар голубой, невинный, в блестящей тоге,  
 крепко привязан, с игрушкой ёлочной схожий.

Ленточки рек на шаре и водные глади,  
 птицы, цветы и деревья, и таинство мягкого снега.  
 Горы и города, и неба седые пряди,  
 жаркий песок Сахары и кони в аллюрах бега!

Музыкой шар объят, и перезвон соборов  
 Над площадями летит иль муэззинов крики...  
 Все о любви поют – соло или же хором –  
 Что на эстраде, что – в церкви – сияют лики!

Но временами красным шар голубой окрашен!  
 Красные реки текут, убитых неся с собою...  
 И в двадцать первом веке сожжённых домов и пашен  
 становится только больше после каждого боя.



Царствует Аваддон, гордость в царей вселявший.  
 Взрывы, безумье, горе – вот картина столетья!  
 Так и живёт человек, зло и добро познавший.  
 Знанием равный богам, дар обретший бессмертья.

\*\*\*

Душа моя – мой виноград:  
 корявые, витые лозы...  
 Осенние метаморфозы –  
 душа свободнее стократ!

Есть имена у ней – она –  
 то Лидия, то Изабелла.  
 В ней созревает дух вина  
 и грозди розовое тело.

Тяжёлые, литые грозди,  
 как дети, лягут на ладонь.  
 И черенка я режу хвостик  
 как пуповину – слышу стон!

Со стоном боли и восторга  
 как падают они в тазы!  
 И наполняется ведёрко  
 тяжёлой сладостью лозы.

А небо – синее меж веток,  
 меж листьев зрелой красоты.  
 Как гармоничны здесь при этом  
 шальные рыжие коты!

И после ягоды, как зёрна,  
 перебирая, раздавить.  
 А сок пахучий и дремотный,  
 как откровенье, нужно пить!

И будет сок бродить, играя,  
 и цвет менять, но вот оно –  
 закатом в бутлях вызревает –  
 моя душа – мое вино!

## РЕКА

Я только река, ты пойми, и я не могу застыть...  
 Я только в движенье живу, надо мною дрожат мосты.  
 Я чувствую сразу всё и думаю обо всём,  
 и только под небом мой настоящий дом.

Я так молода, так стара, я – дитя в глубине,  
 во мне вековая мудрость на сонном дне...  
 Есть золото солнца во мне и неба палитра вся,  
 и зелень, что манит на дно, забвенья неся.



Но если меня остановишь, то будет беда –  
любую преграду снесёт шальная вода!  
И если захочешь, чтоб стала я лишь ручьём,  
я стану потопом, морем и кораблём!

### ТРАМВАЙ

*Молчали жёлтые и синие,  
В зелёных плакали и пели...  
А. Блок*

На пассажирах трамваев общая есть печать:  
не слишком большого везенья – им бы сидеть да молчать.  
Но они говорят: о политике и о войне,  
о жизни, о жизни всегда и только о ней...

И как актёр на сцену, некто заходит в трамвай  
и свой монолог произносит. Трамвай, кого хошь – выбирай!  
Одни актеры безумны, другие в счастливом забвении...  
И тётя «Америка замечает следы» призывает к объединенью.  
Она выполняет миссию – в вагонах много мессий.  
От кого-то неважно пахнет. Не по нраву – езжай в такси!

А девушка на гитаре играет Виктора Цоя.  
Неважно ей, как посмотрят, и мнение услышит какое.  
Да, как-то под Новый год сидел хмельной Дед Мороз  
и всех посылая он матом в ответ на любой вопрос.

Смеются и плачут дети на коленях у пап и мам,  
смеются вовсю студенты под жизни больной тарарам...  
Шуршит на асфальте дождик – трамвай в сизой дымке тает.  
И лишь Америка замечает следы, замечает следы, замечает...

\*\*\*

Я лежу на диване  
и слушаю шум дождя.  
Света нет. Мы в нирване –  
в доме лишь кот и я.

Лупит дождь о стекло  
изо всех перуновых сил.  
И столько воды утекло,  
словно кто-то о ней просил.  
Виноград как безумный  
колотится у окна –  
будто сын чей-то блудный  
напоен допьяна.

И свеча лижет сумрак  
своим язычком.  
Мы с котом моим Муром  
молчим ни о чём...



\*\*\*

Венеции на самом деле нет...  
Лишь блики на воде и лишь спектакль,  
что длится без конца уж сотни лет.  
В нём так легко смеяться или плакать...

И масок в ней чуть больше, чем людей.  
Она и есть, и нет, как свет и тени...  
В ней каждый хоть немного лицедей.  
Как солнечно в Венеции осенней!

Я открываю город как ларец,  
наполненный камнями в избытке.  
Здесь что ни дом, то кружевной дворец  
и улочки, как спутанные нитки...

А гладкий шёлк воды струится здесь  
платком, что обронила догаресса.  
Тут время не бежит, тут что-то есть,  
что замедляет быстроту прогресса.

Но вот и вечер, тусклы фонари,  
и ветер с моря, дождевые капли...  
И город тёмный – под ноги смотри! –  
как зал после вечернего спектакля.

Здесь тихо так. Пред церковью замри! –  
Вивальди или Бах... А утром рано  
в соборе деи Фрари вновь парит  
алтарная «Ассунта» Тициана!

# ВЛАДИСЛАВ КИТИК

---

## ВОЗРАСТА ИММУНИТЕТ

\*\*\*

Как прежде, липы расцвели,  
Над клумбой выпрямился ирис,  
Прошла гроза. И мне открылись  
Простые радости земли.

Их находить – иметь вавойне,  
Их пересчитывать – к убытку.  
Так скарб накопленный улитка  
Повсюду тащит на спине.

И завершает свой маршрут,  
В душе не ведая разлада,  
Так, что имеешь, то и надо  
Тебе,  
А больше – не дадут.

\*\*\*

А под репейником спала  
От капель спрятавшись, пчела.  
И под мохнатой лебедой  
Жук притаился золотой,  
И бабочки сложили крылья,  
И луг запах прибитой пылью, –  
До неприметности знаком,  
До удивленья неожидан,  
Когда ему простым дождём  
Был елисейский образ придан.  
А чем ещё в своей весне,  
Рассвет с горчинкой молочая  
Захочет приоткрыться мне,  
Чего ещё наобещает?

\*\*\*

Не болей, не грусти, что прихода  
Светлой осени долго мы ждём.  
Яблок цвета гречишного меду  
Принесу в твой задумчивый дом.



Я спущусь по Матросскому спуску,  
Мимо синих трамвайных путей.  
И ещё подарю таракуцку,  
Как тепло бессарабских степей.

В этой тыковке с круглой верхушкой,  
Что, как праздник воскресный, красна,  
Если высушить, как в погремужке,  
Будут дробно шуршать семена.

Помнишь детство под Новым базаром.  
Где дырявый стоял балаган,  
Покупали почти что задаром  
Мы такие у пёстрых цыган.

Давних дней всё длинней силуэты,  
Вянут мальвы и зреют дожди,  
Безоглядно кончается лето,  
Будто снова вся жизнь впереди.

Не болей, мы поправим подушку,  
Наше снадобье будет иным:  
Жёлтой тыковкой с красной верхушкой,  
С молдаванским названьем смешным.

#### ЛИСТОПАДНОЕ

Оборвётся, а там и забудется речь листвы,  
Будет некому вторить – замрёт в подворотне эхо.  
Лишь проникнешься просьбой: «Да полно, оставьте вы...», –  
И уже расхотелось куда-то спешить и ехать.

Выйдя, уши замкнешь – и помех посторонних нет:  
Тишина стоит, как в пустом танцевальном зале,  
Где в углу пианино, и вытопанный паркет  
Вместо стертого лака сверкающим солнцем залит.

Но опять возвращаешься, чтобы начать с азов:  
Ночь – итогом, звенящий рассвет – недосыпом.  
В перебранке клаксонов, тупеясь под визг тормозов,  
Листопад переходит на шёпот, и сыпет, сыпет,

Со спины подбирается, в ногу с тобой идёт,  
Наполняется музыкой той, что нисходит свыше.  
Он, как внутренний голос, который тебе не врёт,  
Но шумами забит, и поэтому еле слышен.

\*\*\*

Когда-то здесь была она,  
Сидела, в зеркало смотрелась,  
Перебирала нитки, грелась,  
Горячим кофе у окна.



Сменила выраженья грусть,  
Остались от неё в грядущем  
Гадания на чёрной гуще,  
Давно беспочвенные пусть.

В век электронных скоростей  
Уместно ли придать значенье  
Возникшим числам, совпадениям  
Неясных знаков, вензелей,  
Растекшихся?  
На донце блюда  
Желанья давние сольются  
И домысел внезапный.  
Что ж!

В гаданье правды ни на грош.  
Но, обнадёжен пустяками,  
Ты обжигаешься глотками  
И торопливо кофе пьёшь.

\*\*\*

Рельс, как блестящий след болида,  
Раздвинув просекою лес,  
Несётся, уходя из виду,  
Наперекор, наперерез  
Реке, равнине, окоёму,  
Проводит бритвой по мосту,  
И эхо отдаётся громом,  
Вдали оставшим за версту.

В пространство вклиниваясь рогом,  
Вперёд по выжженным корням  
Бежит железная дорога  
Под стать железным временам.  
Они и душу перемерят  
Своим оковным колдовством,  
Не став любовью – переменят,  
Взрастят, не ставши естеством.

\*\*\*

Сладко ль жить в отдалении мглистом?  
Виноградом кудрявится двор,  
Свесясь, жимолость веткой душистой  
Прикрывает от света забор.

Затаённой обиды отраву  
Пьёшь упрямо глоток за глотком.  
Ни к чему приворотные травы,  
Что растут по дороге в твой дом.



Но, винясь перед ним за разлуку,  
 Так хотел бы вернуться с пути,  
 Чтоб его, как слепого за руку,  
 Через улицу перевести.

\*\*\*

Нас в прошлое не возвратят  
 Ни улицы ревнивый оклик.  
 Ни облупившийся фасад,  
 Не приобретший новый облик,  
 Ни сохраняемые зря  
 Рассыпчатые СМС-ки,  
 Ни патиною октября  
 Подёрнутые перелески,  
 Ни однострочное письмо  
 На поднятом листке кленовом,  
 Что по ветру летит само...  
 Чернильных слов подтек лиловый  
 Зальёт и адрес, и число,  
 И где посланье это, если  
 Так много листьев намело  
 Под лестницу в твоём подъезде...

\*\*\*

Что стало новым, в сущности, старо,  
 А что привычно, то непостоянно.  
 Парит орёл над степью безымянной,  
 В траву роняет сизое перо.  
 Не мне прервать кружения спираль,  
 Незрима нить закрученных сюжетов.  
 Я, как в твои глаза, взгляну сквозь даль  
 За окоём, – ты будешь частью света,  
 Как неумело мы делили кров,  
 Я расскажу, – ты станешь частью речи.  
 Пусть поглощённый бляеньем овечьим,  
 День не поймёт значенья этих слов.  
 Но можно ли стоять особняком?  
 И этой жизни часть предстала долей.  
 Спешит за ветром перекати-поле.  
 Кружит орёл над серым большаком.

\*\*\*

Холод вкрадчивый, как аноним,  
 Осыпаются кроны платанов,  
 Жить хронической грустью больным  
 Всё равно, что любить непрестанно,



Неустанно удачу пытаться,  
И на прописях стачивать перья,  
И в беспамятстве копья ломать,  
И потом сожалеть. Но теперь я

Прошлой суетности даже рад.  
Распрямяю с дыханием плечи,  
И на смотр вызываю парад  
Нестыкочков и противоречий.

И сквозь веки, как поздний рассвет,  
Провожаю их марш неизбежный.  
Так же возраста иммунитет  
Побуждает к движеньям неспешным.

Так одно выбираешь из двух,  
Уравняв рычаги перекосов,  
Упредив утончившийся слух  
От риторики лишних вопросов.

Так окраску меняет листва,  
Так на миг замираешь от счастья,  
Запустив холодок в рукава,  
Улыбаясь в преддверье ненастья.

# АЛЕКСЕЙ РУБАН

## ДОРОГА НАЗАД

### рассказ

Арсений Петрович Ставицкий, обладатель приятной для слуха фамилии, кандидат филологических наук и поклонник брутал дэс-метал смотрел в окно плацкартного вагона и размышлял. За оставшиеся девять часов пути он мог порезать себе вены в туалете, выкинуть там же в унитаз пейджер, демонстрируя презрение к материальным ценностям, или продолжить напиваться поставляемым проводницей тёплым пивом. После нескольких минут раздумий Ставицкий сделал выбор в пользу последнего варианта. В придачу А Пэ, как называла его молодая поросль, усевшаяся скамьи аудиторий, решил по приезду домой обратиться к знакомому татуировщику и заполнить оставшееся свободное пространство на закрытых одеждой частях тела. Студенты, которым Ставицкий читал иностранную литературу, знали об увлечениях кандидата наук и в большинстве своём ему симпатизировали. Им нравилась незакомплексованность, широта взглядов и открытость А Пэ. Они даже не подозревали, как менялось выражение лица их лектора, едва он выходил за ворота университета. Студентки, несмотря на предостережения более опытных подруг, вовсю строили Ставицкому глазки и очень напрягались, не получая ответной реакции. Версии о гомосексуальной ориентации Арсения Петровича или, боже упаси, импотенции периодически имели место, но достаточно быстро увядали. Слово «боже», впрочем, не слишком коррелировало с увлечением филолога экстремальной тяжёлой музыкой. «БДСМ, – подумал вдруг Ставицкий, – прекрасная аббревиатура для брутал дэс-метал». А Пэ улыбнулся. Лингвист по призванию, он, даже пребывая в полной заднице, всегда был готов порадоваться хорошему словесному каламбуру.

За стеклом в грязных разводах на поезд надвигались жилые коробки Пустынки, тридцать восемь км от столицы, двадцать тысяч жителей, безысходно обслуживавших железнодорожную станцию. Как-то Арсений Петрович со своей группой (не брутал, недоставало техничности) посетил фестиваль, проходивший в центральном парке этой забытой миром несурязицы, едва ли не единственное, помимо водки, развлечение аборигенов на протяжении года. Были выпиты цистерны горячительного и обсуждены все классические рокерские темы, включая размеры женских бюстов, автостоп и всё то же горячительное. Периодически ненадолго засыпали в палатках, после чего снова немедленно приступали к потреблению дешёвых напитков. В билете на поезд, отходивший следующим вечером, значились цифры 18.30, дававшие карт-бланш на разнообразные эксцессы. Утром всё повторилось. Ставицкий смутно помнил какой-то пруд, куда все прыгали с обрыва, кабак, пиво, неизбежный отечественный рок под гитару. Потом у него, подобно старому кумиру Терминатору, щёлкнуло в голове, и наступила темнота. Очнулся Ставицкий на газоне в каком-то сквере. Голова покоилась на рюкзаке, рядом лежал чехол с тарелками. Часы показывали, что с момента отправления поезда прошло сорок минут. А Пэ встал и нетвёрдым шагом двинулся в никуда, совершенно не представляя, что делать и думать. Вскоре ему встретился помятый тип гопнической наружности, тоже бывший на фестивале. Тип изъявил желание проводить Ставицкого до вокзала, мотивируя это криминальной направленностью города и стремлением доказать, что не все местные жители жаждут догола раздеть незнакомого человека. Дорога заняла с полчаса, в течение которых тарелки постоянно бились о ногу владельца, к тому же кандидату наук приходилось поддерживать беседу. Привычный к рок-н-рольному мату филолог чувствовал себя грешником, попавшим в абсурдистский ад сплошных инвектив и инсинуаций. Его спутник последовательно обрушивался на правительство, работников милиции, начальника станции и собственную сестру, не одобрявшую пристрастие брата к зелёному змию. А Пэ старательно поддакивал. Билетов, само собой, не было на три дня вперёд. Не без труда распрощавшись с хорошо подогретым провожатым, Ставицкий сообразил, что мог добраться на электричке до столицы, откуда транспорт в его родной город ходил круглосуточно. Проблема заклю-



чалась в том, что ближайшая электричка до обитаемого мира проходила через Пустынку лишь следующим утром. О комнате отдыха речь не шла в принципе – здание вокзала представляло собой домик с двумя кассами и шестью деревянными скамейками. Ставицкий попытался крепко задуматься о своём положении, когда в дверях появилась женская фигура. Мощного сложения фемина оглядела пустующее здание и направилась к А Пэ. Последний каким-то чудом вспомнил, что также видел даму на фестивале, где они вместе сидели у костра, посасывая пиво из пластиковых бутылок. Состоялся диалог на жуткой смеси официального языка страны и его местного диалекта. В итоге Ставицкий получил приглашение провести ночь в доме Иры, как звали его спасительницу, и её супруга Миши. Мотивировалось всё опять же нежеланием обнаружить кандидата наук где-нибудь в кустах, ограбленным и избитым. Арсений Петрович рассыпался в благодарностях, благодарно тряс головой и зачем-то причмокивал. Вскоре выяснились два обстоятельства, взбудораживших внутренний мир Ставицкого. Ира жила в десяти километрах от вокзала, транспорт туда не ходил, а муж Миша отличался неконтролируемой ревностью и запросто мог начистить фэйс любому, кого бы увидел рядом со своей благоверной. По дороге добросердечная женщина предавалась размышлениям о том, как представить спутника мужу так, чтобы последний не пришёл в ярость. А Пэ со всем соглашался и обливался потом под тяжестью ноши. В какой-то момент на пустынной дороге появилась фигура велосипедиста – Миша решил встретить возвращавшуюся из города жену. Всё обошлось благополучно; едва взглянув на Ставицкого, сельский Отелло понял, что поводов для ревности у него не было. Путь продолжили втроём. Оказавшись, наконец, на месте, Арсений Петрович мгновенно рухнул на продавленную тахту. Закайфовав от отсутствия необходимости двигать ногами, он поведал хозяевам свою историю. Исходя из его слов, в родном городе он слыл знатным слесарем и одновременно байкером, объездившим пол-Европы с женой Лилей. В доказательство к рассказу предлагались короткие монологи на английском, французском и немецком языках. Гостю предложили самогон, изготавливавшийся на продажу, Ставицкий выпил и через пару минут отрубился. В шесть утра его разбудил Миша и вместе с вещами эвакуировал на велосипеде на вокзал. Всю дорогу сидящий на руле А Пэ думал о том, что происходит с лицом, на большой скорости встречающимся с асфальтом. У кассы они попрощались, обнялись, Ставицкий благодарил и понимал, что не находил нужных слов. Полтора часа он ждал на вокзале, потом долго ехал на электричке, ещё дольше сидел на столичной автостанции и совсем уже безобразно долго добирался домой на рейсовом автобусе. Денег после всех эскапад практически не оставалось, и путешествие скрашивала лишь полуторанитровка, приобретённая у хозяев, из сочувствия пустивших незнакомого человека в дом. О них кандидат наук часто вспоминал впоследствии, вызывая в памяти кособокий дом и жуткую, из каждого угла лезущую бедность. Арсению Петровичу не нужны были доказательства того, что его государство растаптывало своих граждан. Он всё видел своими глазами и знал, что на этой проклятой территории ничего и никогда не изменится. Уезжать же куда-либо он не желал. У него были пожилые родители, музыка и работа, которую он искренне любил. Свою деятельность он полагал наделённой хоть каким-то смыслом и одновременно буфером между ним и глухой стеной обречённости. Отматывавшие по двадцать километров в день Ира и Миша порой представлялись ему без вины осуждёнными на вечный труд Сизифами, находящими спасение в своей кровати, уповавшими на бога, в которого сами не верили. Исходя из их рассказов, местный батюшка не прочь был потрясти километровым пузом над прихожанками, лишёнными радостей плотской любви с мужьями-алкоголиками.

Деньги, впрочем, у людей были, Ставицкий знал об этом и удивлялся. Бальзак, которого он читал ещё студентом, сказал, что за всяким большим состоянием стоит преступление. В наличии дензнаков, бесспорно, был смысл. Например, они могли спасать жизни, ведь неплатёжеспособный человек не мог заплатить медикам за квалифицированную помощь. Среди давших клятву Гиппократу оставались и бескорыстные люди, но попасть к ним было большой удачей. Однажды, тогда ещё аспирант, Ставицкий имел отношения с Лилей Гюйс, одногодкой и звездой их учебного заведения. Всё было прекрасно: прогулки, совместные поездки, духовная близость, интим. Не будучи развратником, Арсений обладал высокими сексуальными запросами и незаурядной фантазией, а Лилей умудрялась воплощать его самые потаённые желания, сама кайфуя от этого. Оба готовились к кандидатскому экзамену и строили планы на будущее. Мысль о том, что страна вскоре скатится до состояния, когда профессор станет торговать вещами на рынке, приходила в голову только сумасшедшим и аналитикам, тщательно спланировавшим трагический сценарий. Грянул переворот, выбивший у людей почву из-под ног, заболела мать Лили. Рак, болезнь обиженных и поражённых стрессом. Ярик Кусников, ныне Ярослав Степанович, тоже филфаковец, уже тогда державший несколько контейнеров с шмотьём, в своё время активно ухаживал за Лилей. С появлением Ставицкого, надо отдать ему должное, он прекратил обнаруживать свои симпатии.



Часто Лиля, положив голову на грудь Арсения, говорила, смеясь, что Ярик был последним человеком, с которым она завела бы отношения. Но Ангелина Николаевна, её мать, утасала с каждым днём. Нужна была весьма значительная сумма на операцию, накоплений же Ставицкого с трудом хватало, чтобы оплатить расходы, связанные с защитой кандидатской. Арсений думал о том, чтобы просить мать продать её драгоценности, но колебался, понимая, что операция могла и не помочь. Пока он раздумывал, Лиля сделала свой выбор, согласившись воспользоваться помощью Ярика. Ставицкий не знал, был ли брак непременным поставленным им условием, однако понимал, что Лиля с её принципами не могла поступить по-другому. Он ни в чём её не упрекал, не имел права, да и просто не мог, хотя по утрам кусал подушку и царапал от глухого отчаяния обивку дивана. Операция прошла успешно, защита тоже. Новоиспечённый кандидат наук вымарал из записной книжки один телефонный номер и, воспользовавшись летними каникулами, впервые записал. Он пил, блевал, ходил под себя и снова пил. Всё было совершенно в стиле брутал дэс-метал, который, правда, тогда ещё только зарождался, и Арсений Петрович ничего не знал об этой прекрасной музыке. Ещё во время своих алкогольных бдений, прекратившихся с началом учебного года, Ставицкий выработал для себя окончательную концепцию бытия. Там было место работе, музыке и алкоголю, но на женщин накладывалось табу. Ставицкий хотел верить, что можно было оставаться идеалистом, полагавшим, что заводить какие-либо отношения после любви постыдно. Он наложил на себя епитимью за то, что медлил с принятием решения, зная, что мать не отказала бы ему и согласилась продать драгоценности. Друзья поначалу смотрели на него как на идиота, однако со временем привыкли. Прозвище Монах, более чем уместное в подобной ситуации, почему-то не прижилось. Свои сексуальные желания он удовлетворял известным способом, к которому в разные периоды времени прибегают все, хотя и предпочитают об этом не упоминать. За восемь лет со дня свадьбы Лили и Ярика у него всё же было два контакта с женщинами, оба в пьяном виде. После кратковременной вспышки страсти он чувствовал раздражение и сожаление. Дважды же за это время ему звонила и Лиля. Он отказывался от встреч, потом долго мучился и скрипел зубами во сне.

По утрам Арсений Петрович Ставицкий имел обыкновение поглощать свой скромный холостяцкий завтрак под бормотание телевизора. Из новостей он и узнал о катастрофе. Машина Лили Кусниковой, жены известного бизнесмена и мецената, по непонятным причинам потеряла управление на шоссе и вылетела на обочину. Шофёр погиб, а женщина, пробив головой лобовое стекло, распласталась на земле. С переломами шейных позвонков она была доставлена в больницу, где ей предстояла операция. Врач на экране говорил сухо и сдержанно, из чего следовало, что шансов у Лили было мало. Ставицкий допил кофе и побежал на работу. Там он выбил из декана трёхдневный отпуск, что-то там наплетя, затем втридорога купил у барыг билет на поезд в столицу и вечером того же дня сидел в трясущемся вагоне. Он знал, что ничем не мог помочь, но на всякий случай в кармане его лежала жалкая заначка, отложенная на потенциальный чёрный день. В больнице его сразу же послали подальше, узнав, что он не родственник, сообщив при этом, что операция уже шла. Обернувшись спиной к окошечку регистратуры, Ставицкий увидел идущего по вестибюлю Ярика. Он был чёрен лицом, в белом халате и в компании двух мордатых шкафов. Бывший однокурсник даже не взглянул в сторону Арсения Петровича, и это, пожалуй, было хорошо. Ставицкий вышел в больничные двор, затянулся сигаретой, подвинулся своему поступку и отправился пить водку в привокзальный кабак.

– Вас что-то беспокоит? – Ставицкий поднял голову. Столик бокового места с ним делила молодая девушка лет двадцати, которую погружённый в себя кандидат наук до этого просто не замечал.

– Долго объяснять, – машинально ответил он и снова уставился в пол.

– У вас глаза больные, только по-другому, не как при гриппе.

– Вы часто видите больные глаза? – А Пэ терпеть не мог вагонных разговоров, но остатки интеллигентности мешали ему промолчать и вернуться к своим мыслям и банке пива на столике.

– Мне мама в детстве говорила, что у меня глаза больные, когда я простуду или грипп хватала. Мне стало интересно, и я во время болезни часто смотрела на себя в зеркало. У вас не так. Что-то общее есть, но выражение другое. Как будто болит, но не тело.

Внезапно Ставицкий подумал, что подобный диалог неплохо бы вписался в какой-нибудь роман Ремарка. Едва ли не против воли он вновь взглянул на соседку. Похоже, действительно двадцать, может, чуть больше, Арсений Петрович всегда плохо определял возраст на глаз. Не красавица, хотя черты лица правильные, слишком худая, к тому же с родинкой на щеке. К родинкам Ставицкий всегда испытывал необъяснимое предубеждение, и никакие разговоры о пикантности и эротичности не могли изменить его



мнение. «Смешно, – пронеслось у него в голове, – как всё-таки гнусно устроены люди. Даже в минуты отчаяния они продолжают оценивать представителей противоположного пола, появляющихся в поле их зрения». В воображении Ставицкого возникло измождённое бородатое лицо христианского отшельника. Интересно, вспоминали ли удалившиеся в пустыню аскеты об оставленных в городах красавицах, глядя на тонкие ножки саранчи перед тем, как её съесть?

– Это вам кажется, – Ставицкий поднялся на ноги и потянулся за рюкзаком, лежавшим в отделении над сложенной верхней полкой. Пиво в банке подходило к концу, требовались новые вливания, а кошелёк А Пэ, выходя из кабака, засунул вглубь рюкзака в приступе хмельной паранойи.

– Может, и кажется, просто есть ощущение, что вам нехорошо.

– Нехорошо? Мне отвратительно, – стервенея, вытолкнул сквозь зубы Ставицкий. Рукой он машинально ощущал переносицу. Прошлой ночью, когда он раскладывал верхнюю полку, вагон внезапно дёрнулся, и кандидат наук получил ощутимый удар по лицу двадцатипятикилограммовым монстром.

– Извините. Я подумала, вам нужно выговориться. Вечно лезу не в своё дело. Извините, – девушка повернулась в сторону противоположного окна, сделав родинку ещё рельефнее. Ставицкий почувствовал себя неудобно. Он представил, как выглядел со стороны – с двухдневной щетиной, в мятой одежде, сторбленный. Больные глаза и запах алкоголя дополняли безрадостную картину. Он ненадолго задумался. Рассказывать девушке о своей жизни, махать руками, обливаясь пивом, – он не хотел так, да и что это могло изменить? Засунув кошелёк в карман, Ставицкий двинулся в сторону туалета. Проходя мимо девушки, он остановился.

– Это вы меня извините. У меня действительно больные глаза, я это знаю даже без зеркала. Так бывает. Бросаюсь на всех, а вы вот хотели помочь. Не держите зла.

– Да какое там зло? – девушка подняла голову так быстро, словно всё время ждала, что он к ней обратится. – У вас вид человека, который не знает, что делать, и я подумала...

– Тишци, – Ставицкий приложил к губам палец. – Будем надеяться на лучшее. Спасибо вам. И ещё, у вас хорошая речь.

А Пэ улыбнулся, надеясь, что у него вышло достаточно убедительно, и продолжил свой путь. В туалете он долго мучился, пытаясь опорожнить мочевой пузырь. Хронический простатит он заработал пять лет назад на очередном фестивале, где полночи сидел на голой земле и орал песни в компании таких же персонажей, как и он сам. Несмотря на лето, земля ночью была достаточно холодной. Впоследствии Ставицкий неоднократно казнил себя за то, что в угаре не сходил в палатку за карематом. Врачи после всех процедур развели руками и сказали, что с этим придётся жить. Покачавшись минуты две на трящемся полу, А Пэ всё же освободился от накопившихся в организме отходов и, приобретя у проводницы банку светлого, вернулся на место. Соседка собирала вещи – приближалась очередная станция. Ставицкий отсалютовал ей рукой, сделал глоток из банки, закрыл глаза и мгновенно отрубился. Очнувшись от короткого тяжёлого сна, он обнаружил на месте своей отзывчивой соседки пухловатого мужчину с редкими волосами и в очках. На перпендикулярной нижней полке копошилась его копия – мальчишка лет пяти. «Хочу воды пить, хочу воды пить, хочу воды пить», – беспрерывно повторял он монотонным писклявым голосом. Ставицкий с раздражением посмотрел на торчащий хохолок волос, непременный атрибут детских рассказов, и вдруг представил, как берёт эту белобрысую голову и впечатывает её в стену. Видение мозгов и крови несколько охладили его пыл, после чего ребёнок заныл с удвоенной силой. В этот момент отец наклонился к сыну.

– Я что, глухой? – изрёк он тусклым голосом?

– Неа, – мгновенно отреагировал мальчишка.

– То есть, ты понимаешь, что я тебя слышу. Зачем тогда повторять одно и то же? Хочешь пить, возьми и не мешай людям, – мужчина указал на стоявшую на столике полупустую бутылку.

Ставицкий с нескрываемым удовольствием наблюдал, как притихший ребёнок тянется к бутылке. «Характером он явно не в отца, – размышлял Арсений Петрович, – значит, либо в мать, либо через поколение передалось, что нечасто случается. В общем, если это мамашины гены, то не хотелось бы...»

– Устал, привык к матери, она в соседнем купе, не удалось взять билеты рядом. У неё там нижняя полка, комфорт, – прервал размышления Ставицкого сосед. – Николай, – протянул мужчина руку через столик. Ставицкий пожал её и представился. Несколько секунд прошли в молчании.

– Все эти переезды, особенно с детьми, их тоже можно понять, устают, духота, но нельзя же всё им спускать, – Николаю явно хотелось поговорить. – Я с ним стараюсь пожестче, но без крика, пытаюсь объяснять какие-то вещи. Он должен понимать, что от него хотят, и что он неправильно делает. А вот



не желаете ли, – с каким-то ожесточением вдруг возгласил мужчина и выдернул откуда-то из-под столика бутылку коньяка. Ставицкого захлестнуло ощущение обречённости пополам с облегчением, и он энергично закивал. Следующие полчаса они потрещали дешёвое пойло из пластиковых стаканчиков и вели неторопливый разговор. Обсуждали вопросы воспитания, проблему отцов и детей, состояние системы образования. Николай оказался весьма приятным собеседником даже помимо коньяка, по крайней мере, он не повторял привычные банальности и правильно строил фразы. Мальчик Вова обалдевшими глазами смотрел на беседующих мужей. Было видно, что подобные сцены ему в новинку. Ставицкий чувствовал, как под воздействием тепла слегка ослабевало стянувшее ему грудь кольцо, и был готов сидеть так до самого прибытия, а то и дольше.

– Но понимаете, Арсений, если бы нас за десятилетия не отучили гордиться своей индивидуальностью, если бы человек в переполненном автобусе не боялся закрыть окно, потому что ему дует, а все молчат, не хотят проявлять инициативу, может, тогда нам и не пришлось бы сейчас вести этот разговор. На Западе, кстати...

– Ты хотя бы в поезде мог не искать собутыльников?! – раздался откуда-то из прохода голос. Ставицкий увидел, как на них надвигается женская фигура. Николай откровенно ступшевался. Арсению Петровичу очень хотелось узнать, как обстоят дела с внутренней свободой на Западе, но при этом он понимал, что пришло время ненадолго выйти. Он зашёл в тамбур, достал из помятой пачки сигарету, полез в задний карман джинсов за спичками, и в этот момент у него на поясе запищал пейджер. Ставицкий отцепил приёмник и посмотрел на экран. «Операция прошла успешно, скобы вставили, будет жить. Кусников». Оказывается, его всё же заметили в больнице. Кандидат наук не стал задавать себе вопрос, откуда у Ярика был его номер. Для людей с такими возможностями это, конечно же, не представляло никакой проблемы. Арсений Петрович Ставицкий, сжимая в руке незажжённую сигарету, медленно сполз по стенке тамбура. Сидя на корточках, он думал о любви, а ещё о лице Лили, когда её везли на операцию, и о том, что совершенно не представлял, что будет, когда наступит завтра. Наконец, он поднялся, открыл дверь вагона и пошёл к своему месту, по пути выбросив сигарету в ящик для мусора.

## БОЛЬНИЦА

### рассказ

Я стою спиной к стене в начале коридора, такого длинного, что глазам не удаётся разглядеть, где он заканчивается. Справа от меня вдаль уходит череда выкрашенных белым дверей. На ближайшей из них краска потрескалась и вздулась, напоминая о свинцовой тоске сумерек в больничной палате. Пробивающегося из окон в стене слева света слишком мало, поэтому на потолке горят электрические лампочки в больших круглых колпаках. Они издают неприятный зудящий звук, а колпаки почему-то слегка покачиваются, хотя никакого движения воздуха я не ощущаю. Иногда внутри некоторых из них что-то начинает потрескивать, и тогда рахитично-жёлтый свет гаснет, чтобы вновь зажечься через несколько секунд. Я машинально делаю шаг по скрипящему паркету и вдруг понимаю, что даром только что подумал о больнице. Я действительно нахожусь в каком-то госпитале и при этом совершенно не представляю, как мог здесь очутиться. Мысль эта будто бы открывает в голове некий шлюз, и в образовавшееся пространство в сознание бурлящим потоком врываются сотни вопросов. Ни на один из них у меня нет ответа, подхваченный волной, я беспомощно барахтаюсь, не в состоянии вспомнить даже собственное имя, как неожиданно какой-то голос внутри отчётливо произносит два слова. «Антон Антонов», – шепчу я, с трудом шевеля губами, и водоворот, грозивший поглотить моё тело, бесследно исчезает. Теперь я знаю, как меня зовут, знаю и то, что пойму смысл всего происходящего, едва окажусь за пределами больницы. Знание это приходит неизвестно откуда, но сейчас это совсем не важно, главное, что отныне у меня есть цель. Ободрённый, я быстрыми шагами подхожу к одному из окон. За пыльным, покрытым грязными разводами стеклом, лежит унылый больничный двор. Вечереет. Стоит поздняя осень, это можно определить по опавшим листьям, красно-жёлтыми кляксами покрывающим мокрую землю. Окно забрано толстой решёткой, но и не будь её, я вряд ли стал бы пытаться прыгнуть вниз, рискуя сломать ноги. Голос, минуту назад назвавший меня по имени, теперь говорит, что единственный возможный способ покинуть больницу – это пройти через главный вход, к которому должна вести лестница, что может прятаться за любой из окрашенных белым дверей. Я верю сказанному, возможно потому, что мне больше не от кого ждать помощи в этом странном месте. Что же до двора... Он не настолько уныл и тих, как это может по-



казаться на первый взгляд. Сначала вы видите только бетонный забор, потемневшую от дождя катушку с остатками кабеля, беспорядочно разбросанные мотки проволоки, и вдруг замечаете притаившийся за ржавым мусорным баком провал подвала. Упаси вас бог приблизиться к нему, ведь тогда из затхлой темноты выпрыгнет рука и сожмёт вашу стопу костедробильной силы хваткой. В ней нет ничего человеческого, в этой покрытой омерзительными пятнами конечности с ороговевшей кожей и длинными кривыми ногтями. Десять лет назад местная шлюха, вечно пьяная бабища в замызганном спортивном костюме, ночью привела сюда маленького сына и бросила его в подвал. Ребёнок раздражал её своим плачем, когда она с гудящей похмельной головой просыпалась в пропитанной сивушным духом девятиметровой комнате-клетке. Как ни удивительно, но мальчик выжил. Страшно даже представить, чем он питался все эти годы, насколько далеко углублялся в лабиринты катакомб, на десятки километров раскинувшиеся под городом, какую панику внушал крысам-мутантам. Самое же жуткое заключалось в том, что подросток достаточно, чтобы самостоятельно выбраться наружу, он не пожелал покинуть своё убежище. Он ползал сквозь населённую неописуемыми монстрами тьму, а иногда устраивался в засаде у самого входа в подвал. Существо, некогда бывшее человеком, долгими часами могло неподвижно сидеть на месте, ожидая появления добычи. Его жертвами становились кошки, собаки, а порой и пациенты больницы. Нет ничего кошмарнее, чем оказаться вместе с ним под сводами смрадного подземелья, и боль от вонзившихся в живот зубов покажется незначительной по сравнению с тем, что вы прочтёте в его горящих жёлтым огнём глазах. Но нет, я не хочу думать об этом, есть вещи, мысли о которых способны повредить разум, наполнить сознание ужасом, превращающим людей в слюнявых гримасничающих идиотов. Мне нужно идти дальше к выходу, к свободе.

Я поворачиваюсь к окну спиной, пересекаю коридор и подхожу к белой двери. Прикосновение к ручке вызывает неприятное ощущение. Несмотря на то, что в помещении прохладно, металл тёплый и словно бы липкий, так что кажется, что дотрагиваешься до куска вываренного в молоке сала. Дёргаю несколько раз, но это не приносит никакого эффекта. Внезапно я замечаю то, что чуть раньше ускользнуло от внимания, а именно круглое отверстие со вставленным внутрь стеклом, что-то вроде дверного глазка размером с шарик для пинг-понга. Я прижимаюсь к окрашенному дереву и припадаю к отверстию. Зрелище, предстающее моим глазам, заставляет сердце тревожно сжаться. В большом зале, залитом ярким электрическим светом, вдоль стен на равном расстоянии друг от друга стоят чёрные кожаные кресла. Сидящие в них люди по большей части одеты в дорогие костюмы, скрывающие жирные обрзвгшие тела, на лицах скука пресыщенных земными удовольствиями властителей мира. Я вижу нескольких женщин в вечерних туалетах и драгоценностях, похожих на усохших от недоедания гарпий. В центре зала находится каталка, какие используют для транспортировки неспособных самостоятельно передвигаться больных. Широкие ремни удерживают на ней человека средних лет, рот его заткнут резиновым мячиком-кляпом. Мужчина в сознании, он делает попытки освободиться, но при малейшем движении ремни впиваются в тело, и ему остаётся лишь беспомощно крутить по сторонам головой. Недалеко от каталки возвышается ещё одно действующее лицо этого безмолвного спектакля. Он невероятно толст, на нём замызганный мясницкий фартук, лицо скрывается за хирургической маской. В руках «мясник» держит портативную электрическую пилу с круглым зубренным лезвием. Некоторое время он стоит на месте, а потом не спеша идёт по направлению к каталке. При виде надвигающейся на него туши распостёртый мужчина принимается дёргаться с удвоенной силой. Толстяк в фартуке приближается к лежащему вплотную, лезвие начинает вращаться, и стальные зубцы входят в ногу несчастного чуть ниже коленной чашечки. Тело мужчины, несмотря на стягивающие его путы, выгибается дугой, а из стремительно расширяющейся раны потоком хлещет кровь. Она брызжет во все стороны, заливая «мясника» и зрителей, так и не проявивших никаких эмоций с момента начала экзекуции. Одна из красных струй попадает прямо в стекло глазка, я рефлекторно отпаштываюсь, поскользнувшись и обрушиваюсь на паркет. Желудок подпрыгивает к самому горлу, и меня выворачивает в неудержимом приступе рвоты. Кажется, что я блюю целую вечность, исторгая из себя все внутренние органы. В какой-то момент я пытаюсь приподняться и отползти от двери, но дрожащая рука не выдерживает веса тела, и моя голова падает на покрытый полупереваренной жижей пол. Раздаётся глухой стук удара, и всё гаснет, как перегоревшая лампочка в больничном коридоре.

Проходят миллионы лет, а может несколько секунд. Лёжа на холодном полу, я медленно прихожу в себя. Размытые картины пережитого кошмара беспорядочно сменяют друг друга где-то на задворках памяти, заставляя ноги елозить в пыли, а ногти царапать паркет. Понемногу ясность возвращается в сознание. Вокруг по-прежнему царит тишина, нет никаких следов рвоты, перепачкавшей одежду и тело. Я смотрю на дверь в пыточную камеру, не имеющую ни ручки, ни глазка, потом, борясь с дрожью в ногах,

осторожно поднимаюсь. Откуда-то приходит понимание того, что моё спасение лежит за последней дверью в коридоре, который мне предстоит пройти до конца, чего бы это ни стоило. Неуверенно делаю шаг, затем ещё один, постепенно входя в ритм движения. За окнами уже разлилась ночь, лампы на потолке не могут полностью рассеять ступившийся мрак, и я то вступаю в круги света, то вновь погружаюсь в темноту. Я не знаю, сколь долго продолжается мой путь мимо бесконечной анфилады дверей. За ними скрываются убийцы и насильники, матери, приспавшие во сне своих грудных детей, клятвопреступники, растлители малолетних и просто те, кто устал нести на себе бремя существования в подлунном мире. Там, в обитых войлоком палатах, нашли последнее пристанище растоптанные мечты, обманутые надежды и утраченные иллюзии. Меня мало беспокоит всё это, я помню о своей цели и упорно двигаюсь к ней сквозь жёлтое и чёрное. Иногда, когда усталость становится невыносимой, я устраиваюсь возле одной из еле теплящихся батарей, время от времени попадающихся по дороге, и забываюсь коротким сном без сновидений. Помню, как из ниоткуда навстречу мне появилась странная пара: женщина в одежде медсестры, толкавшая перед собой тележку на колёсиках, и дряхлый старик с ходунками. На тележке громыхали беспорядочно сваленные хирургические инструменты, звенели наполненные мутной жидкостью стаканы, старик был в мягкой пижаме, худой, как смерть, с трясущейся челюстью. Они прошли мимо, не обращая на меня никакого внимания. Не удержавшись, я оглянулся и увидел, как перед тем, как скрыться во тьме, медсестра сильно ударила старика по затылку, и он стал чуть быстрее передвигать свои ходунки. Я иду и иду, и, наконец, чернота расступается, и мой взгляд упирается в стену. Коридор закончился, и я вижу последнюю дверь, единственную из всех, на которой есть табличка с надписью. Долгожданный выход найден! Ни секунды не медля, я бросаюсь к двери, хватаюсь за ручку, и вдруг буквы на табличке, словно ожив, прыгают мне прямо в глаза, повергая душу в смятение. Это невозможно, здесь должен быть проход на лестничную площадку, а не кабинет главврача! В панике я с силой дёргаю дверь на себя, и она легко поддаётся. Я оказываюсь на пороге небольшого уютного помещения. Пол устлан бордового цвета ковром, вдоль стен выстроились стеллажи с книгами, на письменном столе горит лампа, накрытая зелёным абажуром. У стола кто-то сидит в кресле спиной к входу. Я делаю несколько шагов по мягкому ковру, и кресло поворачивается в мою сторону. Сидящий в нём мужчина действительно похож на врача. У него высокий лоб, зачёсанные назад седые волосы, седая же профессорская борода и пронизательный взгляд знатока человеческих душ. На плечи поверх пиджака накинут белоснежный халат. Он делает приглашающий жест, и я опускаюсь в ещё одно кресло, стоящее по другую сторону стола.

«Очень часто решение наших проблем лежит на поверхности, – произносит главврач глубоким приятным баритоном, – задача лишь в том, чтобы чётко сформулировать их для себя. Способны ли Вы на это, молодой человек?»

«Я не знаю, – хриплю я сдавленным от дурного предчувствия горлом, – я просто хотел выбраться из больницы».

«Вот видите, как всё просто, а Вы потратили столько времени и сил впустую. Неужели Вам до сих пор не понятно, что эту больницу покинуть невозможно, ведь она находится у Вас в голове?»

Последние слова ещё не успевают раствориться в воздухе кабинета, как память обрушивается на меня тысячетонным молотом. Одновременно с этим краски начинают сползать с окружающих вещей, съезживаясь и превращаясь в хлопья пепла. И я кричу, кричу, что есть сил, падая в бездонную пропасть собственного «я».

## НИКТО ИЗ НАС НЕ...

### рассказ

– Неведение, стремление, разочарование, опустошение – такими, согласно графу де Вереньяку, являются четыре константы, на которых зиждется наша жизнь. Раскрытию сущности каждой из них посвящён наиболее известный труд философа – трактат «Размышления об ускользающем мире». В конце своего сочинения граф утверждает, что правильное понимание констант и умение увидеть их в неразрывной связи может привести человека к ответу на главный вопрос бытия...

– И в чём же заключается этот вопрос? – визгливые нотки в голосе мужчины, произнёсшего эти слова, неприятно отдавались в ушах.

– Де Вереньяк не говорит об этом прямо, однако нетрудно догадаться, что речь идёт о смысле существования, поисками которого издревле занимались выдающиеся умы человечества.

– Но если граф разгадал эту загадку, – вмешался всё тот же повизгивающий голос, – то почему он не



поделился ею с нами? Или же это очередной розыгрыш?

– Де Вереньяк никогда не был склонен к мистификациям. В комментариях к трактату он пишет, что раскрытие тайны может повредить неокрепшие умы, подорвать психику ещё не прошедших испытание жизнью. Лишь искушённые и наделённые незаурядными способностями люди способны собрать воедино все детали мозаики и увидеть картину в целом. Правда, существует легенда, родившаяся уже после смерти графа. Согласно ей, иногда по необъяснимой прихоти мироздания истина может неожиданно войти в сознание того или иного человека, как правило молодого и неопытного. Упоминания об этой легенде вы вряд ли найдёте в трудах исследователей, она распространена исключительно в данной местности. Говорят ещё, что дух графа до сих пор блуждает по миру и время от времени проявляет себя в столь своеобразной манере. Ну а сейчас давайте пройдем к оранжереям. Де Вереньяк был большим любителем цветов. Надеюсь, его призрак не поджидает нас где-то между орхидеями и альстромериями.

Раздался всеобщий смех. Соланж Решо оторвалась от созерцания ползущей по травинке божьей коровки и посмотрела вслед удаляющейся группе. На фоне этих рано подзаплавывших жиром мадам и месье со спины её приближающаяся к седьмому десятку бабушка смотрелась весьма выгодно. Впрочем, и глядя в лицо Виржини Решо, никто не дал бы ей её шестьдесят семь. В ответ на все вопросы о секрете сохранения молодости она всегда улыбалась и ссыалась на здоровое питание и чистый воздух. Потеряв незадолго после выхода на пенсию мужа, Виржини решила, что для неё настало время пожить для себя. Её единственный сын был вполне счастлив в браке, хорошо зарабатывал в своей фармакологической компании, а внучка большую часть времени проводила в танцевальной школе, мечтая о карьере балерины. Решо продала свою столичную квартиру и купила домик в крошечном Шато-Сюр-Флёв, где провёл всю свою жизнь её кумир. Ни близкие, ни друзья не понимали тот жгучий интерес, который теперь уже бывшая преподавательница теории искусств испытывала к графу Филиппу де Вереньяку, философу второй половины восемнадцатого века. Впервые Виржини столкнулась с его трудами ещё студенткой, и с тех пор изучение жизни и произведений этого загадочного человека стало её страстью. Де Вереньяк был полной противоположностью своему современнику, либертину маркизу де Саду. Биография графа не изобилвала событиями. Он практически не покидал родной Шато-Сюр-Флёв, в юном возрасте женился на некоей Матильде Скуодери, с которой мирно прожил до самой кончины, заботился о цветах и писал бесчисленные трактаты. Три года спустя начала Великой революции граф отошёл в мир иной в своём родовом замке. Поразительно, но вихри, вверх дном перевернувшие страну, обошли его стороной. По какой-то необъяснимой причине потомственный дворянин де Вереньяк спокойно продолжал предаваться размышлениям, в то время как головы представителей его сословия одна за другой летели из-под сверкающего ножа гильотины. Графиня ненадолго пережила супруга. После её смерти замок национализировали, однако не разграбили, напротив специальным указом он был объявлен архитектурным достоянием и находился под охраной государства. Труды же графа, не слишком известные при его жизни, в девятнадцатом столетии обрели огромную популярность, став предметом дискуссий учёных мужей всей Европы. Что же до мадам Решо, то в итоге она по просьбе мэра города стала гидом, сопровождавшим группу туристов по замку де Вереньяка. Шато-Сюр-Флёв, для которого философ-затворник был главным источником гордости и доходов, боготворил столичную гостью, быстро ставшую своей. Здесь никому и в голову не приходило задавать ей набившие оскомину вопросы по поводу графа. Когда-то очень давно она пыталась объяснять любопытствующим, что видела в нём человека, наиболее близко подошедшего к пониманию истинной природы вещей, но вскоре оставила эти попытки и ненавязчиво переводила разговор в другое русло.

Соланж не было особого дела до увлечения бабушки. Шато-Сюр-Флёв она знала как свои пять пальцев и тихо ненавидела. Каждый год она проводила в городе три недели летних каникул по настоянию родителей, ссылавшихся на всё те же пищу и воздух. Никакие доводы в духе «мне уже ...надать» не действовали на чету Решо, последовательность позиций которой нередко граничила с откровенным упрямством. Сверстники из местных наводили на девушку непреодолимую скуку, и Соланж целыми днями в одиночестве бродила по окрестностям, загорала и купалась в речушке, фигурировавшей в названии города. Спасали лишь долгие беседы по мобильному с оставшимися в столице друзьями и подругами, и подключённый к интернету ноутбук. Всё резко поменялось этим летом. Изменения явились в лице Флорьяна, её ровесника, приехавшего навестить свою тётку, продавщицу в городской кондитерской. С ним были его одноклассники Тьерри и Жизель, влюблённая пара. Соланж столкнулась с ними на центральной улице в первый же день их приезда, и с тех пор вот уже вторую неделю они практически не расставались. Девушка водила их своими привычными маршрутами, накупавшись до одури, они жадно



поглощали гамбургеры в бистро, а вечерами собирались на пляже у костра. Алкоголь в городе им никто, естественно, не продал бы, но в чемоданах ребят нашлось место для нескольких бутылок виски, одна из которых непременно пускалась по кругу при свете звёзд. Три дня тому назад Соланж поняла, что Флорьян ей нравится, позавчера он поцеловал её, пока Тьерри и Жизель искали обрonnenную по дороге бандану, а вчера они уже обнимались в открытую. При воспоминании о губах Флорьяна, его руках на её плечах по телу девушки пробежала дрожь. Перспектива расставания, возвращение домой, последний год в лицее – всё это совершенно не волновало сейчас Соланж. Впитывая тепло солнечных лучей, она выгнула спину и с наслаждением потянулась, предвкушая предстоящую встречу.

– Ваша бабушка – это удивительное сочетание красоты и ума. Вы должны гордиться ею, мадмуазель, – прозвучало внезапно над ухом. Соланж открыла глаза и увидела перед собой месье Вишона. В лёгком костюме кремового цвета и белой рубашке, он улыбаясь стоял перед ней, и ветерок мягко трогал его уложенные на пробор седые волосы. Этот интеллектуал, обладатель безупречных манер в семьдесят лет по-прежнему заведовал городским архивом. Эрик Вишон был ещё одной достопримечательностью Шато-Сюр-Флёв. Говорили, что он участвовал в потрясшем страну студенческом бунте шестьдесят восьмого года, а в следующем десятилетии выступал на антивоенных митингах. Глядя в добрые, немного грустные глаза месье Вишона, Соланж с трудом могла в это поверить. Девушке нравился этот пожилой человек, всегда спокойный, будто бы обладавший неким недоступным другим знанием, и при случае она с удовольствием перекидывалась с ним несколькими словами.

– Бабушка отлично выглядит, да и мозги у неё такие, что многие позавидуют. Ну а насчёт её работы, тут вам, месье Вишон, виднее, я, честно говоря, не слишком разбираюсь в таких вещах.

– Это совершенно естественно в вашем возрасте (Соланж забавляло, что старик неизменно обращался к ней на вы). Вам нужно радоваться жизни, переживать каждое её мгновение, да и в выводах, которые делает граф, надо признать, мало оптимистичного.

– Вы хотите сказать, что сумели разгадать эту его знаменитую загадку?

– О, конечно нет, – Вишон поправил ворот рубашки, – однако иногда, чтобы что-то понять, не обязательно докапываться до самого дна. Впрочем, несмотря на свои годы, я тоже не чужд мирским заботам, приятным, хотя порой и доставляющим хлопоты. К примеру, сейчас я ломаю голову над тем, какой подарок порадовал бы вашу бабушку в её день рождения, до которого, к слову, осталось не так уж и много времени. Я почему-то подумал о перчатках, но ассортимент наших магазинов, как вы понимаете, невелик, да и к тому же я абсолютный профан в подобных вопросах.

Соланж не удержалась от улыбки. Вот уже несколько лет Вишон трогательно ухаживал за мадам Решо, и она отвечала ему взаимностью. Девушка не могла понять, почему эти два человека упорно не желали оформить свои отношения или хотя бы съехаться. Ей казалось, что у взрослых всё должно было быть значительно проще, и тем не менее они часто оказывались не в состоянии осознать очевидные вещи.

– Месье Вишон, почему вы не сказали мне об этом раньше? Это же так просто. Сейчас всё что угодно можно заказать по интернету, а доставка занимает пару дней. Если хотите, я могу завтра прийти к вам в архив, мы выберем то, что нужно, и сделаем заказ. Я неплохо знаю бабушкины вкусы.

Лицо старика вытянулось, брови поползли вверх, и он радостно и вместе с тем немного растерянно заулыбался.

– Соланж, вы не представляете, какую услугу мне окажете. Мы, обломки ушедшей эпохи, похоже, совсем перестали ориентироваться в современных реалиях. С нетерпением жду вас завтра в любое удобное для вас время. Однако, кажется, я вас заговорил. Только что разглагольствовал о необходимости ловить момент, а сам утомляю юную особу своими стариковскими разговорами.

– Месье Вишон, вы меня совсем не отвлекаете. Я встречаюсь с ребятами на берегу, но до этого ещё куча времени. Мадам Прюдон с утра заставила Флорьяна и остальных помогать ей в саду, так что мне приходится ждать, когда они освободятся. Мы договорились пересечься в одиннадцать. Кстати, не подскажите ли вы, который сейчас час? Я забыла мобильный дома, а возвращаться за ним лень.

– Лень! Как это прекрасно, – от восторга Вишон слегка качнулся на месте. – Конечно, это самое малое, что я могу для вас сделать, моя спасительница. – Он оголил запястье и взглянул на циферблат. Соланж подумала, что в его случае уместнее смотрелись бы старинные часы-луковица на цепочке. – Без двадцати одиннадцать, мадмуазель.

– Ничего себе! Вот это я замечталась. Не думала, что так поздно. Спасибо, месье Вишон, я, наверное, пойду.

– Вкушайте этот день, Соланж, возьмите от него всё возможное. – Вишон наклонил голову, повернул-



ся и пошёл по направлению к выходу из замка. Несколько секунд Соланж смотрела ему вслед, а потом поднялась со скамейки.

Дорога, ведущая между кустами к берегу реки, легко ложилась под ногами. Девушка шла, думая о том, насколько далеко она готова позволить зайти их отношениям с Флорьяном, и не сразу почувствовала дискомфорт в правом кроссовке. По-видимому, в обувь попал камешек. Соланж присела на обочине, сняла кроссовок и вытряхнула непрошеного гостя. Поднявшись на ноги, она вдруг замерла. Прямо перед собой на противоположной стороне дороги девушка увидела тропинку, уводящую вглубь посадки. Соланж нахмурилась. Сколько она себя помнила, здесь никогда не было никаких ответвлений. Заинтригованная, Соланж пересекла дорогу и ступила на тропинку. Девушка колебалась. В конце концов, они могли вернуться сюда все вместе позже и исследовать таинственную тропу. В то же время впереди у неё был целый день, и любопытство первопроходца настойчиво требовало удовлетворения. Соланж решительно тряхнула головой и сделала первый шаг. Она шла между превосходивших её рост зарослей в тишине, нарушаемой лишь шумом шагов и гудением насекомых в жарком воздухе. Пройдя достаточно долго, она уже почти решила повернуть назад, утомлённая окружающим однообразием, как вдруг увидела, что тропинка перед ней сворачивала направо. Девушка повернула и в ошеломлении остановилась. Её глазам открылся самый настоящий лес – высокие мощные стволы деревьев, нагромождение мясистых листьев, наполненный скрипами и шорохами полумрак. Соланж стояла на границе света и тени. Всё это было невероятным, необъяснимым, ведь раньше она никогда не слышала о существовании подобного места. Самым же удивительным было то, что среди деревьев находилась огороженная площадка. Стены из выкрашенной в тёмно-зелёный цвет металлической сетки возвышались на добрых пять метров. Внизу некоторые фрагменты отсутствовали, их заменяли секции из колючей проволоки. Внутрь площадки вела дверь того же цвета, что и сетка, и в её проёме Соланж явилось завораживающее зрелище. Словно под гипнозом, девушка ступила под сень деревьев, пересекла отделявшее её от площадки пространство и вошла в дверь. Посреди прямоугольника сухой утоптанной земли рос изумительной красоты цветок, словно бы вобравший в себя все краски оранжереи графа де Вереньяка. Соланж медленно опустилась на колени перед этим чудом. Казалось, цветок принадлежал какому-то другому миру, его невозможно было описать словами, передать те образы, которые возникали между распахнутых лепестков, чтобы тут же исчезнуть. Соланж не знала, сколько просидела в трансе, одурманенная видениями самых причудливых форм жизни, превосходивших возможности человеческой фантазии. А потом всё внезапно погасло. Она встала, покачиваясь, словно сомнамбула, прошла несколько шагов по направлению к выходу и упёрлась в металл сетки.

Прикосновение холодной стрелой пронзило тело Соланж, и к ней вновь вернулась способность воспринимать окружающий мир. Никаких следов двери не было, будто бы она не существовала. Девушка обернулась, но цветок тоже исчез. Её охватило дурное предчувствие. Быстрым шагом она обошла всю площадку по периметру, но не нашла никакой возможности выйти наружу. Страх понемногу охватывал Соланж. Она вцепилась в сетку в попытке вскарабкаться по ней вверх, но обувь соскальзывала, а металл больно резал пальцы. Девушка проклинала свою лень, из-за которой не вернулась домой за забытым телефоном. От бессилия Соланж закричала, потом ещё и ещё. Звуки тонули в густом тяжёлом воздухе, и в глубине души она понимала, что никто не придёт на помощь, не заберёт её из этого проклятого места. Если она и сможет отсюда выбраться, то только самостоятельно. В голове мелькнула мысль о подкопе. Она попыталась рыть землю у сетки руками и тут же сломала ноготь. Соланж сняла с ноги кроссовок и стала долбить им твёрдую почву. Никакого эффекта. Она раньше умерла бы от истощения, чем ей бы удалось вырыть хоть небольшую ямку. В ярости девушка рванула на себя сетку, но та даже не прогнулась. Вдруг её взгляд упал на колючую проволоку. В одном месте две полосы слегка провисли. Соланж легла на землю, взялась за верхнюю проволоку руками, стараясь не задеть колючки, оттянула её вверх и протолкнула в образовавшееся пространство голову. В этот момент пальцы её соскользнули, и железное жало впилось в плоть. Слёзы брызнули из глаз Соланж, она отёрнула руку, и шея тут же оказалась в капкане. Непроизвольно девушка дёрнулась, и колючка вскрыла ей артерию. Кровь побежала по коже, и Соланж истошно завопила...

– Соланж, Соланж, что с вами?

Тело девушки билось в державших её руках, голова моталась из стороны в сторону, мокрые от пота и слёз волосы облепили лицо. Месье Вишон ещё крепче сжал объятия. Наконец, судороги стали утихать. Соланж разлепила глаза.



– Цветок, площадка, нет выхода, – бормотала она пересохшими губами. Старик приподнял её голову и положил себе на колени.

– Успокойтесь, мадмуазель, это был просто сон. Вас разморило на жаре, вы уснули, получили изрядную дозу ультрафиолета и увидели кошмар. Сейчас вы отдохнёте, мы вернёмся в замок, и всё будет хорошо, – приговаривал он, полой пиджака прикрывая девушку от солнца.

– Ничего, ничего, я уже в порядке, – Соланж приподнялась с колен Вишона и села на землю. – Но этого не может быть, я не засыпала. Я остановилась вытряхнуть камешек, потом эта тропинка... – взгляд девушки упал на противоположную сторону дороги, на заросли, в которых не было ни малейшего просвета. – Какой-то бред, я пошла по ней, попала в лес, там была площадка, потом выход пропал, я пыталась выбраться и... – Соланж дотронулась до шеи, а затем бессильно опустила руку.

– Мадмуазель, забудьте всё, что вы видели. Дурные сны пугают, но быстро исчезают из памяти. Как всё-таки хорошо, что я вас обнаружил. Мне, знаете ли, неожиданно пришло в голову прогуляться в сторону реки и нарвать для вашей бабушки букет каких-нибудь простых цветов. Она, конечно, привыкла к оранжерейному великолепию, а мне вот захотелось чего-то совершенно иного. А ещё говорят, что не нужно поддаваться своим импульсам.

– Пойдите, пойдите, – внезапная догадка вспыхнула в сознании Соланж, – цветок, граф Вереньяк, тайна. Неужели...

– Послушайте, – голос Вишона окреп и посерьёзней. – Когда-то давно, когда мы были ещё молоды, существовали такие люди, как хищники. Вы, конечно, слышали о них – дети цветов, думавшие, что любовь спасёт мир, и растворившиеся в наркотических грёзах. Я тоже верил в это, только моим стимулятором была музыка. Больше всего я любил парня по имени Джим, вы знаете его, он похоронен в вашем родном городе. Так вот, этот парень как-то сказал, что никто из нас не выйдет отсюда живым. Вскоре он умер, собственным примером подтвердив своё утверждение. И, боюсь, с его словами не поспоришь. Этот Джим, к слову, был весьма образованным человеком. Не исключено, что среди прочитанных им книг были и труды де Вереньяка. По крайней мере, я никогда не слышал лучшего определения идеи графа. Помните, совсем недавно мы говорили о необходимости радоваться? Жизнь, Соланж, удивительнейшая вещь. Она рано или поздно неизбежно заканчивается и таким образом помогает нам осознать прелесть всего прекрасного, что в ней есть: вина, прогулок под звёздами, подарков любимой женщине. Живите, мадмуазель, в этом, пожалуй, и есть главный смысл всего происходящего, несмотря ни на что. А теперь давайте-ка вернёмся в замок. Я не прощу себе, если немедленно не препоручу вас заботам мадам Репшо.

Вишон встал, отряхивая брюки от дорожной пыли. Соланж, пытавшаяся осмыслить суть услышанного, медлила. Рассеянный взгляд девушки вдруг сфокусировался на одном месте, и она похолодела. Её левый кроссовок выглядел обычно, правый же был перепачкан землёй и деформирован, словно бы кто-то жестоко бил им о неподатливую почву.

# ЛАДА ПУЗЫРЕВСКАЯ

---

## ПОКИДАЮЩИЙ ЭТОТ ДОЖДЬ

### ТИТРЫ

растерявший все буквы в этом раю киношном,  
ошибающийся дверями и этажами,  
привыкаешь молчать –  
так, как нож привыкает к ножнам.  
и сжимать кулаки, чтоб пальцы не задрожали.

обнимаешь прохожих, как будто сто лет знакомы...  
всё, от самых искусных швов до случайных трещин,  
познаётся в сравнении, всюду свои законы –  
ночью страшно без тени, а утром морщины резче.

ночью может любая вспышка звездой казаться,  
вот и бьёшься в пустое небо – не запретит ли  
заскорузлых бинтов неверной рукой касаться.  
крушным планом любовь и смерть,  
остальное – титры.

остальное – стальные нервы и шаткий почерк.  
хриплый голос за кадром цедит своё «amore»,  
да звенят на ветру гирлянды золотых цепочек  
на заброшенном дубе в ветреном лукоморье.

### ОКНО

Танцует польку в грязном саване зима, гонимая взашей –  
нет, не видать мне тихой гавани,  
хоть горизонт в сердцах зашей.  
На медных трубах стынет патина, а город горд от непогод.  
Но на гвозде – рубаха батина ничья уже который год.

Здесь под окном такая каша, что и вовек не разгрести,  
и жизнью жизнь всего лишь кажется.  
От запоздавшего «прости»  
нелепо провисают реплики, не вписываясь в нотный ряд.  
А за спиной моей – поребрики горят, смотрите, как горят.



Швыряет ветер искры в очи нам, не разжигающим камин,  
 в ночь рассыпает по обочинам рябин мороженный кармин,  
 но не понять – по чьим стопам идти  
 сквозь город заспанный пустой.  
 Влюбиться в прошлое без памяти и не проситься на постой.

А ведь бывало так – позаришься на огонёчек, дёрнет чёрт,  
 и снятся сотню лет пожарица, и Обь под камень не течёт.  
 Так пусть зима танцует, смертница,  
 мы с ней, похоже, заодно,  
 пока в ночи всё так же светится родное мамино окно.

## КАНИТЕЛЬ

*Лёне Барановскому*

1.

пространная дышит на ладан  
 страна под амбарным замком  
 но ты улыбнешься – да ладно  
 с ней не понаслышке знаком

да лишь бы хватило таланта  
 и было при жизни – по ком

капель рецидивом чревата  
 к заутрене вынь да положь  
 врача, чья несладкая вата  
 укутает улицы сплошь

а лучше – поставь запятую  
 стремясь не в строку потакать  
 и я что есть сил забинтую  
 в солёные сны эстакад

и осень, чья песня холопья  
 и город без лишних хлопот –  
 снижаются снежные хлопья  
 стущается время из-под

небесной ладони повстанца  
 поровшего в прошлом порой  
 заветную ересь – останься  
 снег может быть тоже пароль

2.

дано: километр 101-ый  
 плюс беглых следов кружева  
 швыряет хрустальные перлы  
 звонарь, не устав крышевать



заметных на чёрном залётных  
осевших в скупой чернозём –  
вон колокол словно зовёт их  
поставивших щедро на всё

в отказ не ушедших, покуда  
полна перезвоном казна  
да бьётся на счастье посуда –  
не дольше, а дальше как знать

грести ли по тёмным аллеям  
где прочерк, просрочен, висит  
не по беспределу болея –  
судьбой заплатив за визит

## 3.

ни царства за то, ни коня им  
смотрящий открыл вентиля  
известным макарон гоняет  
по-старому стилоу телят

где вусмерть дороги месили  
слетаясь на свет впереди  
сбивались в шалманы мессии  
не спрашивай, не бреди

где родина в синем платочке  
ни Крыма не сдаст, ни Курил  
ни слишком горячие точки  
в которых не сразу вкурил

за что между тем отметелит  
устав по слогам донимать  
мы – петли в твоей канители  
небрежная родина-мать

## 4.

потянет из сумерек волглых  
с вещами на выход – забит  
светило садится за Волхов  
но вновь восстает – из Оби

и на спор не скрою восторга  
зардевшимся словом соря –  
надежда приходит с востока  
где, если дословно – заря

где айсберг плывёт наудачу  
под шелест хозяйских сутан  
а здесь – безутешно судачат  
застрявшие в льдинах суда



что альфа – ни зги, ни омега  
на небе без звёзд – не родня  
три года здесь не было снега  
три года + тридцать три дня

печёные сны печенег –  
ни дыма всерьёз, ни огня  
вот только кого ни спроси я  
на что белый свет променял  
божатся – здесь тоже Россия  
а стало быть – и про меня

### ТЫ ГОВОРИ СО МНОЮ, ГОВОРИ

Ты говори со мною, говори –  
о чём угодно – про страну и Бога,  
о том, что возле райского чертога  
по-прежнему толятся упыри  
и вряд ли стоит назначать там встречу,  
о том, что каждый с детства искалечен  
тетрациклином... Только – говори.

О том, что подоконник весь в пыли,  
и наша жизнь – конспект Экклезиаста,  
всё – суета ... а звёзды – для балласта  
висят на небесах, календари –  
недальновидны, как прогноз погоды –  
нам не дожидаться нового исхода  
или – дождя хотя бы... Говори!..

О том, что обновили словари  
и fall in love не означает – падать,  
о незавидной участи Синдбада,  
не знающего моря – изнутри,  
о том, что speaker – человек публичный,  
а привкус выходного дня – клубничный  
и пользы для... Ты только – говори.

О том, как нам опасны – январь  
последствием надежд и – аллергией  
на апельсины... Нет, не ты – другие  
их принесли... О том, что фонари  
не восполняют недостаток света,  
о том, что вряд ли я дождусь ответа.  
Ты говори со мною, говори...

### ЕЩЁ БЫ

едва устанешь медь с моста ронять –  
и вот уж сеть мечтает отвисеться,  
растёт на листьях ржавая броня  
и к перебоям привыкает сердце.



так осень постепенно входит в раж, но  
не полной мерой мстит. не оттого ли  
здесь по утрам так холодно и страшно,  
что не хватает – то любви, то воли,

то веры опрометчивой, то – сил...  
ты мог бы пожалеть меня, малыш, но  
ты сам из тех, кто по свистку тусил.  
а колокольчик мой почти не слышно

и блажь звенеть, не ведая – по ком я.  
скажи, кукушка, сколько нот осталось,  
и кто в последний дом мой кинет комья,  
и что такое осень, как не старость

в краплёном мёртвым золотом аду?..  
господь прощает давящих на жалость,  
так плачь, малыш, сойдёшь за тамаду,  
на плачущих всё это и держалось –

наш странный век сливающих чернила,  
воспевших виртуальные трущобы,  
где осень пусть прекрасна, но червива.  
а нам ещё бы времени, ещё бы

#### ВРЕМЯ ГОДА – РАССВЕТ

Полшанса на вечность –  
такой вот смешной расклад.  
Плывут за окном, пернатых сбивая с крыш,  
осколки горячечных фраз... Снегопад. Не спишь?..  
В объятиях снов, зарифмованных невпопад,  
проснуться бы – здравствуй, город мой!.. Не умереть  
от сумрачной страсти белых его молитв.  
Так много их было – у ветра со снегом битв.  
Так мало нас будет – проснувшихся на заре.

Полшанса, полтакта – до наших семи морей,  
солёных-солёных... Не наблюдать – часов.  
Ты слышишь шаги?.. Мы здесь заперты на засов,  
в краплёном наотмашь не Господом январе –  
бездомные дети, крещёные наугад.  
В ладонях твоих – не страшно, держи. Дрожит  
мой сорванный голос. И это, похоже – жизнь.  
И это её, вековечное, – обжигать.

Полсмеха, полстраха – и снова на самолёт.  
Когда бы не столько было воздушных ям...  
По ком там сегодня бьют в колокол?.. Звонарям  
нет дела до нас. А под утро растает лёд,  
отменят все рейсы, и город – на ключ. Среди  
осевших снегов – дорога к тебе. Домой.  
Вода ли, беда – по колено нам. Мальчик мой,  
не верь никому, ни себе и ни мне. Гляди –



полшага – на выдох, полшага – на вдох, балет  
теней на стене окончен. А вдоль полос  
посадочных, взлётных – пунктиром следы. Сбылось?..  
И как ни крути, время года теперь – рассвет.  
Мятежное время танцующих звёзд. Держись  
до первой из них. Сорвав позывные с губ,  
памянит наш преданный ветер на берегу...  
Скажи, если моря здесь нет, то откуда – бриз?..

### КАРАМБОЛЬ

покидающий этот дождь не замедлит шаг,  
уходя – уходи. махнёт головою русой –  
мол, айда-ка  
со мною туда, где лишь тем грешат,  
что жалеют шары, боясь ошибиться лузой.

ты метнёшься  
послушно вдалёк вдоль чужих полей,  
где такой карамболь, а тут хоть реви белой  
в унисон сквознякам, причитающим: не болей,  
раз играешь с руки, не жалуйся и бей в угол.

пятый угол твоей страны с золотой канвой,  
об которую бог прилежно сломал все иглы...  
обними же меня на прощание – спит конвой  
и бесстрашные мальчишки снова играют в игры

# АРИНА ГРАЧЁВА

---

## ВИРУС ВОРКОВАНЬЯ

### ТРЕПЕТНОЕ

Событий приближающихся свет  
разлит повсюду, зимний сумрак вспорот.  
И, вложенный в подарочный пакет,  
живёт в режиме ожидания город.

Шары, гирлянды, переключки ламп,  
таинственные тени в небе кружат,  
и вновь надежды звёздная игла  
легонько колет трепетную душу.

И чувствуешь: вот-вот замрут дела,  
и станет главным – вечности касанье,  
и будет радость во главе угла  
стоять, лучась  
Христовыми глазами...

### АПРЕЛЬ И ГОЛУБИ

Не стоит. Правда.  
Что ни говори,  
а город не такой уже и сонный,  
ещё чуть-чуть – и перейдут на крик  
живые краски нового сезона.

И во дворе – всё ярче, всё не так,  
как было в пору белой зимней скуки,  
и голубей влюблённая чета  
всё больше растворяется друг в друге.

Прошёлся по ветвям зелёный вихрь,  
и золотой кружит над головами,  
невидимый, в твоей-моей крови  
гуляет тоже вирус воркованья.

И радоваться хочется, и петь  
про то, как в мире жили-были двое,  
и пусть на миг покажется тебе,  
что эта песнь  
мне ничего не стоит...



## СЕНТЯБРЬ И ТЫ

Сентябрь. Столица. Легковерный люд  
клюёт на скидки, радуется торговлю,  
и ты – клюёшь  
и тоже видишь плюс  
в прогибе цен, и ничего другого.

И ты – потоком уносима прочь  
от тихой синевы, шуршащей тени,  
и, кажется, не кончится добром  
всеобщая игра в приобретение.

Тут замереть бы, оборвать шаги  
по слившимся в один торговым залам,  
на тысячу покупок от других  
отстать, решая  
обходиться малым,

сорвать – вон ту! – рябиновую кисть,  
чей красный перехватывает горло,  
и ощутить, как внутренне близки  
ты и сентябрь,  
уже вошедший в город...

## ПЕРЕХОДНОЕ

Идёт к концу и всё мрачнеет год,  
в который раз со снегом дождь смешался,  
и каждый неподземный переход  
навек продрогнуть  
повышает шансы.

И было б глупо всматриваться вдаль,  
когда осадки ледяней и злее,  
когда имеет виды темнота  
на всё, что на пути моём белеет.

И страсти беспощаднее кипят,  
со всех сторон слышны их отголоски,  
и я всё глубже ухожу в себя  
по пешеходным стёршимся полоскам...

## ПРЕДНОВОГОДНЕЕ

Опять в большой цене кресты и точки,  
чтоб там, где нужно, ставить пожирней.  
Стал шумный город благодатной почвой  
для размноженья праздничных огней.

И, значит, будет темноты – не густо,  
и для унынья свет – чистейший яд,  
осенних слов не виртуальный мусор  
пора с корзиной вместе удалять.



---

И, кажется, что суете в угоду  
не принесёшь ты больше ничего –  
ни речь, ни христианскую свободу,  
ни миг единый,  
а не то что год...

# МАЙКА ЛУНЁВСКАЯ

---

## ДНЯ ГОЛУБАЯ ПРОРУБЬ

\*\*\*

Терпению, страху, слову.  
Чему научился ты?  
Соцветьем пустоголовым,  
где прежде тебя цветы,

к земле побелевшей никнуть,  
раскачиваясь едва.  
И небо читать, как книгу,  
и птиц, как её слова.

\*\*\*

G.G.

И там, где волк один в степи,  
где долгий след у колеса,  
и где покойники в глаза  
глядят с ухмылкою: терпи,  
и там, где сад, и где содом,  
и где жену ведут в дураом,  
весёлый Бог глядит на то, как  
всем одиноким одиноко.

\*\*\*

Облако, чьё лицо  
не удержать напротив.  
Раньше я помнил, кто ты.

Окна универмага,  
выбитое стекло,  
в нём отразился голубь,  
неба разъятый круг,  
дня голубая прорубь,  
жмущаяся к ведру,



опережая воды,  
облако золотое...

Раньше я помнил, кто ты,  
или точнее, кто я.

\*\*\*

Подобна маяку труба на ТЭЦ.  
Глядящий вдаль предполагает берег  
и в чём-то прав. Украина, конец,  
почти конец земли, по крайней мере,  
дороги, проходящие насквозь,  
свидетельствуют: есть ещё куда.  
И эта мысль спасительна (авось,  
уедем), будто вправду города  
другие есть. Но, возвращаясь в этот,  
ты подтверждаешь правило, что нету.

\*\*\*

Зима. Земля. Вода до половины.  
Растерянный полёт последних птиц.  
И снег идёт и терпит смерть, безвинный.  
И кровь его – вода (и соль ресниц).

Смотри на свет, обрушившийся в небе:  
всё вертится, и верится с трудом,  
что кончится и вылепленный лепет,  
мой снежный великан великолепий  
весь обратится в плач.  
Вернёмся в дом.

Мне жаль зимы.  
Несёт снеговика  
без лодок и течения река.

\*\*\*

Молчание – есть звук внутри себя.  
Я научилась этой речи.  
Как тот, кому оправдываться нечем.  
Сложи свой мир из страхов и табу.  
Под плёнкой век,  
под скорлупой,  
под кожей.  
А страх всего и значит – человек  
(не на себя, а на других похожий).  
Заметит кто, что села стрекоза  
на радугу стекольную? Запишет?  
Но лучше слов, которые сказал,  
слова не прозвучавшие. Чем тише,



тем глубже, и отчётливей, и резче.  
Я научилась этой громкой речи.  
Как тот, кто учится ещё в пространстве диком  
Свободе слов, но не свободе крика.

\*\*\*

Голубые сливы и алыча,  
и малины спелой ведёрко с лишним.  
Запрокинешь голову, различай:  
в небе неба нет, есть листва и вишни.

Много выше возраста моего  
золотая липа. И кроме сада,  
кроме детской памяти, ничего, –  
повтори ещё, – ничего не надо.

Я ищу слова, но зачем слова?  
И кому нужна эта речь прямая?  
На ладошке солнце лежит – айва,  
я целую солнце. Я собираю

весь мой сад: то с дерева, то с куста.  
И растут слова, как листва и сливы.  
Повтори, что страшно никем не стать,  
но как просто жить или быть счастливым.

### В САДУ

Сидим в саду. Над дальнею водой  
висит, как дым, гуденье насекомых.  
«Никто не возвращается домой», –  
ответ, звучащий для вопроса: «Кто мы?».

Ни вечера не можем уберечь,  
ни жизни, ни сорвавшегося звука.  
Когда поём беспомощную речь,  
в ней слышится то музыка, то мука.

Как дети знают то, что их простят,  
я знаю, что прощения не стою.  
Прощаемся. За нами гаснет сад.  
В костре чернеет дерево сухое.

\*\*\*

Человек, стоящий перед отцом,  
смотрит в будущее, отрицает  
будущее. Твоё лицо  
не вспомнить, будто лица и



не было, как и всегда во сне  
без конца и начала, как смерть любая,  
время зациклено на себе и не  
мыслит себя вчерашнее, полагая,  
что сегодня и есть вчера.  
Вечерами, впрочем,  
болименеесносно –  
в остановившемся небе прочен  
горизонт, в циферблат солнца нацелены сосны,  
время мнит себя кошкой, то есть клубком,  
закат на портретах окон располагает к лени,  
человек, забывший, о чём рассуждал, ни о ком  
не хранит сожалений.

\*\*\*

Окно называет предметы наполовину:  
половина тебя, идущего за, видна,  
полмагазина, имеются воды-вина,  
в наличии только вина.

Смотрящий через окно называет за ним  
старость растений, стоящих, но не бегущих.  
Впрочем, побег! Люди, вы здесь одни,  
будем решать задачки для отстающих.

Скорость тепла и тела равна нулю,  
в комнате, где винт заменяет штопор,  
смотрящий в окно (то есть я) называет «люблю»,  
которое означает не «кто», а «чтобы».

**СЕРГЕЙ**

**СУТУЛОВ-КАТЕРИНИЧ**

---

**ВГИК: 30 ЛЕТ СПУСТЯ. ФОТОГРАФИИ НА ПАМЯТЬ**

*Ассиметричный цикл*

1. ПЕРЕКРЕСТИ, МУДРЕЦ, МАЛЬЦА...

*Ставрополь – Владимир – Горно-Алтайск, 2001 – 2016*

*Алексию Головченко*

...весёлый ник – *rangolov! pamboroda* звучит сурово.  
судб канва – разрыв-трава. озноб единственного Слова.

рефрен онегинской строфы – опальный пасынок России:  
вожди, бомжи, попы, волхвы мотив бездарно исказили.

во имя красного словца безмерно наврано другими.  
рифмуй – во имя храбреца! рифмуй – гармонии во имя.

любви условные права. разлук бесспорные печали.  
– *жи-ту-ха!* – ухает сова. жених *бухает* на причале.

во имя Сына и Отца, творишь, паришь, сгораешь или  
скорбишь у дряхлого крыльца: попировав, недокурили...

и, поверяя нотой си стихи, сценарии, молитвы,  
пан Голова, переспроси: – на небеси бескровны битвы?!

во имя светлого лица, ведомый чувствами благими,  
перекрести, мудрец, мальчика – святой поэзии во имя...

2. У КАМИНА...

*Ставрополь – Москва, «Известия», 2001, апрель*

*Эльдару Рязанову*

Разини Рязани и Сызрани,  
Разите старье телевизоров!  
Прощайте, вампиры и бестии, –  
Кумиры каминят в «Известиях».  
Рабле отдыхает...

Осанна Вам,  
Рязанов Эльдар Александрович!



## 3. ВНИМАНИЕ, МОТОР!

Пятигорск – Москва – Ставрополь – Аксха – Тагоради, 1986 – 2016

Вячеславу Лобачёву

- Триумфальное кино! Прозевали? Причащайтесь!
- Ни фига не ясно, но, говорят, кино про счастье?
- «Броненосец number two» голливудского разлива:  
Зарифмованная чушь примитива и архива.
  
- Сценарист – поэт, ворьё: кинопроба – киновтора...
- Изощёренное враньё тривиального актёра...
- Непростое полотно – вифлеемские идеи...
- С режиссёром заодно прокуратор Иудей!
  
- Непростительный кураж! Вирази дурного вкуса...
- Тройка цугом – экипаж непутёвого Иисуса...
- Ах, не слушайте толпу! Это мы уже жевали:  
«Пастернак? Долой! Ату – за компанию с Живагой...»
  
- Полураб и полубог оператор виртуозный...
- Не выщёлкивайте блох, ибо это несерьёзно!
- Театральное трюмо, привезённое с Ордынки,  
Отражает кимоно Человека-невидимки...
  
- Академия Наук от восторга содрогнётся...
- Не берите на испуг иноверца-иноходца!
- Эпохальное кино! Проморгали? Это – минус.
- Время – оно. И оно заразительно, как вирус...
  
- Сумасбродный Бегемот: «Вуаля, маэстро Воланд!»
- Маргарита не войдёт – ни нагой, ни полуголой...
- Мастера мистерий, вы не оцените, конечно,  
Желтизны и синевы обручального колечка!
  
- Времена... Веретено киношока-киновздора.
- Поминальное вино камикадзе-каскадёра.
- Ассистент, вчера Луну заказали на Таганке?!
- Расступитесь, инженеру, эротичные пацанки!
  
- Планетарный выпендрёж элитарного поэта...
- Киноправда! – Киноложь! – Неразменная монета...
- Оборванцу из МГИМО аплодирует галёрка...
- Каркнет ворон: «Never more!» – донесётся до Нью-Йорка.
  
- Параллельное кино: перекуры, пересуды...
- Время – немо. Но оно по местам расставит судьбы.
- Запоздалый «Нарру энд»? – Биволя кинополя!
- Херувимы... Плач побед... – Я сюжет опять не понял...



## 4. ПРОГУЛКИ С АНГЕЛОМ

*Ставрополь – Санкт-Петербург – Нальчик – Стамбул, 1986 – 2016*

*Андрею Зинчуку*

Сакральный символ: город S. Сумбурный сумрак.  
И ля-бемоль, и до-диез надежд безумных.  
На Чёрном море – полный штитель, штормит – на Белом...  
Шипит, шаманя, напатырь на звуке беглом.

Зампелый замок: щит и меч, Дракон и Лебедь.  
Венчальный вензель прячет речь на левой вербе.  
За правой – дверь. Проём кровав: кирпич-невольник.  
Который век Крылатый Граф на башне воет.

Сезам, откройся! Я – Адам, со мною – Ангел.  
Рождён бродить по городам по воле Ванги.  
Над Мёртвым морем – чёрный снег, туман – над Красным...  
Прочистит глотку печенег славянским гласным.

Старинный символ: город N. Рассвет рифлёный.  
Любить мадам устал студент, почти ребёнок.  
Певице – сорок. С небольшим?! Ему – семнадцать.  
– Последний раз, школяр, грешим. Поклон Сенатской!

Крещёный Демон. Мастер M? Музейный призрак.  
Изгой навязчивых поэм прощён и признан.  
Свечи огарок проживёт семьсот мгновений –  
Успеет выстрадать полёт Кавказский пленник.

Байкал, баюкая закат, разбудит Каспий...  
Взорвёт зубастый азиат английский casting.  
Фрахтует Ангела – фьюить! – рублёвый Рувельт.  
Останусь «Приму» докурить у Старой Руссы.

5. МОНОЛОГ ЛИРИЧЕСКОГО ГЕРОЯ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ЖЕНЩИНЕ,  
МЕЧТАВШЕЙ СТАТЬ КИНОЗВЕЗДОЙ

*синема: кинематика без математики*

*Ставрополь – Милан – Барселона, 1986 – 1996*

...это было давно. бзыковала зима.  
два рубля – на кино. эскимо – задарма.  
на экране – фата. Рим. двенадцатый час.  
фаэтон и фонтан... фильм, конечно, про нас!  
красота простоты. наготы чистота.  
та актриса – не ты. просто ты станешь та!

хипповал. дурковал. колобродил. чудил.  
и квадрат, и овал выжигал на груди.

теорема проста, как улыбка Ферма,  
как загадка Христа, как закат и зима,  
как восход и весна, теорема проста.



если ноет десна, сосчитаешь до ста  
и ситаешь с моста, как герой синема.  
теорема проста, как пустая сума...

Валаам волховал. валидолил Валдай.  
и квадратный овал, и хоральный раздразай.

если клетка тесна, есть хурма и сурьма,  
есть Дисней и Десна, и трюмо, как тюрьма.  
кинематика сна исказилась в метро,  
и чужая жена приблизилась хитро.  
это было вчера. зоревала весна.  
полночь. чёрт. кучера. опоздала она.

стрессовал. рифмовал. прилетал. уходил.  
Кольмы коленвал. Бухары бигуди.

это было давно. отзевала зима.  
на тебе – кимоно. на дому – синема.  
теорема – в тюрьме. Мельпомена – в трюмо.  
хризантема – в сурьме. Минино – за кормой.  
та актриса – не ты. простоты нищета.  
и чужие черты. и чужие уста.

быковал. блефовал. приплывал. уезжал.  
валенсийский овал и кавказский кинжал...

это было всегда. как кентавр *без кино*.  
на экране – звезда. красота, как вина.  
простота, как вино, у столпа и столба.  
итальянит кино. фаэтонит судьба.  
в режиссёрах – мастак, в сценаристах – мечта, –  
и на невских мостах, и на Тау-Кита.

## 6. РЕПАТРИАЦИЯ РЕИНКАРНАЦИИ

*сценарий как предчувствие*

*Ставрополь – Валенсия – Гранада, 2015, март – апрель*

*Андрею Звягинцеву*

...в позе почтения (совершеннейшего)  
он, пребывая в нижайшем поклоне,  
изображает шута сумасшедшего...  
я – наблюдатель (почти посторонний).  
а на балконе – предмет восхищения! –  
в позе джувлетты девчонка из *шукинки*.  
в кадре – блаженный дефект освещения:  
рыжий помреж по-довженковски щурится.  
в роли вещуньи – эффект аберрации? –  
зеленоглазая вера холодная.  
*репатриация реинкарнации* –  
трагикомедия старомодная.  
богу угодна я?! – фраза гражданочки –  
переоценка акцента сценария.

(песенка типа *конфетки-бараночки*  
анекдотична в устах... карбонария).  
ария странника (мистера твистера) –  
странная выходка старого вгиковца...  
первопричина финального выстрела:  
люди аукнутся – черти откликнутся!  
пасынки никсона, правнуки сталина,  
*стерео-квадро-лукавоещательки*,  
*фильма* продумана, смета представлена –  
съёмки на *пушке*, бродвее, крещатике...

заверещат однозные нытики:  
синематографа фантазмагории?  
много эротики! мало политики!  
глюки егория – как аллегории?!  
крестик – горе... (аффект озверения  
апологета фанфана тюльпанова).  
поза презрения? проза прозрения  
кинематографа левиафанова!  
фавнами – *фаны?* профаны, внимательней:  
нолики чудо творят в знаменателе.  
ну а в числителе (где вырезвители) –  
приободрённые критикой зрители...

самодержавные отображатели –  
*блогожелеатели-благотажатели*.

## 7. ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ НА КНИГЕ «ДОЖДЬ В ЯНВАРЕ» *Москва – Ставрополь, 2000, январь*

*Геннадию Н. Хазанову*

Пророки верещали: скоро скурвимся...  
«Сопьётесь», – обещали... Пальцем тыкали...  
А вот и не случилось! Фиг вам, умницы!  
Из ВГИКа – мы,  
из ВГИКа мы,  
из ВГИКа...

## 8. ОСВИСТАННЫЙ АЛЬТИСТ

*Москва – Ростов-на-Дону – Ставрополь – Киев, 1986 – 2016*

*Людмиле Квасовой*

– В среде дворян и... *футури*н синематограф – дуэлянт!  
– В стране рабочих и крестьян кинематограф – симулянт!..  
– Чеканны формулы кассандр: «Кино – дурдом!» – «Кино – детсад!»  
– Сценарий киснет в кабаках? – Данилов виснет в облаках.

Банкет. Дипломники. Альтист...  
Общага ВГИКа. Крыша. Твист!



- Кино – особый случай, брат: Марсель! Массовка. Маскарад...
- Герой в запое... «Стрижамент»... – Виновен Лёлик-ассистент?
- Кино – убойный препарат: осатаневший цензор рад
- Живую сцену понять... – Согнув трагедию в комедь!..

Бештау. Красный дельтаплан.  
Альтист – посланник *будетлян*...

- Кино – лукавый случай, брат: в провале автор виноват –
- Провинциальный сценарист, трансцендентальный пофигист!
- Хреново всё? – Виновен всяк харизматический босяк!
- Проект спасает режиссёр, орущий с гор: «Егор, мотор!»

Массандра? Сергиев посад?  
Чудит мосфильмовский десант...

- Привет, поэт! – Уже – сто зим... – Ещё сто лет... – Сообразим?!
- Кому продал студийный тролль тобой придуманную роль?..
- Артист – профан, Альтист – шаман... – И каждый третий – наркоман!
- В Сети бесчинствует пират... – Кино – несчастный случай, брат!..

Бесстыжий бес, беспечный враль  
Веницианит фестиваль...

- Над Лидо – стайки голубят... – Кому фанфары протрубят?
- Морзянка роз. Сюрпляс актрис. – Вторичен приз. Первичен твист!
- Кино – чудесный случай, брат! – Сестрёнка, фотоаппарат...
- Премьерный фильм – из-за кулис? – На бис! – «Освищенный Альтист»...

### 9. ЗОЛОТОЕ ОКНО (КИНО!) И НЕБО...

*Москва – Ставрополь – Хайфа, 1986 – 2016*

*Александрю Бизяку*

Золотое руно (вино!) и парус – без чёрных дыр.  
Ворожит Гомер – ворошит размер золотой клюкой.  
Во чужих мирах, на чужих пирах приуныл Кумир.  
Велемир мудрит, воскрешая ритм золотой строкой.

Грянет – опаньки! – Лель на облаке: «Ой, мороз, мороз...»  
Для чего тебе в золотой избе подьелдык такой?  
Через тыщу лет получи ответ на простой вопрос  
И похмельный стыд у родных ракич рифмой успокой.

Золотое кольцо (крыльцо!) и невод – без чёрных дыр.  
«Звёзды ярче! – судачит Старче. – Бог огня – Уренгой?»  
Наказуя вину, оглянись на Луну, кирасир:  
Прожигает зрочки войнушка злой монгольской иглой.

Аргонавт – Астронавту: «Горек аллегорий отвар?!» –  
«Траекторий обман и эпохи дурман золотой...»  
Боди-арт? По запарке каркни: «Буду рад – будуар!»  
Психиатр опечален: «В чакре чую зуд запятой...»



Золотое окно (кино!) и небо – без чёрных дыр!  
«Звёзды чётче? – рочечет Отче. – Зов Изольды святой».   
Карлик Белый пунктирит смело марсианский трактир:  
Астронавт, Космонавт и – третьим! – Аргонавт\* завитой...

---

*вариант: Исаак завитой*

# ИГОРЬ КАСЬЯНЕНКО

---

## ОБНАРУЖИТЬ СЕБЯ НА ЦВЕТКЕ

### ЛАБИРИНТ

Так часто бывает. В минуту триумфа,  
как лев одолев и врагов и преграды,  
я вдруг становлюсь бесконечно несчастным  
и думаю горько под крики «ура»,  
что лучше бы нынче я в доме у дамы  
(прекрасной, естественно) пел серенады.  
А дальше – объятия, вздохи, лобзанья,  
одежда опадание etcetera.

Но часто бывает и так, что в разгаре  
свидания, руку снимая с колена  
красавицы, я воспаряю душою  
от радостей плоти в иные края.  
И думаю: Ах, в это время я мог бы  
раскрашивать Божий набросок Вселенной,  
и гроздьями самые вкусные ноты  
и рифмы таскать из костра бытия.

Но вскоре измученный музами разум  
обратно зовёт меня в гущу событий,  
туда, где гуляют прекрасные дамы,  
и запах победы витает хмельной.  
Я спутник без рации. Я существую,  
кружа по иррациональной орбите,  
устроенной так, что в любой её точке  
я к жизни повёрнут не той стороной.

И есть подозрение, что по задумке  
Создателя, во времена параллельных  
и разных я должен был одновременно  
жить множество жизней, как будто одну.  
Иначе откуда бы знал я про вечность?  
О чём тосковал бы в скитаньях бесцельных?  
Куда бы на крыльях летал сновидений,  
в какую реальность, в какую страну?



Я верю – тот замысел был безупречен.  
 И знаю, что розу и солнце в зените,  
 и жемчуг морской Бог придумал на небе  
 и там же, на небе, да, именно там,  
 в расчёты фатальная вкралась ошибка,  
 и жизней моих параллельные нити  
 смешались в клубок, в лабиринт и похоже,  
 что время – Тезей в нём. А я – Минотавр.

### ЧИСТЫЙ СВЕТ

Собираю себя по крупичам и крохам,  
 со слезой собираю, с улыбкой и вздохом,  
 по квартирам чужим, городам и эпохам,  
 с облаков и со дна.  
 Собираю из дат и осколков событий,  
 из обрывков когда-то связующих нитей,  
 собираю и делаю тыщи открытий,  
 суть которых одна:

Буря в море иная, чем шторм на причале –  
 роза радости, милая сердцу вначале,  
 через время колола шпиками печали  
 и, напротив, беда  
 становилась ключом для решенья задачи,  
 первым шагом к затерянной в буднях удаче  
 и выходит, что в прошлом всё было иначе,  
 чем казалось тогда.

Речи гладкие острыми ранят краями.  
 Предававшие лишь назывались друзьями.  
 Та, что в душу сумела прорваться с боями  
 и с победой ушла, –  
 не любила, а пьяной пошла отравой.  
 Путь познания кончился истиной ржавой.  
 И отчизна была не цветущей державой,  
 а империей зла.

К размышлениям вывод как меч нужен к ножнам.  
 Если скажут: Мораль, автор, вынь да положи нам! –  
 Я отвечу, что песенка эта о ложном  
 настоящем, и мы  
 завтра снова узнаем, что жили с ошибкой;  
 пескаря с золотой перепутали рыбкой,  
 ибо чистого света в реальности зыбкой  
 нет. Как, впрочем, и тьмы.

### PIEDETPEDALE

На плечи давит атмосферный столб.  
 На 99 давит 100.  
 Всем весом давит бабочка на глыбу.  
 Шут королю нахально давит лыбу.



На грушу давит соковыжималка.  
Все давят всех и никому не жалко....

Так думал горько  
о несовершенстве мира  
поэт, сидящий в кресле пассажира.  
И грустного какого-то напева  
к нему лепился ритм.

И вниз

и влево  
рассеянно скользил поэта взор.  
И вдруг поэт увидел там узор!  
Рисунок на колготках, ибо зритель  
он стал того, как девушка-водитель  
красивой ножкой давит на педаль.  
Но не педали стихотворцу было жаль.  
И не красавицы его пленила внешность.  
Он думал о другом. О том, что нежность  
и грубость, лёд и пламень, смех и слёзы,  
зло и добро, реалии и грёзы,  
поэзия и проза и так дале –  
всё это, вплоть до ножки и педали –  
две разных стороны одной медали.

А значит бытие в гармонии с собой  
и можно, наконец, тревогам дать отбой.  
Мир совершенен. Ну и слава богу, –  
подумал бард и взгляд направил на дорогу.

### О ДОБРЕ И ЗЛЕ

По стёжке-дорожке с нетяжкой ношей  
идут себе двое: плохой и хороший.  
И каждую мошку допросят с пристрастьем:  
Там счастья не видно? А то мы за счастьем...

Минуя сражения, торжища, пашни,  
клыкастые рвы и глазастые башни,  
не видя нигде своего интереса,  
идут мужики. Вдруг навстречу из леса

под странный мотивчик из трелей и лая  
выходят к ним добрая баба и злая.  
Вы кто? – мужики им кричат, горячась те,  
а бабоньки: Здравствуйте! Мы ваше счастье...

Куда и девалась дороги усталость!  
Под утро хорошему злая досталась,  
а добрая баба, на жалость легка,  
в кормильцы плохого взяла мужика.



И детки родились у них посере́дке –  
не то, чтобы злы и не так, чтобы кротки,  
не чужды добра, не свободны от худа  
и дури в избытке, и столько же чуда...

И вот уж, делясь хлебом, флягой и грошем,  
за счастьем идут не плохой с не хорошим.  
Навстречу две бабы не злых и не добрых –  
так мир замыкается в круге подобных.

И с каждой их новой взаимной добычей  
меж прежде различным всё меньше различий.  
Похоже, что скоро, как лица в ночи, мы  
для зла и добра станем неразличимы.

И голый свой стыд не узнает в одетом,  
и след от зубов зарастёт на плоде том,  
на зло и добро разделившем нас целых,  
в доньне неясных неведомых целях.

И два существа из библейской быliny –  
одно из ребра, а другое из глины, –  
забыв в одночасье вражду и участие,  
опять обретут абсолютное счастье.

#### АРИТМИСТИКА

Женщина с красивым, но неприятным лицом  
называет меня подлецом.  
Взоров её молнии даже злей, чем слова.  
И она, похоже, права.

Остров, где прервался путь моего корабля,  
как петля вторит форме нуля.  
Правит здесь колдунья – удачи дочь и беды.  
И у нас, увы, нелады.

Бравые соратники отмечают в хлеву  
исполнение грёз наяву.  
Каждый вслед хозяйкиной ласке выдохнул: «Хрю!»  
Только я не то говорю.

Чары колдовские, видать, на мне дали сбой.  
После ночи с ней пьян был лобой:  
жрец, купец и воин – хрюкнули все в том хмелю,  
а я вдруг сказал ей: Люблю...

Варвар! – истерит хозяйка, – неужто я зря  
ублажала тебя как царя!?  
Будь мужчиной! Хрюкни, наконец! Ты же со мной  
и счастливый был, и хмельной.



Нам тут неведомо слово «люблю» – у нас тут  
нравы предков и речь их блюдут:  
встретившим на ложе взаимной страсти зарю  
говорить положено: «Хрю!»...

Женщина с растерянным и печальным лицом  
смотрит с пирса на лодку с гребцом.  
Остров её тает у беглеца за спиной,  
и волна играет с волной...

### ДЕНЬ БАБОЧКИ

Обнаружить себя  
на цветке – васильке или маке.

Баттерфляем проплыть  
по росе, чмокнуть божью коровку.

Отразиться в реке,  
где во мраке скрываются раки.

И с козой-стрекозой  
к муравьям заглянуть на тусовку.

На цветущем лугу  
от сачка увернуться и клюва.

Под оркестры цикад  
научится порхать балериной.

Глянуть как там дела,  
где растут земляника и клюква.

Танцевать па-де-де  
над лесною тропинкой звериной.

Оказаться на миг  
на балу, где вальсируют пары.

В горло вшиться тому,  
кто как чёрная птица во фраке.

И в глазах светлячка  
прочитав, что развеялись чары,

исчезая, уснуть  
на цветке – васильке или маке...



P.S.

Оттого, что мы больше не будет в начале,  
сколько вспать не мотай,  
ибо днями там нынче печаль, а ночами –  
пустота, немота,

оттого, что твои поцелуи по вкусу,  
как живая вода,  
но дорога, лежащая прямо по курсу,  
не ведёт никуда,

оттого, что грядущее мчится по встречной  
полосе мимо нас,  
и любовь наша вечная может быть вечной  
только здесь и сейчас,

оттого, что, любимая, в запахе кожи  
я купаюсь твоём,  
и когда мы сливаемся – это похоже  
на съеденье живьём,

оттого, что мы наглухо замкнуты в круге  
невозможных помех,  
мы однажды с тобой растворимся друг в друге  
и исчезнем для всех...

А на утро – о, да! – а иначе тоска же,  
к удивленью коллег,  
Шерлок Холмс позвонит Пинкертону и скажет:  
Идеальный побег.

# ЮРИЙ ГЕЛЬМАН

---

## ПОДАРОК АНГЕЛА

### рассказ

- Почему вы так на меня смотрите?
- Как «так»?
- Я бы сказал, с пристальной неприязнью.
- Забавное сочетание. Но если бы я испытывал к вам неприязнь, вряд ли бы вернулся.
- Но не распить же бутылку коньяка вы мне собираетесь предложить.
- А это мысль! Что ж, идёмте. Будем считать, что с моей стороны прозвучало это предложение.

\*\*\*

С трудом просачиваясь сквозь нагромождение неласковых облаков, закатное солнце, растопырив бронзовые пальцы, цеплялось за горизонт. Вечернее море неторопливо остывало, темнело и успокаивалось, колыбеля на своей материнской груди невзрачные игрушки кораблей. Неравномерным пунктиром они старательно выстраивались вдоль широкой полосы, ведущей в порт и обозначенной красными и зелёными огоньками плавучих маяков. Каждый вечер, когда на воду опускался сумрак, эти морские светляки одновременно, как по команде, просыпались, оживали и ритмично подмигивали гостям: милости просим, мол, давно ждём. Сухогрузы, танкеры, контейнеровозы и ролкеры со всех портов не только Европы, но, верилось, вообще отовсюду – вальяжно занимали очередь: наверное, самую утомительную очередь в мире. Так, во всяком случае, выглядело с берега.

Уже третью неделю подряд я приходил сюда. Опускался на камень – казалось, он узнавал и поджидал меня, тёплый, гладко вылизанный временем – и наблюдал, как солнце с очевидной настойчивостью сползает в море. Особенно привлекало и возбуждало мгновение соприкосновения раскалённого шара с водой, слияния двух стихий в страстном, неизбежном поцелуе. В такое мгновение верилось, что возможны ещё чудеса...

И действительно, в этот пронзительный миг само собою менялось всё: и освещённость чешуйчатой поверхности воды, перетекающая в зыбкие, неласковые тона, и насыщенная глубина осиротевшего неба, разочарованно тускнеющего от расставания с солнцем, и клубящаяся гряда выстеленных над горизонтом облаков, только теперь приобретающих чёткие золотистые контуры – роскошные, бальные. Как фигуристые дамы на танцполе, они теснились вокруг затухающего светила, будто примеряя в эти минуты свой новый вечерний наряд, будто хвастая друг перед другом: а вот у меня какой сегодня! Возможно, потом, в крошечной темноте, влекомые ночным бризом, они, эти облака, помчатся далеко на запад – уже другие, порывистые и злобные – чтобы там, собравшись в полчища, в безжалостные орды, обрушить на океан свою необузданную мощь, в ключья разорвать всё, что окажется в эти роковые часы и минуты на поверхности Бискайского залива.

Каждый вечер на моих глазах, давно уставших от суетливых серых лабиринтов каменного города другой страны, от убогой тесноты и пыльности маршрутных такси, от прохожих с приземистыми, потухшими лицами, от ограниченного несколькими десятками дюймов окна монитора, в конце концов, – происходила эта удивительная по красоте фантазмагория. И я уже начинал понимать, что хотя бы для этого... Нет, в том числе, для этого – я, наконец-то, приехал сюда. Свершилось!

Здесь, на мало ухоженном, полудиком жёлто-зелёном берегу Средиземного моря, в маленьком продуваемом городке, робко прилепившемся к воспарившей над окрестностями Хайфе, решил я провести



остаток своей жизни. Во многом бездарно растроченной на пустяки – так стало казаться теперь. Впрочем, разве мне это решать: на что растроченной? Скажется и отзовется потом, позже – не хочется думать, когда...

... Долгими июльскими вечерами было тридцать. Спасибо Цельсию, придумавшему свою температурную шкалу, не то бы пришлось употреблять тяжеловесные восемьдесят шесть по Фаренгейту!

Я приходил на берег – в старых вылинявших шортах и истончавшей от времени футболке – садился на один из ноздреватых жёлтых валунов, кое-как пригнанных когда-то первыми поселенцами друг к другу вдоль линии пляжа, и просто смотрел на закат. На открытую, грандиозную галерейную панораму, картину без рамы и паспарту. Где-то далеко за моей спиной, освещённая слезливыми фонарями, осталась выложенная шершавой цветной плиткой пешеходная дорожка, приближённо повторявшая контуры берега. Вечерами по ней, неторопливо шаркая ногами, прогуливались говорливые старики, пары с детскими колясками, а иногда, шумно вдыхая густой воздух, сноровисто лавировали между ними со спортивной скоростью и искажёнными, потными и сосредоточенными лицами те, кто ещё надеялся догнать стремительно убегающую молодость.

Там, вдоль этой дорожки, то и дело попадались пальмы – высокие, монолитные, со срезанными в своё время ветвями, от чего сухие тёмно-серые стволы давно напоминали то ли обструганный столб шаурмы в каком-нибудь дымном прибрежном кафе, то ли слоновьи ноги, покрытые толстой, глубоко прорезанной морщинами кожей. Высоко над головами прохожих десять-двенадцать оставленных раскидистых веток шепелявили саблеподобной, пружинистой листвой.

А здесь, у меня... Вот так сказал – у меня... Да, этот клочок берега с мелким светло-бежевым песком, с колючим кустиком неизвестного мне растения, смело пробившимся между камней и каждым игольчатым листочком жадно хватавшим воздух, с грациозной, как юная балерина, ящерицей, непуганой и любопытной, уместившейся бы у меня на среднем пальце, с плотным солёным ветром, несущим с собой тайные запахи неизведанных морских глубин – это был уже мой мир, мой возжеланный рай, и – если угодно – мой новый кабинет, где не было теперь ни компьютера, ни листка бумаги под рукой, но где ко мне приходили замыслы... Должны были приходиться... Я надеялся...

\*\*\*

Это только кажется, что все волны одинаковы. Шипя и пенясь, подгоняя друг друга, они с удивительным постоянством и кажущимся однообразием накатываются на гладкий песчаный берег, страстно слюнявя его, вылизывая до неприличия, приводя его в стыдливую зависимость от силы прилива, вечного, как сама Вселенная. Но на самом-то деле волны разные, самые разные. Каждая несёт в себе неповторимый заряд энергии, стремясь, во что бы то ни стало, бескорыстно расстаться с ним, отдать, подарить его берегу и при этом торопливо рассказать собственную историю.

И берег покорно слушает эти истории, с терпеливой благодарностью впитывает их в себя, а иногда – в самом крайнем случае – делится ими с тем, кто тихим летним вечером приходит к самой кромке воды, чтобы послушать, как разговаривает море.

Но иногда море молчит. Оно будто выдохлось, силы его иссякли, а недра опустошены. Нет энергии в нём, нет извечного непокорного буйства. И в эти минуты и часы, глядя на безжизненную маслянистую гладь, хочется вынуть из сердца печаль и жалеть море, и сострадать ему, и с тайной надеждой грустить вместе с ним.

... Она появилась неожиданно и ниоткуда. Просто возникла перед моими глазами – светлая фигура на фоне бронзово сгущавшихся сумерек. В невесомом воздушном белом платье чуть ниже колен, которое то и дело взметалось выше, открывая прелестную линию ног – юных и упругих. Она даже не поправляла его, будто не замечая шаловливых заигрываний ветра.

На вид девушке было лет семнадцать. Тёмные, коротко остриженные волосы. Полуобнаженная спина. Незагорелые руки, занятые какими-то предметами. Поначалу я даже не понял, что это она принесла с собой.

Уже не хотелось смотреть на море, на закат. Что-то новое, совсем необычное вдруг появилось передо мной впервые за полтора десятка похожих друг на друга вечеров. Что-то инородное вторглось в угол зрения, нарушило безупречную линию пустынного пляжа. И я принялся с любопытством наблюдать.

А девушка между тем, не обращая внимания на меня, будто вовсе не замечая, принялась устанавливать на песке – теперь я увидел – коленчатую треногу, подобную той, что используют фотографы для съёмки с большой выдержкой. Ага, подумал я, для какой-нибудь выставки собирается снимать красивый закат на море. Что ж, у неё неплохой вкус. Потом можно будет даже познакомиться, поболтать. Пусть сделает



только своё дело. Я хорошо понимал: не стоит отвлекать фотохудожника, натура ведь не ждёт, уходит так стремительно...

Каково же было моё удивление, когда вместо ожидаемого фотоаппарата девушка стала прилаживать к треноге фанерную пластину с прикрепленным к ней белым листом бумаги размером со школьный альбом для рисования. И примитивная устойчивая конструкция в моём понимании сразу приобрела более звучное и благородное название – мольберт. И тут же другое чувство сменило во мне простой интерес. Рисовать? Сейчас – когда вот-вот стемнеет? Это было что-то странное. И необычное. И удивительное. И загадочное.

А девушка тем временем действительно достала из кармана платья карандаш, занесла руку над чистым листом и замерла. Этот неподвижный этюд длился всего несколько секунд, но вызвал во мне целую гамму неподдельных эмоций. Да её саму можно было тайком сфотографировать в этой непринужденной позе! И на выставку «Портреты нашего времени» отослать. Впрочем, увидеть такое в наше время... Не то, что редкость. Нонсенс почти...

Солнце уже наполовину утонуло в воде. Медно-горячее зарево расплалось над морем. Слева от тёмно-синего залива гору Кармель весело забрызгали первые огоньки. Я затаился на своём валуне, в десяти шагах позади странной девушки, боясь пошевелиться, боясь спугнуть вечернего живописца.

И вдруг рука её начала плавно порхать над бумагой. В какой-то момент мне показалось даже, что не карандаш зажат между пальцев, а дирижёрская палочка. И не картину пишет странная незнакомка, а управляет фантастическим оркестром из ветра, моря и облаков, исполняющим неповторимую уже никогда, единственную в своём роде вечернюю симфонию. И я будто слышал эту музыку, я будто сливался с ней и, казалось, удивительным образом понимал её.

Так продолжалось, примерно, четверть часа. Может, больше. Увлечённый увиденным я не замечал времени. Сумерки сгустились. Мне уже не удавалось разглядеть ни полупрофиль юного лица, ни руку с карандашом. Только светлое пятно на фоне стремительно темнеющего неба оставалось передо мной. Такое беззащитное и хрупкое, но вместе с тем – недосыгаемое, как звёздная туманность.

Теперь определённо мне нужно было как-то с осторожностью проявить себя, чтобы не спугнуть её, чтобы помочь девушке в темноте сложить вещи и выбраться с почерневшего пляжа на дорожку. А потом, если повезёт, проводить её, куда согласится – до автобусной остановки, до дома. Хотя бы до ближайшего угла...

Но меня опередили. Пока я размышлял и грезил о перспективах, из темноты вынырнул высокий крепкий мужчина. Он приблизился к юной художнице, вместе они собрали реквизит, и через минуту, по-прежнему не замечая меня, обе фигуры молча прошли мимо. К автобусу? К ближайшему перекрёстку? К дому? Я только повернул голову – вслед своему разочарованию.

Вот так всегда! Это подумалось. Или ядовито просочилось вслух – не помню. Потом я пожал плечами, пронично хмыкнул сам себе и собрался уже покидать место своего вечернего дозора. И вдруг мужская фигура появилась снова. На этот раз она возникла в каком-то шаге от меня. Я вздрогнул, и по телу побежали мурашки. Как-то вовсе не хотелось конфликтов.

Мужчина в белых шортах и тёмной, растворившейся в сумраке футболке молча застыл рядом, внимательно всматриваясь в моё лицо. Через несколько секунд я понял, что в незнакомце против меня всё же нет агрессии. И тогда я заговорил.

– Почему вы так на меня смотрите?

– Как «так»?

– Я бы сказал, с пристальной неприязнью.

– Забавное сочетание. Но если бы я испытывал к вам неприязнь, вряд ли бы вернулся.

– Но не распить же бутылку коньяка вы мне собираетесь предложить.

– А это мысль! Что ж, идемте. Будем считать, что с моей стороны прозвучало это предложение.

\*\*\*

– Это случилось шесть лет назад. Жена с дочерью ехали на экскурсию. У меня, как всегда, было много работы, и я отправил их одних. Не знаю, сумел ли бы я что-то сделать в той ситуации... Если бы был с ними... – Хаим плеснул в бокалы жгучей солнечной влаги, потом, поджав губы, посмотрел на меня. – За неё...

Мы выпили. Я ни о чём не спрашивал. Хозяин рассказывал всё сам, без понуканий и наводящих вопросов. Я понимал, что у него давно назрела необходимость выговориться.



Заручившись согласием, он привёз меня к себе домой, в светлый двухэтажный особняк, окруженный кипарисовой зеленью. Это был элитный район городка, здесь квартиры не сдавались в аренду новым репатриантам, здесь жили довольно состоятельные люди. Наверное, у каждого был свой бизнес или, по крайней мере, очень престижная, хорошо оплачиваемая работа. Хаим, например, когда мы знакомились, представился директором мебельной фабрики. Он приехал в Израиль подростком и прожил здесь уже четверть века, сохранив при этом хороший русский язык.

Я сидел на переднем пассажирском кресле его «Рено», постоянно чувствуя затылком пронизывающий взгляд сзади. Всю дорогу мне казалось, что вечерняя художница сверлит меня глазами. Потом, уже в доме, когда девушка стремительно прошмыгнула в свою комнату и скрылась за светло-зелёной с диковинными цветами шёлковой шторой, служившей вместо двери, и её отец кое-что успел рассказать, я понял, что в машине никакого взгляда не было, просто не могло быть. Это всё моё воображение, мой внутренний маятник сам создавал отклонения в ту или иную сторону. Я знал за собой: так бывало. Иногда...

– Террористам не нужно было много стрелять, – тихо продолжил Хаим. – Достаточно было убить водителя. Автобус упал с дороги сам и два раза перевернулся. Они выбрали хорошее место: там насыпь в несколько метров высотой. Из сорока двух пассажиров осталось в живых всего двадцать шесть. Нелепая смерть в одно мгновение разделала моих девочек навсегда. Мне потом рассказал один из спасателей, что Лиора лежала на дочери, придавив её всем своим весом. Девочке было всего одиннадцать, она не могла выбраться самостоятельно. Их достали из покореженного автобуса только через полчаса. Далья вся была залита кровью. Кровью матери...

– Послушайте, Хаим, я прошу вас... Я вижу, что годы не притушили остроты ваших воспоминаний. Давайте не будем об этом... Вам тяжело рассказывать.

– Да, нелегко. Но мне почему-то кажется, что я должен рассказать свою историю именно вам. Прошу вас, выслушайте всё до конца.

– Воля ваша, – согласился я. – Гости, как правило, не диктуют условий.

– Спасибо.

Мы выпили ещё по чуть-чуть. Помолчали. Я смотрел на молодого, крепкого мужчину с ранними рючьями седины в густых чёрных волосах, и в моей голове как-то сам собой стал выстраиваться сюжет нового рассказа. С этого момента я уже мог придумать несколько продолжений, но всё равно с внутренним трепетом ждал единственно верного, написанного самой жизнью.

– Я не сразу заметил, что Далья перестала говорить. Первые несколько дней – это сам по себе ужас трагедии, похороны, наехавшие отовсюду родственники. Было понятно, что девочка просто сильно потрясена и ни с кем не хочет общаться. Но когда прошли эти тяжёлые дни, когда мы остались вдвоём, когда впервые ощутили себя живущими в доме, где недавно с нами была мама, где будто ещё звучал её голос... Знаете, я заметил, что она перестала смотреть в глаза. Люди ведь смотрят друг на друга, когда общаются. Вот мы с вами, например.

– Смотреть собеседнику в глаза – это признак внимания и уважения, – согласился я.

– В нашем случае это было что-то другое. Она слушала меня, выполняла просьбы или поручения, но перестала смотреть в глаза. Её взгляд постоянно был устремлен мимо меня, в какую-то неизвестную даль. Или глубину. Может быть, после того кошмара, который девочке пришлось пережить, она стала видеть вокруг что-то иное, не совсем то, что видим мы с вами...

– Она видела смерть. Она столкнулась с ней лицом к лицу, – осмелился вставить я.

– Да, вы правы. Далеко не каждому в жизни выпадают подобные испытания. А она была ребёнком...

– В те страшные минуты она стала взрослой. И ещё... Возможно, она превратилась...

– Что вы хотели сказать?

– Нет, ничего, – смутился я. – Нелепые мысли...

– И всё же...

– Вы можете воспринять сказанное, как игру художественного воображения. Но я хотел сказать, что ваша дочь в те минуты могла стать... ангелом...

На удивление, Хаим отнёсся к моим словам вполне серьезно. Даже тень усмешки не исказила его лицо. Мне показалось, что я случайно выразил сейчас то, о чём этот мужчина думал очень долгое время, но что сам не мог до конца понять и для себя сформулировать.

– И вы обратились к врачам? – поспешил я перевести разговор в другое русло. – Здесь ведь прекрасная медицина.

– Вы полагаете, что я должен был это сделать? Понимаете, я посчитал, что любое медицинское вмеша-



тельство – медикаментозное ли, психологическое – это новый стресс для ребёнка. Если господь распорядился именно таким образом, то человек не вправе вмешиваться в высший замысел. Вы меня осуждаете?

– Нет. Я, с вашего позволения, тоже фаталист.

– Мне почему-то верилось, что я найду в вас поддержку. Ещё там, на берегу...

– Каким образом? – удивился я. – Вы с дочерью прошли мимо, даже не взглянув в мою сторону.

– Вам показалось. Я ведь всегда за ней наблюдаю, чтобы не случилось чего-нибудь непредвиденного.

Привожу и остаюсь где-нибудь неподалёку. Вот и сегодня тоже. И вас, сидящим на камне, приметил задолго до того, как стемнело. Она всегда выбирает это место, и обычно в такое время там рядом никого не бывает. А сегодня оказались вы.

– Признаюсь, я был очень удивлён, когда увидел, чем ваша дочь собирается заниматься практически в темноте.

– А ей для этого не нужен свет.

– Как же так?

– Я объясню. И, если Далья разрешит, покажу вам её работы.

– У неё их много?

– Нет, не больше двух десятков. Время от времени она проявляет интерес к рисованию на вечернем берегу, и я вывожу её туда. Это началось года два назад. Она повзрослела, из подростка превратилась в девушку. И у неё появились новые желания и новые ощущения. Вы меня понимаете?

– Стараюсь, – смущённо ответил я.

– Она много читает, охотно смотрит разные фильмы, она учится жизни. Она развивается не хуже других.

– А школа? Сверстники? Социальная адаптация...

– Этого у нас, к сожалению, нет. После той трагедии Далья очень скоро стала отличаться от своих одноклассников. Вы понимаете, почему. И я забрал её из школы. Мне настойчиво предлагали определить дочь в специальное учебное заведение, присылали каких-то инспекторов, но я отказался. Это та же медицина, это то же вмешательство в личную жизнь. Надеюсь, вы не станете сомневаться, что у Дальи есть личная жизнь?

– В смысле жизнь личности?

– Именно.

– Нет, я в этом не сомневаюсь. После замечательного фильма «Человек дождя» – помните такой? – в этом вообще мало кто сомневается. А разбираться в личностях, уметь видеть их в каждом человеке – это, с вашего позволения, часть моей профессии.

– То есть вы...

– То есть я – писатель. С помощью прозы «копаюсь» в чужих душах, с помощью поэзии пытаюсь выразить свою. Иногда это удаётся...

– Я сразу почувствовал, что вы – не обычный человек!

– Самый обычный, – поспешил возразить я. – Две руки, две ноги...

– Нет-нет, в вашем взгляде есть что-то...

– Что?

– Глубокая созерцательность, что ли, – поразмыслив, ответил Хаим. – И ещё – какое-то пронзительное сострадание. Так мне кажется...

– Это просто хороший у вас коньяк, – смущённо пошутил я.

– Нет, я редко ошибаюсь в людях. И я даже знаю, что если попрошу что-нибудь прочитать из стихов, вы мне не откажете.

– Теперь точно не откажу, – ответил я, ощущая в себе всё большее расположение к этому человеку. – Но я ведь не декламатор, не чтец. Я не учу свои стихи специально наизусть. Сейчас, что-то вспомню...

*По лезвию бритвы –*

*грудью и брюхам –*

*до ссадин, до диких ран –*

*ползу по жизни...*

*А жизнь – разруха,*

*и в тумане прячется Храм:*

*мой,*

*единственный,*



*последний и первый –  
тот, где найду приют,  
где мои успокоят нервы  
и раны любовью зашьют.*

– «И раны любовью зашьют» – повторил за мной Хаим. Потом добавил с глубоким вздохом: – Если бы это было возможно...

– Я бы и сам хотел, – добавил я, заметив, как едва всколыхнулась невесомая штора в дверном проёме. – У каждого своя история...

– Да, это так, – согласился хозяин дома и разлил по бокалам ещё понемногу коньяка. – Теперь давайте выпьем просто за знакомство.

– Не скрою, мне приятно общаться с вами, – ответил я.

– Итак, на чём мы остановились? Да, так вот о рисунках: моя дочь не рисует пейзажи, как вы могли сначала подумать. Она рисует эмоции. Это совершенно необычная живопись, и на первый взгляд может показаться, по крайней мере, абсурдной. Но если вдуматься, это далеко не так. Если всмотреться... Я спрошу у неё, можно ли вам показать.

С этими словами Хаим поднялся и, подойдя к комнате дочери, деликатно постучал костяшками пальцев по стене. Признаюсь, я не услышал даже шороха в ответ, но отец каким-то одному ему известным чутьём, понял, что разрешение получено. На несколько минут он скрылся за шторой. А я, наконец, получил возможность осмотреться.

И первое, что бросилось в глаза, был фотопортрет женщины, висевший на стене. С открытым, благородным лицом, с глазами, полными таинственной страсти, с тёмными распущенными волосами, в грациозном полубороте к зрителю – она была очень красива, она была роскошна. И я долго, возможно, неприлично долго не мог отвести взгляд.

– Далея очень похожа на мать, – услышал я рядом. – Только волосы нам пришлось подстричь. В силу разных причин, мы не умеем за ними ухаживать...

Я повернулся к Хаиму. Он уже присел к столу, держа в руках тонкую синюю папку. Современные все с холодными металлическими зажимами делают, а эта была устаревшей, картонной с белыми верёвочными завязками, от которых исходило тепло человеческих рук.

– Вот всё наше богатство, – сказал отец юной художницы. – Посмотрите. И чтобы вы не испытывали неловкости, я хочу сказать, что вовсе не настаиваю на ваших последующих комментариях.

Я взглянул на него и, кажется, понял, что он имел в виду...

\*\*\*

– Не беспокойтесь, я отвезу вас. Где вы живёте?

– Но вы же выпили, и за руль...

– От такого количества коньяка я давно уже не пьянею, – ответил Хаим. – К тому же городок у нас небольшой, а дороги в нём очень приличные и хорошо освещены. Вам не следует бояться.

– Не стоит утруждать себя, – сказал я, испытывая некоторое сомнение. – Надеюсь, я прекрасно дойду пешком.

– Нет-нет, если уж я вас сюда затащил, то отвезу домой непременно.

Я смотрел в улыбочивое лицо Хаима и понимал, что каким-то чудесным образом в этот вечер поднял ему настроение, своим случайным присутствием в доме поправил что-то в его душе. Так мне казалось. Так хотелось...

А из головы не шли невероятные рисунки юной художницы. Куски бумаги с нанесенными на них в беспорядке карандашными линиями. Их могло быть десять, пятнадцать, их могло быть несколько десятков, а на другом рисунке всего две или три. То они шли в одном направлении, с нажимом перебегая от одного края листа к другому, то неожиданно сворачивали и пересекались загадочным образом. В моём далёком детстве такое творчество называлось «каляки-маляки». Но Хаим заранее избавил меня от комментариев...

Вот только подписи к рисункам, сделанные рукой автора, меняли всё. Переворачивали всё. И заставляли молчать...

«Жизнь» – читал я. – «Гнев». «Радость». «Боль». «Смятение». «Одиночество».

«Господи! – подумал я. – Что творится в душе этой бедной девочки!»



Мы поднялись и направились к двери.

– Спасибо вам, – сказал я, обводя глазами гостиную. – У меня давно не было такого приятного вечера.

– Это вам спасибо, что согласились провести его с нами.

Хаим отпер дверь, и в этот момент позади нас взметнулся цветастый шёлк. Мы оглянулись. Далья неторопливо приближалась к нам. Её взгляд был устремлен мимо. В протянутой руке она держала точно такую же папку с завязанными на бантик тесемками.

– Что? – спросил отец, пристально изучая одухотворенное лицо дочери. Потом, через несколько секунд, повернулся ко мне. – Она хочет вам подарить одну из своих работ. Какую-то особенную.

– Мне? Но почему?

– Наверное, вы ей понравились. Не отказывайтесь, прошу вас.

– После того, что вы мне рассказали, я и не смею отказываться.

Я принял из рук девушки папку и хотел что-то добавить, заглянув в скорбную глубину её устремлённых мимо меня глаз, но Далья тут же повернулась и через мгновение скрылась в своей комнате.

– Она хочет, чтобы вы посмотрели уже у себя дома, не сейчас, – тихо сказал Хаим, провожая дочь взглядом.

«Как вы это поняли?» – хотел спросить я, но осёкся.

\*\*\*

Я исполнил просьбу девушки и раскрыл папку с рисунком дома. И сразу понял, что её подарок – это действительно что-то особенное, не похожее на другие работы. В руках у меня был абсолютно чистый лист, не тронутый ни одной карандашной линией. И только маленькая подпись аккуратным девичьим почерком в уголке всё расставляла на свои места. На рисунке было то, что способно как разрушать, так и созидать, что способно порой унизить до преисподней, но и возвысить человека до космической недосягаемости. Это было то, чем обычно зашивают душевные раны. И это поистине был подарок настоящего ангела.

\*\*\*

Ветер свистел в каждой расщелине, в изломе каждой травинки, гнал мелкий, серо-серебристый песок – как позёмку в жёсткой январской степи. Я стоял на берегу и смотрел, как ирривая кофейная пенка то и дело взбивается на гребнях волн. Они катились и катились, становясь всё более смирными прямо на глазах, и приближались к моим ногам уже другими – спокойными и разговорчивыми. Я стоял и думал о том, сколько ещё историй может мне рассказать каждая из них...

# ЕЛЕНА ЧЕРТКОВА

## КОРОЛЕВСКИЙ ПОСТАВЩИК

### рассказ

*Al que madruga, Dios le ayuda.  
Кто рано встает, тому Бог даёт.*

Старший Саррия просыпался рано. Как только небо обозначалось бледно-оливковым квадратом в окне, он нашаривал под кроватью тяжёлые высокие ботинки и шёл на кухню. Как всегда, выпивал свою кружку кофе, привычно приносясь к бодрящему его аромату, съедал несколько аперас – кукурузных лепешек, протягивал руку к *sombbrero* и выходил из дома. К тому времени небо свежело от только что разрезанного арбуза – рассвета; спуститься с холма да подняться на другой – вот и его *cafetal*.

Как и многие крестьяне в Колумбии, Саррия «сидел на кофейном дереве» – так это здесь называется, когда разводят кофе и живут на доходы с плантации. Дело нелёгкое и хлопотное; зерна сначала сажают в сырой песок, а потом ростки переносят в пластиковые мешки с хорошо удобренной почвой, и только по прошествии четырёх месяцев саженцы готовы к высадке в землю. Теперь знай – ухаживай да жди урожая; первые редкие зёрна нальются только через два года (плод называется «вишня» и содержит два зерна), а через пять лет войдут деревья в зрелую силу. Каждое из них живёт восемьдесят лет, а плодоносит только первые 25-30, так что нанячишься с посадками. Но зато: «*El que nada debe, nada teme*» («Кто никому не должен, тому бояться нечего»). Саррия сроду ни от кого не зависел; его *cafetal* кормит немалую семью, и на прожитие хватает. Пусть старость не за горами; но вот уже и первому внуку четырнадцать минуло, вырос помощник хоть куда!

Но была, была у Саррии морщина меж бровей; большая его докука. *Guerilleros* (*партизаны*) то и дело просили если не продуктов, то единственный грузовичок одолжить. Им-то что; вооружённые, и то от солдат в сельву прячутся, а тут сиди на виду с большой семьей и береги её, как знаешь... Случись что, и не спасись. Или власть накажет за помощь партизанам, или партизаны отомстят за сотрудничество с властями. Недаром старики говорят: «*Quen siembra vientos, recoge tempestades*» («Кто сеет ветер, пожнёт бурю»). Потому взял Саррия жену и детей, и увёз от греха подальше. И всё-таки: не бросать же было нажитое добро без присмотра? Вот и решил он оставить *finca* (*крестьянскую усадьбу*) на старшую дочь и внука: авось не причинят зла беспомощной женщине с мальчишкой? Ой, как он ошибся... И дочь, и внука расстреляли.

Не спрашивайте – каким образом; а только добралось семейство Саррия до Швеции (видно, были у рачительного хозяина деньги под матрасом). Ну, а в Швеции беженцам поддержка полагается, так что прожить можно.

Да только не таков был молодой Саррия – Эбер! «Вот ещё! Буду я на дармовщинку подъедаться, – сказал, – *soy macho!*». Купил женский головной платок, одолжил деньги, у кого смог, и набрал индейских сувениров да амулетов. Расстелил платок на главной площади городка и начал торговлю. Дальше – больше: вот уже ему и в долг поставщик поверил. Расторговался парень! Стал коробейником по ярмаркам ездить, и не ради сувениров – товар посерьёзней пошёл: детские игрушки, индейская кожаная одежда, обувь, мексиканская керамика. Вот он уже и первый свой магазин открыл, назвал его «Изабелла» в честь новорождённой дочери. Со временем сеть магазинов «Изабелла» покрыла и соседние города. Многочисленные братья и сёстры за ними приглядывали; а в одном из магазинов и я поработала продавщицей, пока муж с Эбером по ярмаркам ездил. Рядом с моим мужем Эбер гляделся невысоким складным парнем; медное лицо, тяжёлые прямые волосы он обычно перехватывал в хвост, а то и заплетал. По крестьянской привычке носил высокие боты, а потом и щегольские сапожки; на плечах – кожаный жилет с бахромой.



Походка лёгкая, охотничья; голос прозванивал хрипотцой. К тому времени разведённый, экзотический индеец имел бешеный успех у шведок, так что ярмарки его удавались не только торговлей, но и любовными приключениями (Быль молодцу не в укор!). Было ему из кого выбирать! И взял он за себя густокудрую беляночку Беатрис, которая стала ему верной помощницей во всём, за что бы он ни брался. А Эбер, как настоящий коммерсант, всегда держал нос по ветру: глядишь – на рынке перемены, и вот уже – новые товары, новые маршруты. Рисковал, терял деньги. Но затевал новые дела и надолго в городе не задерживался: то ковбойская одежда, то обмундирование для байкеров, то мебель, обтянутая бычьей кожей.

Приходя к нам, с тоской оглядывал стены в книгах и искренне сожалел: «Эх, не выучился ничему! А теперь уже и не успеть...». И вспоминал дедовскую поговорку: «La letra con sangre entra; y la labor con dolor» («Буква входит с кровью, труд – с болью», если перевести дословно).

А трудяга Эбер неимоверный. И вот почему у него всё получалось: верил в себя и ничего не боялся. Хоть были и потери; и обворовывали его, и обманывали. «А уж на таможене колумбийца всегда чуть ли не рентгеном просвечивают – ну как же! Из страны наркотиков, – усмехается Эбер. – А ведь не только кокой знаменита Колумбия. Это ещё и страна изумрудов», – и замолкает. Изумрудные каскады листьев родной сельвы видятся ему сквозь солнечные сети; а вот и крыша отцовской усадьбы темнеет меж зеленью, и гамак на галерее чуть покачивается, будто кто-то с него только что встал. На кухне мама готовит *seviche* – тушёное мясо с овощами, а пока от котла поднимается дразнящий пар, можно погрызть *chicharrones* – свиные шкварки. На сладкое будет «*arros con soso*» – рис, сваренный в кокосовом молоке. А потом всю кухню заполнит аромат *своего* только что смолотого кофе, и после каждого глотка можно будет смаковать эту совсем особенную кислинку, присущую колумбийской «арабике». В портале на табуретах, обтянутых бычьими шкурами, курят братья; за домом сёстры, смеясь, возятся с новорождёнными поросятами – прикармливают их. Вот лошадь взбивает мягкую пыль дороги – это соседка с ближней *finsa* едет к рукодельнице-матери ниток попросить... Хорошо жили!

«Не может быть, чтобы я уехал навсегда», – эта мысль точила Эбера, как мышь притолоку. Но, чтобы снова купить землю, нужна немаленькая сумма. И обратился Эбер в банк с просьбой о кредите. Банк отказал. «Значит, сам соберу!», – упрямо решил наш герой. Работали оба с женой, а жили скромно: квартира однокомнатная (часто у одной из стен высились ящики с товаром, не уместившиеся в нанятом складском помещении), машина не из лучших – «Оно и хорошо! Не бросается в глаза разбойникам на дорогах», – рассудил Эбер, – «*Cuidemos bien los sentavos, que los pesos se cuidan solos*», что значит – «Копейка рубль бережет».

Ну, вот и куплена земля на родине, и заложены *safetales* – плантации. На холме поднялась новая *finsa* – усадьба. Местному плотнику заказали совсем простую мебель – широкую кровать с четырьмя столбиками по углам – чтобы растягивать на них *mosquitero* – сетку от moskitov; большой стол (чтобы рассадить приходящих работников), окружённый стульями из бычьей кожи; в портале расставили кресла-качалки из пальмовой соломки, а меж ними – горшки с цветами. По всему дому разместили *tinajas* – большие глиняные корчаги с водой: от них, да ещё от каменного пола, кажется, исходит драгоценная в тропиках прохлада. На галерее развесили гамаки. У стен высадили *madreselva* – жимолость. За домом сложили *corral* – загон для осликов; ну а кто, кроме них, пройдёт меж кофейными деревьями, навьюченный полными мешками зёрен? Усадьба уже живёт, дышит запахами; они перевили её, как музыка – стихи, и стали не песней, а гимном жилья и уюта. На кухне горячо и влажно распускается тмин в котле, в комнатах – еле уловимый запах лаванды от занавесок, в портале душистыми языками разговаривают розы, а на заднем дворе – острый запах навоза перебивает аромат свежескопшенной травы. О чём эти запахи? О том, что мечта начинает сбываться!

Беатрис взяла на себя публикации в сетях о фирме «*Safesarria*», и шведы вскоре стали ценить этот сорт, как экологически чистый продукт, чему свидетельство – многочисленные лабораторные анализы. И как-то раз небольшую кофейню в городе Евле посетил король Швеции Карл Густав, испробовал кофе и отозвался о нём весьма благосклонно!

Раз в год, в сентябре, высочайшая семья устраивает так называемый «Шведский обед»: к королевскому столу приглашаются значительные персоны и люди, знаменитые своими замечательными делами на благо страны. И вот случилось чудесное! Семья Саррия получила такое приглашение. И пошли Эбер с Беатрис в самый большой магазин городка – «Неннес и Мориц» – выбирать костюм с галстуком. «Я не сразу поверил, что это приглашение – мне! – рассказывал Эбер, – Как это простой крестьянин – и сядет за стол с королём!». А по дороге в Стокгольм, обдумывая всё это, молодой Саррия приободрился: «Что ни говори, а кофе во дворце сварят из зёрен с плантации Саррия».

## КАМЕННЫЙ ГОРОХ

## рассказ

В деревне Рябово не было церкви; это в солидном селе Багаряк стоял собор из красного кирпича, правда, пустой и без окон. Зато в Рябово, в ничейном доме, поселилась монашка. Анна Павловна – так её все называли – была сухонькой старушкой с ясным взглядом и светлой улыбкой. Избёнка её состояла из одной горницы; печь, стол, лавка, узкая металлическая койка да иконы в красном углу. Потемневшие святые лики были бесхитростно украшены фольгой и бумажными цветами, изрядно выгоревшими; не переставала гореть лампадка, оживляя смуглые черты Христова воинства. На окне буйно цвёл «Ванька мокрый»; и истоптанные половики, и посуда, и одежда Анны Павловны – всё это приношения деревенских доброхотов. «Она за нас Бога молит; ведь и так без церкви живём... Ладно хоть – Анна Павлова есть», – говорили они. В пору моего гостевания у бабушки и она посылала меня к монашке с миской похлёбки, накрытой ломтем хлеба, с молоком и душистыми золотыми шаньгами. Анна Павловна встречала меня с тихой радостью, усаживала у окна в пуганице лучей меж сочных листьев, всматривалась с улыбкой в лицо. обстоятельно расспросив о домашних, и сама начинала рассказ, часто – из своего детства.

«Я малым-мала одна осталась, мамонька с тятенькой молодыми померли», – заводила она. «Ну, куды робёнка девать? Деревенские и отдали меня в монастырь. Там и росла... Сёстры меня к послушанию не неволили, а просто заботились да кормили. Учили грамоте, вышиванию. Я, быват, на взгорок с работой выйду – холстинка на пяльцах да нитки в пестерюшке. И вот туда – на солнышко – что ящерок набегит! Множина! Сидят, греются: изумрудные, вот нали как водой облитые, блестя! И то, думаю: не Хозяйка ли Медной горы свое войско кажет?»

Бабушка заметила, что я у соседки засиживаюсь, да и подсказала: «Ты у неё про каменный горох расспроси».

Ну, я на другой день и пристушила к ней с расспросами. Старушка облизнула губы, приосанилась и с удовольствием начала историю:

«Монастырь наш с большим красивым селом суседствовал. И жила в нём степенная купеческая фамилия, Измоденовы их прозвание. Сам-от лавку держал, торговал мануфактурой. А жена его, Евлалия Фоминишна, домовничала. Детей она не привела; видно, потому и дом держала открытым. Беспременно при ней проживали странники, кормились блаженные. Под вечер, управившись по хозяйству, приказывала купчиха ставить самовар; собирала за столом приживалок и расспрашивала, кто что видел чудесного. И рассказал ей ведь кто-то о каменном-то горохе! Дело это давнее, и случилось оно в далёких палестинах:

*Льются воды Иордана  
В Гефсиманский грустный сад.  
У купели Иоанна  
Смоковницы стали в ряд.*

И матушка-Богородица, как одна осталась, так бывало, и придёт в этот сад скорбеть.

*Раз при солнечном восходе  
Шла молиться в сад она.  
Видит – грубый сын природы  
Сеет в землю семена.*

*Что ты сеешь? – так, с приветом,  
Дева-Мать ему рекла.  
Камни! – их и даст с ответом  
На посев твою земля».*

Подперев кулачком щеку и уйдя голубым взглядом куда-то в поднебесные дали, Анна Павловна с тихим торжеством досказала:

*«С самой с той поры доньне  
Так и смотрят небеса*



*На луга и на долины,  
Там, где эта полоса.*

*Но посев на ней не всходит,  
Он навек на ней заглох!  
Путешественник находит  
Только каменный горох».*

Помолчав – дав место взволнованному от стиха дыханию – старушка продолжила:

«И вот пала эта история кунчихе в голову. Да так, что, когда схоронила она супруга, распродала всё добро, поклонилась родному месту в пояс, а домочадцам сказала: “Не поминайте лихом, а я в палестины буду попадать!”. Не в лёгкую пору скрутила узелок и ушла. Не год, и не два миновали; уж в селе и не поминали об Евлалии, а она возьми да объявись. Худая, ровно помолодевшая; ну что, всё своё дородство на дорогах оставила. И котомка её была легка, а не пустая. Слыш-ка, принесла ведь она каменного гороха! Ровные катышки, а не весят ничего, навроде пензы-камня. Стала жить, как и прежде, в своём бывшем доме – у новых хозяев – странницей. И теперь уж её рассказы слушали; а она и каменный горох всем – чудо дивное! – показывала.

Я, девка-матушка, как сейчас её вижу, Евлалию: лицо потемнело в чужих краях, да так и осталось смутлым. Сама, как ржаная корочка; а взор-от светлый, глаза небесные. Так и дожила свой век, как птичка, и схоронили её при монастыре. Племени своего по свету не пустила, а святым походом до сих пор в рассказах жива; ну, старики рассказывают, кто ещё жив остался. Вот и ты теперь знаешь...».

Умакивая металлическое перышко в чернильницу, выводя по одной церковнославянские буквы, написала мне Анна Павловна историю о каменном горохе на листочке в косую линейку; свернула текстом внутрь и сказала: «Вот какое тебе от меня будет подаренье; я умру, а ты когда глянешь, да и вспомнишь. Пока жива, буду за вас молиться». И смущённо развела руками: «А больше ничем не богата...».

В тот день я спросила у бабушки: крещена ли? А она ответила: «Ты не крещённая, ты – погружённая» – «Как это?» – «Ну, как... Церковь – сама видишь – пустая, один остов стоит; а далеко мне с тобой, маленькой, было не съездить. Вот монахини и омыли тебя святой водой, с молитвой в купель погрузили».

Вернувшись в город, я спросила у священника: действителен ли этот обряд? А он так ответил: «Когда война или какая другая смута, человеку не надо бы без креста оставаться; и если какой старший окрестит младшего, то, считай, он воцерковлен».

Не в детстве, но выпало на моё поколение и война, и смута. Потеряла я в многочисленных переездах листочек Анны Павловны. И сама выпала из времени, из страны, в совсем другую жизнь, наполненную иным климатом и чужим языком. Другими чернилами, без прописных линеек и вовсе не на бумаге пишу я всё, что помню об Анне Павловне, а она... уже давно она в высоком небесном храме, где кунчиха стоит рядом с блаженной. Разве что телеграф солнечных лучей соединяет нас с ними, давно нездепшими.

## СЧАСТЛИВЫЙ рассказ

Нас у мамки семеро народилось. Седьмой-от я: счастливый!

Да родился уж больно маленьким. Мамонька глядела-глядела: то ли карло, то ли кто? Поди и не выживет... И как из больницы её домой выписали, мотнулась она в уборную, да и оставила меня на подоконнике. А по дороге домой задумывала: неладно это, грех! И вернулась за мной. Счастливый!

Мы – расти, а тут война. В деревне меня жалели: то стакашек молока, то краюшку хлеба мамоньке принесут: «На, Глаша, покорми поскрёбшша». А мамонька как рассуждала: нормальных бы вырастить, а последышек, поди, и так не жилец. Вот как я семью в войну кормил: счастливый!

Дорос до школы; а школа-то в райцентре у нас. Ну, ребята меня на закорках по лывам до остановки носили, а уж в автобусе я сидел у окна – кум-королю! То поле мимо, то лес; а я смотрю – как парад принимаю. Даже как-то сохатого видел на опушке.

В школе каждый день о чём-да-нибудь узнаешь; а как читать выучился, так и стал смекать, где книгами разжиться? Тут в наше Рябково автобус библиотечный пустили. И останавливался он аккурат против нашей избы. Так что я вволю мог рыться в книгах и выбирать себе, что душа пожелает. Счастливый!



Мамонька наша после войны вдовою осталась. Озлилась на весь мир и ну приходит на меня: «Давай-него к делу пристраивайся, нечего даром хлеб жевать, книжный читарь!». А тут к соседям в гости городской из Каменска приехал, и мы к застолью были званы. Работал он по ювелирному делу, и чего только ни рассказывал о разных камнях! Я его слушал, разинув рот. А он и говорит: «Наша наука силы не требует, а вот если верный у тебя глаз – подойдёшь». Ну, что; увёз меня в Каменско и выучил! Вот, бывало, сижу на стуле, а на него ещё пальтупка для высоты подложена; смотрю, какой камень на брошку выбрать, да к которому приложить. Кто стихи пишет, кто картины; а я ведь тоже памятки по себе оставляю! Счастливым!

В деревню своим деньги отправляя, а сам не бывал там больше – не пришлось. Беда пристигла! Стал зрением скудеть; камни все на один цвет видеть. Как тут быть? Добродетель мой порадел, в старческий дом-интернат пристроил. Там ведь не только старики, но и инвалиды живут. Ну, у меня много друзей враз появилось. Новому человеку всяк рад, а уж я-то как старался разутешить народ! Да хоть и надо мной пусть улыбнутся – зато свою беду забудут. Однако же... У меня (впервые в жизни) и у самого туга-печаль. Ведь это что? В руках силы нет; не кости – мягкие хрящики! Поди и у рыбы крепче... А вижу совсем плохо. Квадрат окна ещё различаю: что белая пелёнка висит на стене. Попросился я у уборщицы на окне посидеть, вольного воздушка вдохнуть. Подсадила она меня на подоконник. Сижу и думаю: а не шагнуть ли мне в окно? И вдруг стыдно перед Богом стало: уж он ли меня не сберёт, уж он ли мне не был заступой? Нас у него много, а и меня он подарком оделил: сколь мог, радовался я на камушки, и весь разноцветный мир в ладонях чувствовал! А теперь... Теперь зато друзей много, и если не я – кто их, брошенных тут, позабавит? Я ведь много читал, когда мог; вот и пересказываю им сейчас, что помню. А одна тут у нас женщина (у ней вечно глаза на мокром месте были), она так мне сказала: «Каждый день жду тебя, колокольчик! Ты давай-ка женись на мне. А что; в одной комнате, при общем хозяйстве немудреном, да всегда вдвоём!». А многим ли женщины замуж их взять предлагали? Счастливым я!

Только умерла она вскоре. Сердце изнашивается. И при нынешних властях наш дом-интернат совсем обнищал, в комнаты уже покоечно селить стали. А я в коридоре под столом устроился. Стол длинной клеёнкой покрыт, так что отдельная квартира получается. Вечером покой; а днём я там и не засиживаюсь – всех надо обойти, всех проведать. Старики уж знают, что я глазами оскудел; вздевают очки на нос и читают мне. Один притомится и заснёт – к другому пойду. И ещё расскажу вам: наша общая кошка, толстая Муся, у меня под столом теперь ночует. Прижмётся и таково-то мирно загудит, что сны вижу разноцветные и интересные. И тепло с ней...

Слышал, близко идёт война; вот и брат пошел на брата, как в Библии писано. Мыслимое ли дело? И чего людям – при полной-то оснастке для жизни – в мире не живётся? Видно, им надо больше, чем у них есть! Если подумать, мне бы тоже больше, чем у меня есть, хотелось; но я как привык? То, что есть – и в этом благо. Есть кров, есть хлеб; жизнь у нас мирная. Старички мои наперебой к себе заывают; кто и угостит чем. А я гостинец передарю – и, глядишь, человека порадовал! Муська тоже... ходит за мной, как верный страж. А недавно нянечка старенький приёмник на батарейках подарила: счастливый я!

# АНАТОЛИЙ МИХАЙЛЕНКО

## И ЛИВНИ ШЛИ...

новелла

(Вариант №50)

1

Киевское небо затянуто тучами цвета армейской шинели. В каштановой аллее, тронутая первой ржавчиной осени, шелестит листва, напоминая своим шелестом трение жести о жечь. Стас Кажан – гуманитарий, в силу обстоятельств ставший снабженцем, сидит на скамье, машинально перекатывая в руке два небольших конских каштана.

– Стас! Стас Кажан! – кто-то окликнул его.

Он повернул голову. В двух шагах от него стояла женщина лет тридцати пяти с загоревшим лицом и крашеными светлыми как платина волосами. Её большие тёмно-карие глаза, оттенённые тупью, излучали снисходительную нежность. Так взрослые смотрят на ребёнка, совершившего какую-то невинную шалость.

– Оля! Оля Ткач! – узнал он свою бывшую сокурсницу, и неожиданный спазм сдавил ему горло.

– Нет, – сбила она его с толку своим ответом. – Теперь – Ольга Полупан!

– А... могла бы... быть... Ольгой Кажан, – сказал, запинаясь, Стас.

– Боже, – воскликнула несколько наиграно женщина, звонко ударив в ладоши. – Как это забавно звучит: Ольга Кажан! Ольга Летучая Мышь, не так ли?

«Почему забавно?» – подумал он. И продолжил:

– И чем занимается Ольга Полупан?

– Работаю в институте литературы, кандидат наук, сейчас пишу докторскую, да вот всё никак не закончу...

– Что так? Тема трудная? – спросил он участливо.

– Да ничего сложного, но, понимаешь, семья, дети, – сказала она.

– И много их у тебя?

– Один сын.

– Да? И как зовут юного пана Полупана? – перешёл он на шутовской тон.

– Стас, то есть Станислав, – сказала, смутившись, Ольга.

– И на кого же похож мой тёзка?

– Не обольщайся! – бросила она ревниво.

Пока разговаривали, присматриваясь, как бы изучая, друг к другу, первые тяжёлые капли дождя ударили по листьям каштанов, запрыгали по асфальту, вздымая фонтанчики брызг.

– Здесь рядом кафе, идём быстрее, там переждём дождь, – сказала Ольга. И бросилась вразгибку с грозой, а он – следом за ней. Забежав в кафе, плюхнулись, расслабившись и тяжело дыша, на стулья за столом у окна, выходящего на Крещатик.

Дождь усиливался. Выглянув на улицу и услышав «пушечную» канонаду, Стас подумал: «Это надолго». И спросил Ольгу:

– Кофе будешь?

Она кивнула утвердительно головой.

– С пирожным?

– Я люблю заварные, если ты помнишь, – уточнила она.



– Всё ещё не верится, что вижу тебя! Столько лет прошло! – сказал он, сделав глоток кофе и охватывая взглядом всю её ладную фигуру.

Ольга сидела вполборота к нему и, казалось, равнодушно смотрела в запотевшее окно. Но от него не ускользнуло, как её щека, обращённая к нему, шея и даже ушная раковина разом порозовели.

– Да, время летит, что твой курьерский поезд, – произнесла задумчиво она и повернулась к нему. Смутившись, он отвёл глаза, утопив взгляд в чашке с кофе. А она начала негромко, нараспев, читать:

*На всех парах летело лето,  
Нас увлекая за собой.  
И всё, что вдаль несла планета,  
Звалось и жизнью, и судьбой.  
И ничего уже поделать  
Мы с этим фактом не могли.  
Земля вращалась и летела,  
И ливни шли, и ливни шли...*

Это были его, Стаса, давние, ещё студенческие стихи. «Надо же, она помнит и читает их назусть!» – удивился он.

– Ты ещё пишешь? – спросила, кончив читать.

– Иногда, – слукавил Стас.

– Что значит, иногда?

– Понимаешь, поэзия, как и любовь, или она есть, или её нет.

– Хочешь сказать, что ты сейчас один и вольный как казак?

– Я говорю о том, что и первое, и второе – это высшее проявление человеческого духа.

– Не морочь мне голову банальностями, Стас.

– Вот видишь, ты всё понимаешь, а спрашиваешь.

– А книгу ты хоть пытался издать?

– Издал, – сказал не то утвердительно, не то вопросительно он.

– И как ты её назвал?

– Так и назвал: «И ливни шли...», – пустился он вот все тяжкие.

– Это в память о Фонтанке, да? Ты вспоминаешь о том времени?

– Не часто.

– Но почему?! – в голосе Ольги прозвучала обида.

– Потому что это было давно, – сказал он.

– А мне кажется, совсем недавно! – сделала она ударение на последнем слове. И снова отвернулась к окну.

Ливень прекратился. Ольга и Стас вышли на Крещатик. Витрины кафе и магазинов сверкали, умытые только что прошедшим дождём. С мокрых каштанов, ненадолго зависая на резных краях лапчатых листьев, срывались как бы нехотя большие капли и, пролетев секунду-две в свободном падении, ударялись с глухим шлепком о мокрый асфальт.

– Ну, мне пора, – сказала неожиданно Ольга.

– Я проведу тебя, – откликнулся он с юношеской готовностью.

– Не надо, я спешу, – сказала она, точно обдала его ушатом ледяной воды.

Под сводами станции метрополитена, порывшись в сумочке, Ольга достала визитную карточку, протянула ему.

– Позвони мне. Я завтра после двух буду свободна, – сказала она, ничего не объясняя, и ушла.

Оставшись один, он наблюдал, как Ольга, миновав турникет, шагнула на эскалатор и как провалилась сквозь землю. Только после этого, очнувшись, он бросился вдогонку.

Спустившись в подземку, разыскал её в толпе и спрятался за колонной. Подошёл поезд, плотная человеческая масса, подхватив их, втянула вовнутрь вагона. «Зачем ты увязался за нею? – думал он как о ком-то постороннем. – Как нельзя дважды войти в одну и ту же реку, так нельзя дважды оказаться в одной и той же постели...»

Ольга, задумавшись, стояла в углу переполненного вагона, держась за поручень, смотрела в окно. Стас протиснулся ближе, стал у неё за спиной. На очередном повороте поезда кто-то навалился на него и прижал к ней.



– Ты!? – оглянувшись, сказала, смутившись, Ольга. И, покрутив головой из стороны в сторону, как бы осуждая его, произнесла примирительно-сакраментальное:

– Сумасшедший!

Ольга жила на Позняках – в новом районе столицы, мало чем отличавшемся от новостроек в других крупных городах. Маневрируя между лужами, оставшимися после недавнего ливня, Стас и Ольга шли молча. Оба чувствовали неловкость: говорено много, а главное так и осталось невысказанным. Наконец они вышли на улицу Княжий Затон.

– Вот здесь я и живу, – сказала Ольга, кивком головы указав на серый бетонный параллелепипед. Обошли ещё несколько луж и остановились у первого подъезда.

– Спасибо, что провёл, я рада была тебя видеть, – сказала она будничным голосом, протянув ему по-мужски руку для пожатия. И, уже набрав код на входной двери, добавила:

– Так ты мне позвонишь?..

## 2

Дома, переодевшись, Ольга пошла на кухню готовить ужин. «Неужели я всё ещё его люблю?» – спрашивала она себя между делом. Все у неё валилось с рук. Чистя лук, порезала палец, картофель, как она не старалась, подгорел, снимая сковородку с плиты, обожглась.

Вскоре домой вернулся сын, насвистывая какую-то мелодию.

– Станислав, не свисти в доме – денег не будет! – сказала раздраженно она.

– Их и так нет, зачем зря беспокоиться! – последовал привычный уже ответ.

– Не начинай! Иди, лучше, поешь, я приготовила твой любимый жареный картофель, – сказала она, потрепав сына по курчавой нестриженной голове, подумав про себя: «Как хорошо, что он не похож на Парамона...».

Заварив крепкий кофе, Ольга с чашкой ушла в свою комнату с твёрдым намерением поработать. Включив компьютер, открыла файл с начатой докторской диссертацией «Метафора, её разновидности и функции в новеллах Юрия Островерха».

«Теория метафоры основательно разработана мировой литературно-теоретической наукой», – прочитала она академическую банальность. И пробежала глазами абзац до конца: «Всякая метафора расчитана..., умение видеть второй план метафоры..., развёрнутая метафора реализует задачу..., метафора – своеобразный рычаг...».

– Боже, какая тоска! – она злилась на себя, на свою бесталанность, на несчастливую семейную жизнь, наконец, на Стаса, не хотевшего понять её. «Ну, хотя бы не был таким холодным – всё-таки не чужие люди. Или всё-таки чужие? Столько лет прошло...» – подумала невесело.

Выключив компьютер, Ольга встала из-за стола, погасила настольную лампу и, как была одетой, так и бросилась ничком на кровать. Сквозь шум дождя услышала скрип входной двери, какую-то возню в прихожей, нетвёрдые шаги – домой вернулся муж, профессор Парамон Полупан! Заглянул привидением в её комнату, наполнив воздух выхлопом винных паров, и, убедившись, что она спит, ушёл. Благо, квартира трёхкомнатная.

Как только за мужем закрылась дверь, Ольга перевернулась на спину, уставилась невидящим взглядом в потолок. За окном по-прежнему монотонно шумел ливень. Такие же затяжные дожди шли и тогда, в поселке Фонтанка, куда их курс отправили убирать помидоры. Воспоминания юности согрели одинокую женскую душу. Она увидела себя и Стаса – молодыми, влюблёнными, не помнящими себя от счастья. Вот они вдвоём на фонтанском пляже, вот в совхозном сенохранилище. Идёт дождь, где-то под самой шиферной крышей воркуют о чём-то своём голуби, пахнет помётом и мышами. Но это не мешает им любить друг друга...

«Ну и дура! – недовольно бурчал Парамон, расхаживая взад-вперёд по комнате. – Муж пришёл домой, а она спит себе, как ни в чём не бывало! А какой была милой обходительной девушкой, когда я вырвал её из провинции, – продолжал он. – Человека из неё сделал, сына воспитал как своего, а она крутит носом, стерва!».

Оглянувшись воровски на дверь, он достал из буфета бутылку с жидкостью по цвету напоминавшую абсент. «Вот была бы здесь Катерина, она бы всё быстро устроила!» – мечтательно произнёс он, наливая в фужер «абсента». И, опрокинув зеленоватую жидкость в себя, смачно крикнул, и вышел на балкон покурить.

«И почему я не остался у неё? – поёживаясь от сырости и холода, вспоминал Парамон молодую аспи-



рантку, с которой славно провёл сегодняшний вечер. – Она хороша, но я еще ничего!..». Вынув из брючного кармана пачку «Marlboro», он достал сигарету, прикурил её от зажигалки и сделал глубокую затяжку.

То ли от горечи сигаретного дыма, то ли от вышитого спиртного у него вдруг закружилась голова, к горлу подступила тошнота. Инстинктивно он шагнул к перилам балкона, перегнулся через них и запустил содержимое желудка в ночное пространство. А когда наступил второй позыв рвоты, он неожиданно поскользнулся на мокрой от дождя керамической плитке балкона, потерял равновесие и оказался по ту сторону перил.

«Что же это я так – бутылку не спрятал? Жена будет недовольна», – последнее, о чём успел подумать он...

«Странно, я ещё помню его ласки!» – улыбалась в темноте своей комнаты Ольга. И почти физически ощутила долгие поцелуи в губы, в шею, его горячую ладонь, скользящую по её талии, по низу живота. В изнеможении она запрокинула голову, прикусила нижнюю губу, чтобы не закричать... и услышала, как ей показалось, настойчивые трели телефонного звонка.

– Стас! Это Стас! Я сейчас, сейчас! – Ольга вскочила с кровати. И только включив свет и ощутив боковыми ногами холодный пол, осознала, что это не телефон. Это кто-то неизвестный настойчиво и громко стучал во входную дверь квартиры и не отпускал кнопку электрического звонка...

## 3

Фирменный поезд «Черноморец» уносил Стаса Кажана в дождливую сентябрьскую ночь. В купе спального вагона он был один. И ему не придётся сегодня делить с кем-то жизненное пространство. Может быть, уже до самого утра. Он сел у окна, достал из кармана пиджака каптаны и, перекатывая их привычно в руке, вспомнил встречу с Ольгой. У него, как у каждого мужчины, был достаточно изощрённый ум, чтобы, рассуждая о деловых и других качествах женщины, упустить из виду своё участие в её судьбе.

«Новая квартира в столице, любящий муж, сын-отличник, престижная работа, докторская диссертация на подходе – что ещё нужно женщине для счастья?! – искренне радовался за Ольгу Стас. – Она сделала свой выбор и, кажется, весьма довольна им...».

Он расстелил постель, удобно растянулся на нижней полке и, укрывшись тонким суконным одеялом, закрыл умиротворённо глаза. И как только смежил веки, он увидел себя и Олю Ткач. Они стоят в кабинете декана филологического факультета, профессора Ивана Дузя, переминаясь с ноги на ногу. Тот, перелистывая какую-то книгу, не обращает на них внимания. Наконец, декан поднял лицо, и взгляд его выпуклых склеротических глаз, словно случайно наткнулся на стоящих у двери студентов-дипломников. Он внимательно посмотрел на Ольгин округлившийся живот, перевёл взгляд на Стаса.

– Станислав, – сказал Иван Михайлович мягким отеческим голосом. – Возьми Олю за руку. Взял? А теперь веди её в ЗАГС. И смотри, без брачного свидетельства на факультет не возвращайся, – в голосе декана уже появились строгие начальственные нотки, не допускающие никаких возражений. – Так и знай, без него ты диплом не получишь!

Стас и Ольга, держась за руки как провинившиеся школьники, спустились в холл, вышли на улицу. Там, у клумбы, их дождался сокурсник Виталий Каховский верхом на мотоцикле «К-750», который он выиграл в лотерею.

– Садитесь, – сказал мотоциклист, добродушно улыбаясь. – Иван Михайлович поручил мне доставить вас куда следует.

Оля покорно села в коляску, Стас устроился на заднем сиденье. Мотоциклист отпустил сцепление, выехал на Французский бульвар и взял курс на Аркадию.

– Ну, держитесь! – крикнул Виталька, и прибавил газу. Мотоцикл, набирая скорость, подсакивал на бульварной мостовой. Встречный ветер упругой струей обдувал их лица, неистово трепал волосы на головах. Краем глаза Стас видел, как Ольга цепко держалась двумя руками за борта коляски, не ожидая ничего хорошего от этой сумасшедшей езды.

Вдруг тяжёлая машина, разогнавшись, подпрыгнула, взлетела над шоссе и начала стремительно набирать высоту. Далеко внизу остались кафе «Огонёк», куда они ходили пить кофе, университетский ботанический сад, гостиница «Юность», санаторий «Россия». Над аркадийским пляжем их подхватила восходящий поток воздуха и понёс все выше и выше. И вот они троём – Стас Кажан, Оля Ткач и лихой пилот Виталька летят верхом на мотоцикле навстречу неизвестно откуда взявшимся грозовым тучам...

– Вставайте, молодой человек, вставайте, – трясла его за плечо проводница. – Приехали!

– И приснитесь же такое! – вырывалось у Стаса, когда он вышел на перрон, залитый утренним солнцем.



«Сегодня же позвоню Ольге!» – подумал он. Но пока разгружались фуры с детским питанием, которые выехали из Киева раньше него, пока оформлялись необходимые документы, он забыл о своём намерении. Не позвонил он Ольге и на следующий день, и в последующие дни ему было как-то недосуг набрать номер её киевского телефона. А недели две спустя он уже решил окончательно, что звонить поздно, неловко, да и незачем.

# ЛАТЫШСКАЯ ПОЭЗИЯ

**АСПАЗИЯ**

**ASPAZIJA (1865-1943)**

---

В переводах Руты Марьяш с латышского

## DZEJNIEKA ACIS

Ko dzejnieka acis uzskata  
То аņņем дїvainа бурvїба,  
Там jāraud – un nezin par ko.

Un, kas no dzejnieka rokām glausts,  
Тas staigā it kā sapņos austs  
Un sapņo – nezin par ko.

Kas dusējis dzejniekam reiz pie sirds,  
Тas jūtas kā no dzīves šķirts,  
Там jāmirst – un nezin par ko.

1920

## ВЗГЛЯД ПОЭТА

На ком поэт остановит взгляд,  
Задрёт, его волшебством объят,  
Заплачет – не ведая сам, о чём.

А тот, кого приласкал поэт,  
Сквозь дрёму глядит на белый свет,  
Мечтает – не ведая сам, о чём.

Кого однажды поэт любил,  
Отвержен, и свет ему не мил,  
И гибнет – не ведая сам, за что.

## DZEJNIEKA BŪTĪBA

Bez gala mīlēt un bez gala nīdēt –  
Ir abas viņā sietas pretības,  
Uz kā viņš acis met, tas iesāk spīdēt,  
Un, ko viņš skar, tas tūdaļ aizdegas,  
Tā dusmu draudiens – asa sudrabbulta,  
Tā laipnais glaudiens – maigā mūzas gulta.



Tam visas dziļās dzelmes radniecīgas,  
 Tam katra puķīte ir acuraugs,  
 Un viņā aiztrīs visas sāpju stīgas,  
 Ikvienam cietējam viņš tuvs un draugs,  
 Pats savas sāpes viņš kā laimi lolo,  
 Tai lielā masu kori dzied viņš solo.

Kā drūmā lira raud, kā trako fleita,  
 Tā, smagi elsojis, viņš gaiši smies,  
 Tā dzeja – apskaidrotā debess meita,  
 Kas pekles karstiem skūpstiem ļāvusies.  
 No visām zvaigznēm viņa liktens zilēts:  
 ”No dieva apžēlots, no velna mīlēts.”

1928

## СУТЬ ПОЭТА

Безмерно и любить, и ненавидеть –  
 В несовместимости единым целым стать,  
 Что по сердцу пришлось – блистательным увидеть,  
 Серебряные стрелы гнева запускать.  
 И что заденет – пламенем взовьётся,  
 А приглубит – музой обернётся.

Сродни ему морей бездонные глубины,  
 Струной ответною душа его дрожит,  
 Любой цветок – единственный, любимый,  
 Своею болью, словно счастьем, дорожит.  
 Страдальцу в помощь руку подаёт  
 И в хоре жизни сам – солируя, поёт.

То лиры плач, а то безумства флейты,  
 Стихи, возросшие в раю, иль пекле ада,  
 Ему услужливо подскажет голос чей-то.  
 По звёздам ход судьбы его отгадан –  
 Печальным он бывал, и озорным:  
 «Но Богом он прощён, и бес не в ссоре с ним».

## SADEGT UN SPĪDĒT

Man mūžos nolemts kādu ceļu iet.  
 No pirmuguns, kas manā sirdī degta,  
 Es eju dzīvē kā ar liesmām segta,  
 Lai mana zvaigzne rietētu vai austu.

Es visur rada esmu lielumam,  
 Ar sikumu, ko apņemt var ar roku,  
 Ar zemumu es gurdī zemē plokū,  
 Ja mani važās liktu, mani lauztu –

Man elpu atgūt vajag brīvības!  
 Man vairāk vajag nekā dzīves laimes,

Man kopā vajag visas tautas saimes,  
Kas kalnā kāpis, neies lejā slidēt. –

Pat mīla, lielākais virszemes spēks,  
Kas manu dzīvi vidū pušu plēsa,  
Tā pēdējo vēl manī neizdzēsa;  
Es sadegu – nu manim vajag spīdēt.

1933

## СВЕТИТЬ, СГОРАЯ

Мой путь навеки предопределён.  
И я иду по жизни, пламенея,  
В себе негаснущий огонь лелея,  
Что изначально в сердце был зажжён,

Не утопаю в мелочном, земном,  
И лишь возвышенным живу, великим,  
Под низменного тяжким гнётом никну,  
Предвестник гибели моей – кандалный звон.

Как сильно жажду вольности глотка!  
Всего дороже мне грядущего картина –  
Как на гору взойдёт, собравшись воедино,  
Народ, её вершин вовек не покидая. –

И даже, жизнь мою на части раздирая,  
Любовь своей неодолимой силой  
Того огня во мне не погасила;  
И я светить должна, теперь уже – сгорая.

## KAD TU IENĀKTU

Kad tu ienāktu –  
Mana tukšā, aukstā istabiņa  
Visa maija smaržas pieplūstu.  
Visas puķes ziemā uzplauktu,  
Baltie ziedi man ap rokām vītos,  
Visas ziedoņstraumes atdarītos,  
Kad tu klusām durvis atvērtu.

Kad tu ienāktu –  
Vai es lielo laimi panest spētu?  
Sāpju izkurtusī sirds vai izturētu?  
Nē, man dvēsele pušu pārtrūktu,  
Vājie dzīves guņi izdzistu.  
Galvu tavā klēpī nolikusi,  
Mirtu klusi.

Kad tu ienāktu –  
Un es nāves cisās gultā gulētu,  
Zirnekļi man apkārt vērptu tīklu,



Puteklī pāraustu smalku mīklu,  
 Pēkšņi es no miega uzlēktu,  
 Tavu dzīvi tālāk dzīvotu,  
 Kad tu ienāktu, –  
 Bet tu nenāc vairs –

1934

## КОГДА Б ВОШЁЛ ТЫ

Когда б вошёл ты –  
 Моя пустая, неприютная обитель  
 Была б весенним дуновениям открыта,  
 И полнит мая аромат обитель ту.  
 Мои запястья белыми соцветьями обвиты,  
 Зима, но всё вокруг уже в цвету –  
 Когда бы дверь неслышно отворил ты.

Когда б вошёл ты –  
 Я пережить смогу ль такое счастье?  
 Нет, сердце, душу разорвёт на части,  
 Погаснут тлеющие жизни огоньки,  
 И я беззвучно, обессилив от тоски,  
 В плену сердечного томленья,  
 Умру, припав к твоим коленям.

Когда б вошёл ты –  
 А я под паутины пыльным покрывалом  
 Уж на одре предсмертном возлежала,  
 Я б ото сна очнувшись, тотчас встала  
 Лишь для того, чтоб не в мечтах, а наяву  
 Своею жизнью продолжить жизнь твою,  
 Когда б вошёл ты, –  
 Но не войдёшь ты, нет...

## PAMAZĀM

Pamazām norimst prieks –  
 Kad puķes saknei –  
 Pats nezīn kā  
 Tik nav vairs tā?

Pamazām izzūd miers:  
 Bij dienas pelēkas, bet spoža nakts,  
 Nu tiek ī miegs no pagalvja tev zagts:  
 Tev, nelgam, cerība,  
 Kaut zīni – vēltīga.

Pamazām jūtas trulst;  
 Pēc karstas saules rudens lietus līst,  
 Kas pārāk mīlējis, tas ātrāk vīst.  
 Kad mīla samīta,  
 Sirds nepukst tā.



Pamazām rimst: i naids –  
 Kā bite, izlaidusi dzelonu,  
 Top tikai vēl par ūdens nesēju,  
 Vēl iedzeļ liesmiņa,  
 Tik nesār tā.

1926

## ПОМАЛУ

Помалу радость угасает –  
 Коль цвет под корень обнажён,  
 Помалу листья опадают.  
 Не знаешь – как,  
 Но всё – не так?

Помалу и покой уходит:  
 Бывал неяркий день, да ночь яркая,  
 А нынче сон украден у тебя:  
 Ещё надеешься,  
 Хоть знаешь – зря.

Помалу чувство утихает:  
 За жарким днём – осенние дожди,  
 И кто сильнее любил, быстрее увядает,  
 Любовь истоптана,  
 И сердце умолкает.

Помалу гнев ослабевает:  
 Пчела, вонзив однажды жало,  
 Обречена прервать полёт,  
 Стихая, пламя обожжёт,  
 Но боли той уже не стало.

## SFINKSAS MĪKLA

Sen sfinksas mīklas  
 Jau atsegtas ir,  
 Tik viena – kas mīla? –  
 Vēl jāizšķir:

No kādas dieves  
 Tā radīta?  
 Vai tā bij Gea  
 Vai Izīda?

Vai pirmās zvaigznes  
 Tā šūniņa?  
 Vai fluīds? Vai staru  
 Koriņa?

Vai maza, vai liela?  
 Kāds mērs? Kāds svars?  
 Vai radības viela?  
 Vai radošs gars?



Kas mīl, tas mīlas  
Nezina,  
Bet, kas to uzmin,  
Tam pazūd tā.

Varbūt tā tik ilgas,  
Tik sapņu dēks,  
Bet zemes tā lielākais  
Ugunsgrēks.

Tās uguns, kas mūžam  
Neapdziest:  
Bezgala mīlēt –  
Ir bezgala ciest.

1928

### ЗАГАДКА СФИНКСА

Загадкам Сфинкса  
Подведен счёт,  
Любви разгадке  
Настал черёд:

Какой богинею  
Рождена?  
Была то Гея,  
Иль Исида?

Не первой звезды ли  
Она искра?  
Иль сноп лучей  
Неземного костра?

Великим, малым  
Войдёт в сердца?  
Как плоть живая?  
Как дух творца?

Нельзя разгадку  
Найти, любя,  
Не то покинет  
Любовь тебя.

А обернётся  
Тоской, мечтой –  
То разгорится  
В пожар земной.

И с тем пожаром  
Не совладать:  
Вовек любить  
И вовек страдать.

# РАДА ПОЛИЩУК

АХ, ОДЕССА...

триптих

## СЧАСТЛИВОЕ НАВАЖДЕНИЕ

Моисей Кислер был старьёвщиком, сколько себя помнит. И отец был старьёвщиком, и дед. Занятие своё Моисей любил и гордился преемственностью.

– Династия, – говорил он часто, к месту и не к месту, потому что любил красивые слова. – Династия, – повторял удовлетворённо, делая ударение на предпоследнем слоге, и с большим значением тыкал прямо в небо толстым указательным пальцем трёхпалой от рождения правой руки. – Чтоб вы все знали: мой дед Шмуель Авраамович был старьёвщиком, мой папаша Ицхак Шмуелевич был старьёвщиком, мой дядя, брат папашы, горбун Янкель Шмуелевич, дядюшка Яня – тоже был старьёвщиком, хоть ему тяжелее других приходилось толкать гружёную с верхом тележку. Зато когда он пел своим божественным, как у кантора, голосом «старррррьёооо беррррьёоооо!», мурашки бежали по коже и слёзы накатывали, как во время святой молитвы. Да упокоятся с миром души их под крылом Божиим!

Я тоже старьёвщиком стал, кем же ещё. Да только на мне это родовое занятие кончится, чтоб я так жил, – кончится, сынов не дал Господь милостивый. Дочек, правда, тоже не дал. От них, конечно, проку в деле так и так не было бы. Но всё равно прискорбно: мы с Геней, женой моей, год за годом вдвоём да вдвоём, устали друг от дружки, обесилели, порой выть хотелось от тоски, а один раз даже топить решила Геня. Пошла к морю ночью, в шторм, а плавала, как топор, не смотрите, что всю жизнь у моря прожила от рождения до смерти. Едва успел сзади за волосы ухватить, распустила по плечам, как будто снова в девках ходит, чёрные, густые, что конская грива. Обернулась, лицо белое-белое, как луна в морозную ночь, глаза блестят. Устала, говорит, Мойша, отпусти, помоги, не могу, молит, больше жить в тоске бездетной. Ой, вей, за что такая мука, прямо в сердце игла острая вонзилась от её слов.

Моисей-старьёвщик был малограмотный еврей, который едва полтора класса отучился в хедере, в незапамятные времена, задолго до революции. Читал, как все местечковые мальчишки, на древнееврейском языке Тору, получал крепкие подзатыльники или удар по рукам линейкой от вредного меламеда<sup>1</sup>, которого забыть не смог до глубокой старости, по ночам иногда просыпался от незабытого детского страха и чувствовал, как шевелятся волосы на лысой голове. Злой как чёрт меламед навсегда отбил у маленького Мойши охоту к учению. Никогда больше не садился за школьный стол, никогда – не верил, что учителя бывают добрыми, мудрыми и не бьют детей. Он и своих детей не отдал бы в школу ни за что на свете.

– Сам учить буду, – непреклонно заявлял, опережая событие, которое так и не состоялось в его жизни. – Сам буду, – повторял упрямо. – Грамоте обучу, по-еврейски помню, и по-русски освоил без труда, книжки буду покупать, пусть читают, а умножать-складывать я в уме умею так быстро, как никакой профессор. Сколько раз на счетах костяшки откладывали или на арифмометре накручивали – сходится, тютелька в тютельку. А спросите, какой день недели было 4 февраля 1914 года, сразу отвечу – воскресенье, и можете не проверять. Феномян, – опять же с ударением на последнем слоге заключал он, улыбаясь широким ртом, в тёмной расщелине которого мутно поблескивали золотые коронки. – Феномян! – И привычно тыкал в небо толстым указательным пальцем своей трёхпалой руки. – И дети феномянами будут, чтобы я так жил, как вы в моих словах сомневаетесь.

Сомневался кто-то в его словах или не сомневался – давно уж не имеет никакого значения, потому что детей у Моисея с Геней не было. Беда, да и только. Душа тяжелела с каждым годом, в молитвах отчаяние



пересиливало веру, а без веры – какая молитва, одно пустое словоблудие. Он бы не надевал больше талес<sup>2</sup>, не брал в руки сидур<sup>3</sup>, да как объяснить это Гене, обещал ей вымолить у Господа детишек, мальчика и девочку. Мальчика – чтобы фамильное дело Кислеров продолжить, не разрушить династию уважаемых во всей Одессе старьёвщиков, а девочку – чтобы радостью и утешением для Гени была. Твёрдо обещал, категорически, видеть не мог её затуманенные тоской глаза, в чёрном омуте которых никогда не просыхали слёзы. Видеть не мог, а почто обещал – от него ничего не зависело. Он ведь не только на Бога надеялся, он и сам по-мужски старался, выкладывался изо всех сил, а толку никакого. Будто заговорил кто. Или проклял.

А за что?

Никогда бы Моисей с таким вопросом к Нему не обратился. Нет, это он не о себе, у него грехи есть, сам знает, невольные или по дурости, как у каждого смертного, и осознанные, совершённые по здравому осмыслению. Есть грехи, и он, Моисей, за них перед Богом готов ответ держать. Но Гения чиста как слеза младенца, у которого ещё и в помыслах ничего дурного не было, и быть не могло. Невинная душа её трепещет как осиновый листок на ветру – от каждого шороха, всхлипа, смеха. Её чёрные влажные глаза конфузливо заглядывают в глаза случайного прохожего с отчаянной мольбой – помоги, спаси, а я до самой смерти Бога молить буду за тебя, за деток твоих, за деток твоих деток. Детки есть у тебя? – осторожно спрашивала, не поднимая глаз, а услышав в ответ «да», вскидывала ресницы, руки молитвенно прижимала к груди: отдай мне одного ребёночка, просила тоненьким срывающимся голоском, от которого сердце Моисея рвалось на кусочки, он чувствовал, как расплывается живая ткань и сочится кровь, и горячо разливается в груди, поднимается к горлу, становится трудно дышать и лишь одно слово может выдохнуть в этот миг: Гения!

Отдай ребёночка, тянула Гения на одной невыносимо пронзительной ноте, и брела как попрошайка, вытянув вперёд руки ладонями вверх, пронзая незрячим взглядом туманную дальнюю даль. Отдай! Каждый раз в такой момент Моисею казалось, что она уходит от него навсегда. Уже ушла. Гения! Она останавливалась, чутко прислушиваясь к чему-то, медленно, словно нехотя, разворачивалась и шла назад, всё убыстряя шаг, переходя на бег. И, запыхавшись, подбегала к теряющему сознание Моисею, клала горячую ладонь ему на грудь, растирала, массировала, шептала что-то непонятное, но успокаивающее, опрокидывающее в сон, спокойный, ровный, безмятежный. Голова его лежала на коленях у Гени, её ладони – одна у него на груди, другая на лбу. Просыпался Моисей здоровым, бодрым, ничего не помнил, и Гения была заботлива, умиротворена, вполне в своём уме.

Однако до следующего помрачения было недолго. И всё повторялось сызнова и сызнова, с той ночи, когда не дал ей сгинуть в морской волне. Не надо было мешать мне, Мойша, укоряла она тихим голосом, грешно так говорить, но я хотела уйти, шептала побелевшими губами, может, там, в пучине тёмных вод, нашла бы дитяtko своё заплутавшееся.

Ой, вэй! Таки прав оказался знаменитый на всю Одессу психиатр Ястребнер Сруль Фридрихович, хоть Мойша и заподозрил его в алчности, которую тот даже и прикрыть врачебной заинтересованностью не захотел. Как увидел два бронзовых с малахитовой инкрустацией подсвечника из коллекции недавно отошедшего в мир иной первого во всем городе антиквара Шмультяна, которые принёс ему в качестве подарка Моисей, глаза заблестели, челюсть отвисла, даже пеннистая слюна закапала, как у голодной собаки. Ещё три канделябра было у Шмультяки, прокричал визгливо и недовольно, будто они с Моисеем об этих бронзулетках предварительный сговор имели. Ещё три! Ещё три! – проорал пронзительно и сунул Моисею под нос как глухонемому три холёных растопыренных пальца, на одном из которых красовался массивный золотой перстень с чёрным камнем. Моисей смотрел на Ястребнера с недоумением, переходящим в ярость. Желваки заходили, аж зубам больно стало, и руки задёргались, размахнулся бы и двинул прямо по обслаявленной отвисшей челюсти. Но Гения сидела сбоку на диванчике, перебирала руками, низко опустив голову, и что-то бормотала себе под нос.

Моисей взял себя в руки.

– Вот Генеса, жена моя, профессор, видите. – Он шумно сглотнул слюну, от волнения закашлялся. – Вот, профессор, жена моя, Гения. Помогите ей, я разыщу для вас эти бронзулетки, все до единой, сколько было, слово даю.

Ястребнер, не поворачивая головы, как бы нехотя, будто Моисей бесцеремонно вторгся в его кабинет и отрывает от несомненно более важных дел, скосил глаза на Геню. Посмотрел, посмотрел, неожиданно резко вскочил, враскачку подошёл почти вплотную к ней и положил ей на голову свою ладонь. Гения подняла лицо, Моисей невольно отшатнулся, такой мукой были до краёв переполнены её глаза. Страшно сделалось, с мольбой и надеждой упёрся он взглядом в покрытый лёгкими чёрно-белыми колечками за-

тылок Ястребнера, воткнутый как в жабо в короткую складчатую шею. Профессор передёрнул плечами и, не оборачиваясь, сказал спокойно, уверенный, что Моисей беспрекословно подчинится: выйди, не мешай.

Моисей тихо прикрыл за собой массивную деревянную дверь кабинета Ястребнера и застыл в столбняке, будто враз обездвигел. Ни отойти в сторону не смог, ни сесть, ни молиться даже, язык не шевелился, губы не раскрывались, но и слова отлетели, зависли поодаль, как лепестки с отцветающей акации. Моисей видел их, узнавал и смысл каждого был понятен, но молитва не складывалась никак. Господи! Господи! Господи! – стучало в правом виске, а в левом ломило так, что он терял сознание.

Позже, когда Геня вышла от Ястребнера умиротворённая, тихая, покорная судьбе, взяла его за руку как маленького, пойдём, сказала, домой, всё будет как будет, Моисей подумал: а чего он, собственно, ждал, на что рассчитывал? На чудо? С какой стати, с какого такого резона? Да, вся Одесса о чудотворце говорит, из уст в уста переходят предания об исцелениях и сбывшихся предсказаниях. Но Моисей ни в чудеса земные, ни, тем более, в колдовство не верил. Да и врачам, если признаться, тоже – сколько людей умерло в их руках, не помогли, значит, слабы и бессильны перед волей Господа. Он один всем правит по своему промыслу. В этом Моисей был убеждён сизмальства, с молоком матери впитал несокрушимую веру, не требующую подтверждения фактами.

А что не помог бедной жене его Гене, не услышал его молитвы, так, видно, есть дела более неотложные, первостепенные. Кто ж станет спорить?! Народу кругом много, и у каждого к Нему свои запросы, упования, а то и претензии, все в одной очереди стоят, отгалкивают друг друга, теснят. А порядок всё же существует. Наверное, – подумал Моисей и вдруг почувствовал, как едва приметно впервые шевельнулось сомнение. Существует, тихо сказал, чтобы Геня не услышала. Существует! – будто приказ отдал сам себе и крепче сжал в своей руке тонкую Генину ладошку.

А всё же – почему Геня в этой очереди в самом хвосте стоит и не видно, чтобы хоть на шаг продвинулась вперёд? Почему всё же?..

Моисей отнёс Ястребнеру ещё три подсвечника, за что, сам не знал, но слово дал – привык держать. Ни о чём не спросил, поставил на стол перевязанную грубой бечевкой картонную коробку и пошёл к двери, уже открыл её, когда услышал:

– Не будет у неё детей, Моисей, не жди.

Будто камень тяжёлый упал на спину, согнулся Моисей, едва на ногах устоял.

– Никогда? – спросил, с трудом ворочая языком, и в груди сделалось холодно, и сердце захлебнулось страхом.

– Никогда, – ответил психиатр, известный всей Одессе профессор Ястребнер. – Никогда, – повторил. И добавил: – Милостив Господь Бог наш Всемогущий.

– В чём же милость Его? – холодея душой, спросил Моисей и обернулся.

Лицо Ястребнера было залито таким сочувствием и состраданием, что Моисей глазам не поверил. Сделал несколько шагов навстречу, уткнулся лбом в плечо профессора и впервые в жизни своей разрыдался навзрыд, неловко утирая кулаком слёзы, остановиться не мог. И облегчение вдруг почувствовал, какого давно уже не испытывал, даже от молитвы, наедине с Богом.

– В чём же милость Его? – переспросил Моисей ещё раз и посмотрел Ястребнеру в глаза, и увидел в них что-то страшное.

Профессор сомкнул веки, мучительная гримаса перекосила его лицо, провёл ладонями от лба к вискам, несколько раз трянул головой, словно гнал от себя невыносимый кошмар и знал, что это не в его силах. Бледный, осунувшийся, с провалившимися глазами он несколько минут молча стоял перед Моисеем, потом тяжело повернулся, на спине будто горб вырос, по-стариковски зашаркал ногами, направляясь к своему роскошному, красного дерева, украшенному искусной резьбой письменному столу.

– Придёт время, увидишь сам, – едва слышно произнёс, не оборачиваясь к Моисею. – Всё сам увидишь.

И увидел. Не зря профессора Ястребнера так чтили в Одессе, не любили, завидовали, злословили, побаивались, но чтили. И каждому слову его верили. Нет пророка в своём отечестве – это не про Одессу. В Одессе есть всё. И верили беспрекословно: что предрёк профессор, слово в слово сбудется. Плохое, хорошее, всякое. Кто просветлялся от его пророчеств, кто навсегда тонул во мгле помутившегося сознания, но претензий к Ястребнеру никто не имел, шли и шли к нему за исцелением, утешением, если всех собрать вместе большая толпа соберётся, евреи и гои, и даже самые отъявленные антисемиты. Беда и болезнь никого не обходят. Шли и шли...

А вот и он сам в толпе, растянувшейся по Старопортофрантовской, бледный, осунувшийся, с прова-



лившимися глазами, на спине будто горб вырос, по-стариковски шаркает ногами, точь-в-точь как в своём кабинете в тот день, когда Моисей рыдал у него на плече, как дитя малое неразумное. Шаркает ногами и медленно двигается вместе со всеми. Его, даже если не знать, среди всех сразу выделить можно – вяло опущенные руки болтаются в такт шагам, ни чемодана, ни саквояжа, хоть какой-никакой котомки, будто на прогулку вышел или в последний путь, куда ничего не берёт с собой ни бедняк, ни богач. Только золотой перстень на пальце сверкнул прощальным светом.

Моисей толкает свою тележку, а куда идёт, – как и все, не знает. В тележке жалкий скарб соседей, сам предложил, когда вместе с другими собрался по приказу немецкого командования на регистрацию, – грузите, чтоб легче идти было. Он всё равно бы её покатил перед собой, не привык без тележки. Много барахла разного перевозил за жизнь, на любые вкусы: часы с боем, ручные и напольные, посуда, фаянс-фарфор, треснутая, склеенная, и целые сервизы в нетронутых упаковках, серебро столовое, картины в позолоченных рамах, канделябры, пропыленные, молью траченные бархатные гардины, плюшевые скатерти, кисейные салфетки, женские панталоны с кружевными манжетами, шелком вышитые сорочки, пеньюары прозрачные, капоры с атласными лентами. Всё добро – из опустевших домов с хорошим достатком, постояльцы которых отошли в мир иной, кто по божьей воле, а кто по воле великого вождя.

А их имущество каким-то непостижимым образом перекечевало в тележку к Моисею, раньше всех повсюду успевал хромой, вездесущий старьёвщик. «Стааарррьё берррём!» – раздавалось в разных концах города под скрип и дребезг колес выдавшей вида тележки, и тот, у кого мозги не свернулись набекрень от всего, что творилось вокруг, понимал – снова беда пришла в чей-то дом. И Моисей тут как тут – кушит быстренько по дешёвке, что тайком вынести успеют, те, кто осиротел или в одночасье стал изгоем для всех. И кособокую галочку в своё личное дело в уме нарисует – небольшое, но добро сотворил, может, зачтёт Господь Милосердный и Справедливый, когда его, Моисея, час пробыёт. В уме всю эту бухгалтерию держит, так-то ему некогда, да и несподручно – загрузил тележку, освободиться надо, продаст, кому что сгодится, – тоже не во вред, а во благо. Так что к Моисею относились если не с почтением, то всё же должное отдавали: нужное дело исполнял, по собственной душевной склонности или по Божьему наставлению, но исполнял исправно.

Моисей толкает тележку, бессмысленно гружёную впопыхах собранными вещами, всё вповадку побросали, где чьё – не разберёшь. Перешётпываются, подбадривая надеждой себя и тех, кто рядом, – дойдём до гетто, обустроимся и будем жить, Бог поможет. Будем жить. И поправляют то и дело сползающие с тележки старьёвщика узлы и чемоданы. Ой, всё из мир<sup>4</sup>, Господи, кому это нужно теперь, вдруг подумал он, вспомнил искажённое мукой лицо Ястребнера и его слова: придёт время, увидишь всё сам. Похоже, время пришло.

Он отыскал глазами курчавый загривок профессора, и волна лютой злобы накатила внезапно, отпустил тележку и почувствовал, как судорожно дёргаются пальцы, будто сжимаются обручем на профессорской шее. Удавил бы своими руками, подумал Моисей, прорицатель хренов, прости, Господи. Прости, Милосердный. И помилуй всех, кто бредёт в этой толпе в пугающую неизвестность, в неизбежность. Неужто так предначертано всем – детям безгрешным, старикам, безумным, калекам, молодым красавицам в первом соку, юношам, не успевшим стать мужчинами, падикам<sup>5</sup> и отпетым негодяям, такие тоже есть, никуда не денешься? Неужто – всем один удел?

И прорицателю Ястребнеру, который всё же помог Гене? И ему, Моисею, тоже помог. После того памятного визита, как сказала Геня, взяв его за руку, пойдём домой, Мойша, всё будет, как будет, так ни разу больше о ребёнке не заговаривала. Не бегала ни за кем, не канючила: отдай ребёночка, отдай, отчего Моисей терял сознание и готов был не возвращаться в этот мир, бессильный помочь жене своей. Так и жили некоторое время без каких-либо ожиданий и потрясений. Геня вроде бы вполне в своём уме, исправно ведёт хозяйство, обсуждает с Моисеем разные вопросы, всю мишшуху<sup>6</sup> обихаживает: кто заболел, у кого свадьба или покойник в доме – она тут как тут, первая помощница. Только если родит кто-то, не замечает, не слышит, отсутствует, будто она не с ними, будто нет её. Ну и пусть, решили все – так даже спокойнее, не позабыли ещё её пронзительное, рвущее душу: отдай ребёночка, отдай! Тогда все избегали общения с ними и дружно советовали Моисею определить Геню в психлечебницу.

Но он стоял насмерть – нет, никогда. Даже к психиатру отвести долго не мог решиться, боялся обидеть Геню, напугать её. А она неожиданно легко согласилась, пойдём, сказала, и за руку его взяла, как маленькая девочка. Обрато тоже взяла за руку, но как-то так выходило, Моисей это почувствовал сразу: туда – он её вел, а оттуда – она его. Какая-то неуловимая перемена сразу произошла.

И потом, позже, наблюдая за ней исподтишка, Моисей всё крепче убеждался в своём подозре-

нии – профессор Ястребнер словно подменил жену его Генно: она и не она одновременно. Тихая, добрая, хлопотливая – это да, всегда была такой. Глаза её сияли ему навстречу, даже в самый разгар безумия бежала к нему, чтобы спасти от гибели. А теперь – как лунатик, как привидение: плавно двигается, глядит всегда куда-то вдаль, сквозь него, мимо всего, иногда и улыбается, и напевает что-то тихое, протяжное, как будто переселил её профессор на другую планету, и тем самым избавил её от всего, что мучило и мешало жить. Только Моисей обострённым чутьём улавливал подвох – так, да не так. Шестое чувство подсказывало ему – Геня просто затаилась до времени, чтобы усыпить пристальное внимание к себе.

Они с детства жили вместе. Мамуся Сара, тётка Моисея по отцу, воспитывавшая его после смерти матери, и Генно взяла к себе, когда её родители умерли от чахотки, один за другим в могилу сошли. Моисей был старше Гени, и хорошо помнит, как в детстве и уже повзрослев, она, не замечая ничего вокруг, играла в дочки-матери, пеленала тряпичную куклу, кормила, баюкала, прижимала к груди и нежность струилась вокруг, и счастьем были до краев переполнены её глаза. А мамуся Сара, которая обручила их, когда Геня была ещё ребенком, а после и поженила, несмотря на троюродное родство и протесты родственников по всем линиям, украдкой смахивала слёзы и шептала, как заклинание:

– Будь милостив, Господь Всемогущий, пошли детей нашей девочке, не оставь её. – И сердито объясняла ему: – Дурная примета, когда девушка в куклы играет. Отбери у неё куклу, послушай меня. Я знаю, что говорю. – Едва слышно шептала: – Сама играла. – И снова смахивала слезу.

Историю мамуси Сары знали все, это не было секретом. Но причём тут Геня?

Мамуся Сара была старая дева, так судьба повернулась. В еврейских семьях, в местечках редко такое случалось.

А красавица Сара осталась в девках, не своих деток воспитывала, любила, как другая родная мать не смогла бы. Но выносить ребеночка в чреве своём, родить, грудью кормить, нежить и холить маленький тёплый комочек, плоть свою, кровинушку – не послал Господь такой милости.

Вот и боялась мамуся Сара за Генно, доченьку свою любимую, дурное предчувствие мучило, и один и тот же сон преследовал – Геня прижимает к себе двух младенцев, мальчика и девочку, вся счастьем светится, Мойши рядом нет, она ищет его глазами в какой-то толпе. Долго стоит, уже солнце спряталось за каштанами, а младенцы молчат, не плачут, и мамуся Сара вдруг понимает – не дети, тряпичные куклы на руках у Гени. Сердце сжималось в комок от страха. Никому не рассказала она о страшном видении, с собой унесла в могилу, и тревогу за Генно тоже. Уже отходя, проваливаясь в густой туман небытия, молила за неё Господа коченеющими губами: будь милостив к ней, Всемогущий...

Этого Моисей не знал. А трагическая история мамуси Сары не была ни для кого секретом. Ему она сама рассказала. Но причём тут Геня? Причём?

У них настоящая любовь была, мамуся Сара не ошиблась, соединив их ещё в детстве. Он привык заботиться о Гене, не мог налюбоваться её красотой, а она его во всем слушалась, ни в чём не перечила и влюблена была в него, он это чувствовал, и ни о ком другом не мечтала, ему отдала и свой первый поцелуй, и свою женскую ласку, всю себя. А он за неё готов был жизнь отдать. Но что-то всё же не сложилось у них – не дал Бог детей. Не оттого же, в самом деле, что Геня долго куклу свою нянчила?

«Будь милостив, Господь Всемогущий, пошли детей нашей девочке, не оставь её», – шептала мамуся Сара.

Причём тут Геня? – думал Моисей тогда и злился на мамусю Сару.

«Милостив Господь Бог наш Всемогущий», – сказал профессор Ястребнер.

В чём же милость Его? – спросил он тогда у профессора, недоумевая.

«Со временем всё сам увидишь», – ответил профессор.

И Моисей затаённо прислушивался, пристально приглядывался, то и дело смотрел на часы, как будто ждал и боялся пропустить какое-то чрезвычайное событие, равнозначное приходу Мессии.

А тут вдруг – война, вероломное нападение германцев. Всё стремительно сдвинулось с места и перемешалось: кого мобилизовали, кто сам, добровольно пошёл защищать родину, кто по собственному желанию в тыл поехал спасать себя и детей своих, кто по указанию сверху – военные заводы налаживать, чтобы всё необходимое для победы на фронт поступало исправно. Моисея на фронт не пустили из-за укороченной с детства ноги и трёхпалой руки. Да он и не рвался. На войне его сразу убьют, в первом же бою, ни бегать не может, ни винтовку держать не обучен. От него здесь проку больше будет: кому что продать, обменять нужно, он всем поможет. У него – тележка, какой-никакой транспорт, и репутация хорошая, люди ему доверяют.

Кто знал, что всё так обернётся?



На первый приказ немецких властей – «Евреям явиться на регистрацию» – откликнулись немногие. Зарегистрировались и пошли по домам. Второй раз приказ вывесили, больше евреев пришло, но и этих зарегистрировали и отпустили. А в третий раз пришли почти все, с вещами, как было приказано, и вот идут толпой по Старопортофрантовской под шорох медленно кружащих листьев. Поискал глазами профессора, плетётся, с трудом переставляя ноги, жёлтый лист каштана опустился на плечи возле массивной складчатой шеи и как приклеился. Моисей смотрел на Ястребнера: словно через годы шагал у него на глазах, с каждым шагом старился лет на десять – и вместо недавней злобы охватила его жалость и вроде вина какая-то. В чём виноват, понять не мог, в этой толпе они все без вины виноватые. Может, плохо отблагодарил его тогда.

Ведь профессор вроде предупредил его или, во всяком случае, – хотел предупредить. Не зря Моисей отправил Геню к дальним родственникам, подальше от города, хитрость употребил, чтобы уговорить, – наотрез отказывалась. С трудом убедил – бабушка Феня, дескать, одна лежит в параличе, недвижимая, все разбежались, кто на фронт, кто в тыл, а её впопыхах забыли на старой кровати за буфетом в углу, где валялось барахло всякое, что в дорогу с собой не взяли. Для убедительности добавил – соседка бабушки Фени рассказала, случайно на вокзале встретилась. А так и было на самом деле: та проездом через Одессу во Фрунзе, а он тоже проездом через вокзал домой с тележкой – может, кто пожитки второпях позабыл на перроне, такое случалось уже – пригодятся кому-нибудь.

Война, всё сдвинулось с места, и вещи тоже, а у него к ним отношение особенное, как к живым существам. Вещи, как люди, бывают домашние и бездомные, любимые и забытые, пестуемые, мягкой фланелькой протёртые, вымытые до блеска, под стеклом выставленные и на чердаках или в кладовках в пыли и во тьме брошенные. Он, будь его воля, каждый предмет отмыл бы, оттер, в коробки упаковал и разложил по полкам, пусть дожидаются своего хозяина. Как не бывает ничьих собак, не должно быть, так и ничьих вещей тоже – по его разумению.

Рядом с ним на руках у женщины всё время заходилась от плача ребёнок, она его качала, целовала, тихо напевала колыбельную, прикладывала к груди, стыдливо прикрываясь цветастой кашемировой шалью, а бедное дитя всё плакало, плакало. В душе у Моисея всё переворачивалось от этого плача. «Господи! Ты видишь это, слышишь? Отзовись, Господи!оборотись ликом своим к нам. Справедливый и Всемогущий, ты не можешь допустить это! Не должен!», – не мольба звучала в его стенании, а почти угроза. Он поучал Бога, приказывал ему! Никогда представить такое не мог в смиренной вере своей, от древних предков к нему пришедшей, святой и, всегда казалось, – несокрушимой.

Да он и не задумывался никогда об этом, не раби<sup>7</sup>, не цадик – простой смертный, обычный одесский еврей, со всеми недостатками и пороками, свойственными человеку. Сейчас впервые в душе и в мозгах его творилось что-то несусветное – всё бурлило, клокотало, вопило. Всё существо его требовало ответа. А ответа не было.

«Какое счастье, что Гени нет со мной! Какое счастье, что у нас детей нет!».

Моисей смотрел на плачущего младенца и несчастную мать, и всё повторял, повторял про себя – какое счастье! какое счастье! От этих слов ему становилось легче, проходило удушье, и отпускала острая боль, которая рвала сердце, как взбесившаяся собака беззащитного бельчонка, положив его к ногам отца. Спасти бельчонка не удалось, собаку пришлось пристрелить, и он помнит до сих пор её большие глаза, в которых застыло удивление. Она умерла, не осознав своей вины. Почему-то вдруг всплыло это страшное видение из раннего детства, он тогда, уткнувшись лицом в колени отца, дрожал в нервном ознобе и чуть не захлебнулся слезами. Рука отца, которая гладила его плечи, тоже дрожала.

«Какое счастье, что Гени нет со мной!»

Чтобы успокоиться и отвлечься от происходящего, он попытался представить, что она сейчас делает. Если бабушка Феня так плоха, как рассказала соседка, то хлопот у Гени невпроворот, это и к лучшему. Сейчас вечереет, наверное, готовит ужин. У Гени в руках всё спорилось, а уж стряпала – пальчики оближешь, на все вкусы угождала, мамуся Сара выучила. Не пропадёт бабушка Феня с такой помощницей. Он улыбнулся – представил, как Геня месит тесто, руки, щёки мукой перепачканы, волосы высоко подколоты заколкой и убраны под косынку, но крутые непослушные колечки выбиваются и подпрыгивают сзади на шее в такт её движениям, скалка мелькает в руках – один корж, другой, третий. Он любит её, потом тихо подкрадывается сзади и целует нежную тёплую кожу под волосами. Она смеётся, замахивается на него скалкой, берёт щепотку муки и припудривает ему нос, потом они вместе в четыре руки вырезают гранёными стопками маленькие коржики из больших коржей. Им хорошо вдвоём, но лицо Гени вдруг мрачнеет, она перестает смеяться и говорит тихо:



– Ах, если бы у нас были детки, Мойша, мальчик и девочка, мы бы вместе делали коржики и лепили вареники, да? – и просительно заглядывает ему в глаза...

«Какой счастье, Господи!..»

Моисей не успел додумать до конца спасительную фразу. Ему показалось... Нет, он мог бы поклясться самым святым, что у него есть – жизнью любимой жены своей Гени: он только что видел её, лицо сияло, нежность струилась вокруг, и счастьем были до краев переполнены её глаза. До боли знакомое видение. Нет, он не мог ошибиться – он только что видел Геню.

– Можно, я положу свои вещи на вашу тележку? Здесь пелёнки моего мальчика, его ползунки и распашонки, – она зачем-то стала подробно перечислять содержимое узелка, щеки её пылали смущённым румянцем. – Мне нужно покормить сынулю и спедить молоко. Молока очень много, – она покраснела ещё гуще.

Он помог женщине, но краем глаза зорко смотрел на тротуар справа, где собралось много зевак, привлечённых странной процессией. Такого в городе ещё не видели – свои солдаты маршировали, румынские, но чтобы столько евреев сразу в одном месте, и идут колонной, как на первомайской демонстрации, только без транспарантов и знамен, без «ура!» и «да здравствует!», без песен, без смеха, хохм и всяких других еврейских штучек. Там, за спинами зевак, которые тоже стояли молча, Моисей снова увидел Геню, не видение, не призрак. Это была она. Лицо её светилось таким счастьем, что он невольно прикрыл глаза и отшатнулся, а когда снова посмотрел в ту сторону, увидел, что Геня прижимает к груди двух младенцев, туго запелёнатых в одинаковые белые простынки.

Моисей решил, что сходит с ума. Почему она здесь? Чьих детей принесла сюда? Зачем?

Геня тоже увидела его, покивала головой, засияла ещё сильнее и стала проталкиваться к нему.

– Не смей, Геня! Не смей! – в отчаянии кричал он. – Не смей!

Но Геня не слышала его. Или не слушала. Вот она уже ступила на мостовую. Её заметили полицей. Один сказал, посмеиваясь:

– Куда прёшь, жидовка? Иди отсюда. Иди!

И толкнул её обратно на тротуар. Она споткнулась, чуть не упала, но устояла на ногах, детей прижала ещё крепче, щёки горели, глаза сияли, губы были приоткрыты в счастливой улыбке. Не может быть, померещилось – подумал Моисей в последний раз, а в груди похолодело.

– У меня там муж, мы с детьми к нему пришли.

Он это слышал, как раз мимо них проходил в это время. Генин голос звенел и чуть вибрировал, как всегда, когда она волновалась и радовалась. Он так любил её голос!

– Не смей, Геня, не смей! Уходи! – крикнул ещё раз.

Но она уже проталкивалась к нему сквозь толпу.

Полицай сказал, уже вдогонку, похохатывая:

– Вот дура, сама пришла, и жидовское отродье своё принесла.

А другой добавил, вроде бы, с сожалением:

– Все сами пришли, что о ней говорить.

Моисей всё это слышал и глаз не сводил с Гени. Она уже шла рядом, приноравливалась к его шагу. Геня и дети – счастливое наваждение. Кошмарное видение. Жестокая правда. Он чуть не умер от горя, сердце рвалось на куски и прерывалось дыхание, но Моисей собрал все свои силы, чтобы не оставить её одну. До самой смерти, подумал, теперь уж недолго осталось.

Время пришло.

Геня, обычно молчаливая, без умолку говорила, говорила, заглядывая ему в глаза. И то и дело повторяла:

– Какое счастье, Мойшеле, что я тебя нашла, я так испугалась, что мы больше никогда не увидимся. Какое счастье!

Моисей горько усмехнулся – впервые случилось у них такое несовпадение. Только что он точно так же твердил: какое счастье! какое счастье!.. что Гени нет рядом.

Геня спешила всё рассказать ему. Он запомнил не только каждое её слово, но и как она говорила – где засмеялась, где вздохнула, где всплакнула.

– Ой, Мойшеле, как я испугалась, когда Клава-рябая, что напротив бабушки живёт, вернулась из Одессы и рассказала, что в городе евреев переписывают, собираются везти куда-то. Ой, Мойшеле, я тут же решила – еду домой, ни секундошки не сомневалась. Я всю жизнь с тобой и с тобой, у меня ни одной родной души нет, кроме тебя, ещё мамуся Сара была, да упокоится душа её с миром под крылом Божьим. Уговорила Клаву за бабушкой Феней ходить, не сердись, Мойшеле, – она прижалась к нему плечом и за-



глянула в лицо, взгляд был виноватый и умоляющий одновременно, – не сердись, я отдала ей свои серёжки с зелёными изумрудинками и колечко, по-другому она не согласилась бы. – Она вздохнула протяжно и продолжала: – Да и то сказать, кому охота за чужой бабушкой горшки носить, да мыть-подмывать. – Опять тяжело вздохнула, коротко всхлинула: – С бабушкой Феней я простилась по-хорошему, всё объяснила, хоть она уже не в разуме, ни на что не реагирует, только когда мокрая или кушать хочет, а так – как мумия, лежит себе и лежит, взглядом в потолок упёрлась, даже не видно, дышит или нет. Я несколько раз на дно и даже ночью подходила, руки шупала – не похолодела ли. В общем, простилась я с ней, поцеловала в лоб, ещё тёплая была, но по всему видно, что недолго осталось. Может и хорошо, а? Сколько можно мучиться.

Моисей молчал, у него не было сил вымолвить хоть слово, попытался – не получилось, язык не слушался, онемел. Появление Гени с детьми на руках было для него таким потрясением, какого ни разу в жизни не пережил, даже когда Геня топиться собралась, и он её вытащил, даже когда сознание терял во время её помрачений, от страха за неё и своего бессилия. А сейчас он был просто на грани помешательства: никак не мог осознать происшедшее. Никак в мозгу не укладывалось – откуда Геня, откуда дети?

А она продолжала говорить без умолку:

– В общем, простилась и побежала. Немного Клавин муж подвёз на своём тракторе, потом то пешком, то на попутных машинах. Ой, Мойшеле, там такое делается, на дорогах, суший ад, кто куда едет, не поймёшь, и кто от кого в какую сторону бежит. А вот таки добралась до дома, только никого уже не застала. Двери раскрыты настежь, вещи раскиданы повсюду, видно, что собирались впопыхах и что брать с собой, не знали толком. Вижу, ты свою тележку взял, а для чего, не поняла. Теперь понимаю, правильно сделал. Ты такой хахам<sup>8</sup>, Мойшеле, любя моя, с тобой не пропадёшь. – Она потёрлась щекой о его плечо и тихонько рассмеялась.

Искоса взглянул на неё – хороша, весела. Уж не припомнит, когда Геня смеялась так легко, беззаботно. И весёлой такой её давно не видел. Нашла время и место! Говорит всё разумно, но кажется ему – совсем не в своём уме, слишком разумно, слишком подробно. Хотя не ему судить, он не профессор, да и профессор теперь ни к чему. Вон тащится впереди, еле ноги волочит, а что с него толку?

Всё, время пришло.

Он отпустил тележку и прикрыл уши руками, её голос доводил его до беспамьяства. Типина, в которую он на миг погрузился, немного успокоила, он больше ничего не хотел слышать. Сейчас она расскажет самое страшное – у него не было сил выслушать это. Нет, нет, нет.

Геня легонько толкнула его плечом, слегка подбросила детей, прогнула спину. Ей тяжело держать их, мелькнуло, но он не мог, ничем не мог помочь ей.

– Слушай сюда, Мойшеле, тележку-то взял, думаю, а из нужных вещей почти ничего. Я скоренько собрала небольшой узелок – постельное белье, нательное, по две смены, ложки, тарелки, чашки и мыло, тёплые кофты тебе и себе – осень на дворе, октябрь. Постояла немного посреди комнаты, знаешь, такая чужая показалась мне и холодная, будто не жили здесь никогда, так бывает, когда покойника из дома только-только вынесли, прости, Господи. Я даже всплакнула, потом наскоро присела на дорожку и побежала к соседям, может, найду кого-то, кто ещё не успел уйти. В нашем дворе никого не нашла, побежала через подворотню в соседний, подумала ещё – через сад или через подворотню, решила через подворотню, быстрее будет.

Она снова засмеялась, уже громко, на неё стали оглядываться, чужие не понимали, что происходит, а соседи, из тех, что шли рядом с его тележкой, – кто сочувственно качал головой и плакал, а кто пальцем у виска крутил.

– Да замолчи ты, наконец, ненормальная, совсем из ума выжила, – истерически прокричала какая-то женщина.

И с разных сторон понеслись голоса:

– Замолчи!.. Заткнись!.. Хватит!..

А кто-то сочувственно и миролюбиво сказал:

– Да пусть говорит, оставьте её в покое.

Молодая женщина с плачущим ребёнком вдруг предложила:

– Давайте я ваших малышей покормлю, у меня молока много, всё время сцеживаю. Давайте, а то они тоже плакать будут.

– Нет, нет, не надо, они не будут плакать.

В самом деле, подумал Моисей, он так был потрясён и подавлен, что ему даже не пришло в голову – почему эти дети ни разу не пискнули, как будто не живых младенцев прижимает к груди, а тряпичную



куклу? Он хотел спросить Геню, но она беспечно и радостно смотрела по сторонам, с лица её не сходила счастливая улыбка, она была не здесь. И уже давно, понял внезапно Моисей с отчетливой ясностью, вспомнил своё подозрение, что профессор Ястребнер переселил его жену на другую планету, где все земные суеты не существуют вовсе. От этой мысли ему неожиданно стало легче дышать и сердце немного успокоилось.

Какое счастье, что она ничего не понимает! – подумал он, наклонился к жене и сказал:

– Говори, Геня, я слушаю, говори.

Она радостно закивала головой.

– Представляешь, Мойшеле, решила идти через подворотню, там же помойка, и вонь такая всегда стоит, ты же знаешь, и крыс я боюсь до смерти. Глаза прикрыла, чтобы их не видеть. И вдруг споткнулась обо что-то, смотрю – коляска детская, только без колес, сверху прикрыта одеялом и ещё какими-то тряпками, а на тряпках крыса копошится. Я как заору, крыса тут же исчезла, а из коляски какой-то писк раздался, похожий на крысиний. Но, Мойшеле, представляешь, я вся сжалась в комок, но подошла и заглянула туда. Я их нашла, Мойшеле! Я их нашла – мальчика и девочку, как мы хотели всегда. По дороге незнакомая женщина остановила меня и сказала: оставь их мне, зачем безвинным страдать, я выкормлю твоих мальцов, у меня дитя грудное. – Она замолчала, впервые за это время лицо её помрачнело и, ему показалось, мелькнул проблеск сознания. Она потерлась плечом о его плечо. – Я убежала от неё. Я хотела показать их тебе, Мойшеле. – Она подняла к нему лицо, и он увидел рядом с собой девочку, которая пеленала тряпичную куклу, кормила, баюкала, прижимала к груди и нежность струилась вокруг, и счастьем были до краев переполнены её глаза.

Геня тоже прижимала к груди двух младенцев, туго запелёнатых в одинаковые белые простынки.

Какое счастье! – хотелось кричать ему, наконец, сбылась её мечта! Какое горе! – взвыл он.

«Будь милостив, Господь Всемогуший, пошли детей нашей девочке, не оставь её», – шептала мамуся Сара.

«Придёт время, всё сам увидишь», – сказал профессор Ястребнер.

Время пришло.

Последнее, что Моисей увидел, падая в яму, было счастливое Генино лицо и завёрнутые, как в саван, в белые простынки младенцы, которых она прижимала к груди – мальчик и девочка. Мечта сбылась. Потом он долго слышал голоса, звучащие наперебой, как при хорошей дворовой перебранке: «говорила тебе, отними у неё куклу», сердилась на него мамуся Сара; «зачем безвинным страдать, я выкормлю твоих мальцов, отдай их мне», перебила её незнакомая женщина; «у меня много молока, сцеживать надо, я их покормлю», вторил ей молодой срывающийся от волнения голос; «не к добру это, по себе знаю» – снова мамуся Сара; «не будет у неё детей никогда», заглушил всех непрерываемый бас профессора Ястребнера; «а вот и ошибся, прорицатель хренов, она показала их мне – мальчика и девочку в белых простынках», услышал он свой сдавленный удушливый вскрик, потом в ушах долго звучали стоны, хрипы, сдавленные крики, потом одиночные выстрелы, короткие автоматные очереди, потом ляг лопат, потом наступила тишина... и Моисей понял, что жив.

Милостив Господь Бог наш Всемогуший...

#### Примечания:

<sup>1</sup> Учитель в начальной еврейской школе (здесь и далее – идиш).

<sup>2</sup> Букв. «плащ» – ритуальная накидка, которой покрывают себя мужчины во время молитвы.

<sup>3</sup> Букв. «порядок» – молитвенник, обычно содержащий полное собрание еврейских молитв.

<sup>4</sup> Горе мне.

<sup>5</sup> Букв. «праведник».

<sup>6</sup> Семья.

<sup>7</sup> Раввин – законоучитель и духовный наставник еврейской общины.

<sup>8</sup> Умный.



## ДЕД КУЗЬМА И БАБА НАТАША

Нельзя сказать, что дед Кузьма и баба Наташа любили евреев. Свыклись с ними, притерпелись. А куда деваться? Они тридцать с лишком лет дворничают в старом доме на улице Чичерина, бывшей Успенской, где, почитай, все жильцы евреи, для гоев пальцы на руках хватит, считая и их двоих. Как-то так повелось – дед Кузьма и баба Наташа привыкли, что их гоями называют и никакой обиды за это не таили, иногда и сами так о себе говорили. Когда-то управляющий домом Абрам Борисович Трахман объяснил, что гои – значит не евреи, а они и есть не евреи, почто тогда обижаться.

Абрам Борисович и привёз их сюда в незапамятные уже дни из-под Умани. Сначала у него в доме работали – баба Наташа убирала, стирала и стряпала, а дед Кузьма всю другую хозяйственную деятельность осуществлял. Хозяйка Фейга Моисеевна добрая была, слова громкого от неё не слышали никогда, не то, что брани и скандалов. Блезная, правда, сколько знали её, всё хворала, кашляла, кашляла, а после кровь в платочек стала отхаркивать. Баба Наташа этих её платочков перестирала – не счесть. Отбелит все пятнышки, в синьке отполощет, накрахмалит, утюгом горячим угольным отутюжит и стопкой возле её постели на тумбочку выложит – как новенькие, пусть себе харкает аккуратно.

За год до войны померла Фейга Моисеевна, в конце мая, когда всё пышно цвело, птицы заливались по ночам и на рассвете, небо голубело, отражаясь в оконцах и стеклянных створках дверей, солнце пронзительно сияло, слепило глаза до слёз – всё благоухало и пело, как в раю. И Абрам Борисович погоревал, погоревал немного, всю траурную часть исполнил, как полагается по-ихнему, и будто ношу тяжёлую сбросил – повеселел, приосанился, а вскоре и женился снова.

С тех пор они больше в доме не работали. Новая хозяйка хоть и гойка была, как они, но стерва откровенная. Не она их выгнала – сами ушли, потому что ни перед кем за жизнь никогда не кланялись. Фейга Моисеевна на вы их звала, будто они не прислуга, а ровня ей. Не вдруг привыкли к такому обращению, всё ж не графья – простолодины что ни на есть, и место своё всегда знали. Но и гордость имели, понукать собою не позволяли никому. Особенно дед Кузьма, горячий, взрывной был, необузданный, как необъезженный мерин, но и баба Наташа не льком шита, внешне попокладистой, помирненной, а копни поглубже, лопату обломаешь – каменная порода.

Новая хозяйка Марья Степановна, Маруська, как прозвали они её за глаза, ладно, что тыкала им, это бы ничего, так всегда принято, но орала постоянно, всё ей было не так, поучала, выговаривала, и оттопыренным мизинцем с длинным ногтем норовила ткнуть прямо в лицо бабе Наташе, и не упускала случая оскорбить, унизить, да и не искала случая, просто орала беспрерывно: корова старая, безмозглая, безрукая. Без всякого повода орала. Баба Наташа своё дело знала, это никто бы оспаривать не стал – факт неопровержимый. А один раз и вовсе засранкой обозвала. Дед Кузьма как услышал, послал её по матери куда подальше, он и по этой части был мастак, и больше они порог этого дома не переступили. Абрам Борисович много раз заходил – уговаривал вернуться, даже прощения просил за свою Маруську, обещал, что больше она себе такого не позволит. Но отступился вскорости, понял – не поддадутся.

Жили в своей сараюшке, дворничали: дед Кузьма дикий сад окучивал, что на задворках развели в своё удовольствие с благосклонного согласия жильцов, баба Наташа во дворе порядок поддерживала. Сначала добровольно трудились – не сидеть же без дела, не привыкли баклуши бить, соседи складчину оплачивали их трудодни, по какому-то своему разумению, но концы с концами сходились, с голоду не помирали, а больше им ничего и не нужно было. Потом всё ж таки оформились через домоуправление, жильцы похлопотали за них, и Абрам Борисович поручился перед своим начальством – давно знаю, сказал, жалоб не имею, и жена моя покойная никогда не имела, очень даже была довольна.

А и дед Кузьма с бабой Наташей Фейгу Моисеевну всегда добрым словом поминали. Баба Наташа даже свечки в церкви ставила за неё, сомневалась, положено ли, но спрашивать никого не стала. Поминальные записочки, правда, не писала, чтобы батюшка еврейское имя не увидел, не осерчал, и деду Кузьме не говорила, он бы осудил. А она помолится тихонько за упокой души хозяйки-покойницы, перекрестится, и чувствует душой, что правильно делает, а на Пасху яичко крашеное на могилку Фейги Моисеевны отнесла. На ихнем кладбище не принято это, баба Наташа знала. Поэтому вечером, когда уже темнеть стало и народу никого, быстро подошла к новому чёрному памятнику, где хозяйка нарисована по грудь, прям как живая, и рядом какие-то кривые непонятные буквы выбиты и звезда шестиконечная, положила яичко на белый крахмальный хозяйкин платочек, который на память о покойнице взяла, и ушла. Никто её не видел.

Повезло Фейге Моисеевне, что перед войной преставилась, дальше такое началось – они все видели, никуда из Одессы не поехали, почто им бежать. Тут их дом – халупа-сараюшка на задворках, Кузьма сам



построил. Он бы и лучше мог, да не разрешали строиться. А так – сарайчик не сарайчик, кладовка не кладовка, но и не дом, конечно, как люди это понимают: одна каморка – тут и метлы, и лопаты, и грабли, и ведра, пилы, топоры, прочий инвентарь, тут и кровать, и стол, и одно оконце вверху, под крышей, не оконце – фортка, тут и печурка-самоделка. Это, конечно, в нарушение всех правил, но жить-то надо. Начальство никакое к ним не заглядывало, никого они не интересовали, а из дворовых евреев никто не выдал, даже те, которые в закутках большой семьей ютились.

По правде сказать, их в доме недолюбливали, да и не за что было любить: мрачны, нелюдими, ни с кем ни в каких отношениях не состояли. Дед Кузьма детей гонял из сада люто, не стесняясь в средствах – уши выкручивал или хворостиной стегал по чѐм ни попади, от всей души, пока малец не начинал икать от крика, холодной водой из шланга поливал, струя сильная – с ног сбивала, а он всё лил и лил. После сам в чувство приводил и провожал до дома, всё молча, без единого слова. Мальчишки боялись его, но никому не жаловались и в сад всё равно лазили, отвадить их не мог ни дед Кузьма, ни родители, все мальчишки любят опасные игры, с этим ничего не поделаешь. Зато золотые руки деда Кузьмы ценили, не было семьи, которой он не помог бы что-то починить, построить, склеить. А всё же сторонились его, без надобности – избегали. Неприютно чувствовали себя под его всегда угрюмым взглядом исподлобья, из-под лохматых бровей и приспущенных век, откуда только белки иногда посверкивали, как у слепого. Одному Богу известно, что у него на уме.

Бабу Наташу вообще ведьмой считали, может, и не зря. Всегда, неизменно в тѐмном платочке, схваченном аккуратным узлом под подбородком, нос крючковатый, глазки маленькие к переносице жмутся, неподвижные, будто пуговицы зелёные, огненно рыжая, вся в конопушках, и с метлой не расстается никогда, того гляди – взлетит, как Яга на помеле. Побавались, но в безысходности всё ж за помощью обращались, известно всем – баба Наташа готовила отвар целебный, колдовской, мѐртового мог поднять. Один такой случай все помнили, и пересказывали, переиначивая на все лады. Было дело, было. Ну, не совсем мѐртового, конечно, но полного доходягу, не только врачи отступились, но и жена смирилась – видно Богу так угодно. Поплакала, заплакала, горестно глядя на него, сердечного, и стала потихоньку продукты на поминки покупать. Три дня на Привоз ходила, тяжѐлые кошѐлки таскала, а он всё дышит, в чѐм жизнь теплится – понять не могла. Продукты стали портиться, она в слезах над умирающим мужем бьѐтся, то ли его оплакивает, то ли продукты – сколько денег коту под хвост. На дворе жара несносная, преждевременная – всё стухнет, как есть – всё. Руки от отчаяния заламывает, а что делать – подсказал бы кто. Тут откуда ни возьмись – баба Наташа в дверях с метлой возникла и прямо на пороге банку с отваром чѐрного цвета всучила. На пятый день доходяга гулял по двору с супругой под ручку. Обед закатили знатный, как раз Пасха подоспела. Бабу Наташу тоже позвали, как главную виновницу чудесного исцеления, почти что воскрешения, – не пришла. От кулича, и пасхи творожной тоже отказалась, вообще ничего не взяла – наотрез. Каменная порода.

Всѐ же относились к ним по-особенному, словами не определить. Как-то так случилось, что стали они неотъемлемой частью двора, как колодец с ключевой водой, который давно уже не использовался по назначению, выполнял какую-то иную функцию – памятника, что ли, навевая каждому свои воспоминания; или старая развесистая одичавшая груша, чьими плодами никто, кроме детей не пользовался, но и срубить никому бы в голову не пришло, груша – тоже живой свидетель былого, ушедшего. Так и они, дворники, особняком от всех сколько лет жили, но без них уже трудно было представить двор дома 11 по улице Чичерина, бывшей Успенской. Впрочем, точный адрес можно было не называть, достаточно сказать – там дворники дед Кузьма и баба Наташа. Всѐ – не ошибѐшься, не заблудишься никогда, даже если название улицы запомнил: Успенская, Канатная, Бебеля – где-то здесь, рядом. Дед Кузьма и баба Наташа – как пароль: все, и старые и малые только так их звать стали почти смолоду, как только объявились во дворе. А им ещё и тридцати не стукнуло. Будто какое-то особое предназначение у них было, а какое – никто не знал.

Сами уж и подавно. В деревеньке под Уманью их тоже все, без разбора Кузей да Натахой кликали почти до тридцати. Привыкли, однако, и к новым прозвищам.

Да они за жизнь ко всему притерпелись.

\*

И друг к дружке тоже. Кузя и Натаха никогда не были мужем и женой, записей никаких по этому поводу произведено не было, перед алтарѐм не стояли, батюшка их не венчал. Не было ни свадьбы,



ни обкрученных вокруг головы невестиных кос, ни фаты, ни «горько», ни пьяных драк до крови после застолья – как положено у людей. И любви промеж них не было, скорее так – на безрыбье. Кузя её на сеновале поприжимал, пообнимал, да не заметил, как бабой сделал. Сам перепугался до смерти, что про неё говорить – братом и сестрой были, сводными, правда. Но в деревне и это грехом считали.

Жили под одной крышей с тех пор, как Натахин папаша Данила Матвеевич схоронил первую жену свою Татьяну, которую бил смертным боем почём зря, пока не затихла навсегда, и другую на её место привёл. Сам в толк взять не мог – за что, почему бил? За безответность, может, и какую-то собачью преданность – руки-ноги целовала ему, зверю дикому. У него сердце рвалось от жалости, и чем больше жалел, тем сильнее бил, будто не из неё душу выколачивал, а из себя. Тихая, покорная, в чём только жизнь теплилась – тоненькая, бледная, словно заморский цветок, случайным ветром в эти края занесённый. А так и было в действительности – привёз её когда-то из города сосед Данилы Матвеевича, Савва-мычун, глухонемой от рождения, вся семья такая была. Откуда привёз, почему, кем приходится ему эта пичуга, так толком никто и не узнал. Мычал Савва, как всегда громко и бестолково, руками что-то показывал, никто не разгадал эту азбуку, а и сама Татьяна немногословна была, улыбалась стыдливой улыбкой и односложно отвечала: сродственница.

Пелагея, новая жена Данилы Матвеевича была настоящая деревенская баба, кражистая, крепкая, голосистая, ни в работе неудержимая, ни в постели стыда неимущая. Её Данила Матвеевич даже чуток побаивался, сам себе не признаваясь в этом позоре. И ныло сердце о Татьяне, безвинно загубленной им ни за что ни про что. По ночам являлась ему вся в белом, а вокруг светящееся золотистое облако – сущий ангел, ни дать ни взять. И всегда только так. Камень с души падал, когда видел её, тянул к ней руки, хотел сказать – прости, Танюха, бес одолел, не желал я твоей смерти, не желал. На колени готов был пасть, как перед святой иконой, каждый раз, когда видел её, но она уплывала, медленно растворяясь во тьме, будто и не было её никогда, будто вся эта мука ему приснилась. И он просыпался тяжело, как с похмелья, и вместо покорной и податливой во всём Татьяны обнаруживал рядом жаркую, неуголимую Пелагею, слышал её призывный стон. Плоть наслаждалась, а душа рвалась на небо, туда, где мерцала, словно звала его за собой, маленькая яркая звездочка. Танюха! – с замиранием сердца звал он, и звездочка мигала в ответ. Рассвет он встречал смурным, угрюмым, жить не хотелось, а отчего – сам не знал. Однажды ясным летним утром, не сулившем ничего дурного, не понимая толком, что делает и зачем, Данила Матвеевич обстоятельно, не торопясь, как всё, что он делал всегда, намылил толстую кручёную веревку, накинул на шею и повесился на стропилах недостроенного сарая. Может, там всё прояснится, подумал, оттакаявая пятками из-под ног ящик. Может, и прояснилось, кто ж теперь ведаёт.

Натаха тоже чуть не повесилась, отцова дочка. Причина, правда, совсем другая была. Не от горя, что осиротела совсем, нет. Без отца и без матери ей, может, и легче стало, не рвалась больше меж ними, жалея то одного, то другого бессмысленной, бесполезной жалостью. Независимо от неё всё шло, как шло, пока не прибрал Господь обоих, каждому своё испытание вышло, а уж как справились – не ей судить. На всё воля Божия и суд Божий для всех. Это она не им вдогон – себе самой внушала, день и ночь напролёт об одном и том думая. Что ей делать с ребёночком, который завёлся в чреве от одного только Кузиного проникновения? Она толком и не поняла ничего, ни боли, ни радости, ни удовольствия никакого не запомнила, ни, напротив того, страха, отвращения или смятения. Ничего. Только теперь, что делать – не знает. Родить нельзя – позору не оберёшься, а не родить – как, если оно живое уже, шевелится.

Кузя угрюмо молчал, а она боялась его спросить. Почему-то всё вспоминала не к месту совсем, как любил он котят слепых топить и какая странная ухмылка напознала на его лицо – смесь нежности и кровожадности. Точь-в-точь так же улыбался он, сидя рядом с ней и положив руку на живот. И в животе у Натахи рядом с ребёночком торкался страх, аж в глазах темнело. Вся деревня к Кузе котят таскала, вроде дело не хитрое, в деревне и не к тому привычные – и кур, и цыплят забивали, и другую скотину, а то и собак пристреливали – бешеных, агрессивных, или просто спьяну, чтобы соседу насолить, да всяко живодёрство творили и без смысла и оправдания. А кошек и котят любили все, кошачья была деревня. Туда-сюда носились рыжие, чёрные, серые, белые, гладкого окраса и в полосочку, ловили мышей и крыс, нежились на солнце, торчали морды в оконцах, с крыш хвосты свешивались, в марте никто не спал по ночам от кошачьих оголтелых воплей, после чего к Кузе очередь выстраивалась – тащили кто в корзинке, кто в кошёлке, кто в мешке, со всех сторон несло жалобное – мяяю-мяю. Вся деревня плакала кошачьими слезами. Один Кузя ходил довольный, как именинник. Он один среди всех не любил кошек, просто терпеть не мог, крысу дохлую мог выхаживать, птиц подбитых подбирал, лечил коз, коров, лошадей, только не кошек.



Натаха знала его секрет, сам рассказал – когда-то, ещё мальцом был Кузя, любимая кошка, походя, придушила совёнка, которого он выходил, изо рта кормил разжеванным мякишем, молоком отпаивал, сломанные крылья починил, почти летать выучил. Из-за жирной рыжей ленивой красавицы Муси всё кошачье племя возненавидел раз и навсегда. У него всё так – отрезал и баста. И Мусю не пощадил, наказал беспримерно – отвез на лодке на середину озера, Муся спокойно лежала у него на коленях, привычно уткнувшись носом в его ладони, мурлыкала, Кузя привязал ей камень на шею, поднял за шкурку, пощекотал за ушками – попросался и, не торопясь, опустил за борт.

Натаху пугало его молчание, его рука жгла живот, не только кожа, внутри всё горело огнем. Она жалась к его плечу, другой опоры у неё не было. А всё ж репать надо было самой. И она пошла к бабке Полине, которая учила её травы собирать и отвары готовить, призналась в грехе и молила помочь. Бабка Полина долго упиралась – ни в какую: не дам дитё извести, не возьму грех на душу. А всё же Натаха упорнее оказалась, сдалась бабка Полина, пожалела девку – как бы руки не наложила на себя от отчаяния. Так и так дитё погубит, и сама жизнь закончит в самом начале пути, не битая, как мать, а виной и позором удушенная, как отец. Дала ей зелье, и Натаха, перекрестившись, выпила его до самого дна, до последней капли. Несколько дней она с трудом пересиливала разрывные боли в низу живота, страх клокотал внутри, к горлу подкатывала тошнота, она теряла сознание. Мальчик родился раньше срока и сразу умер, на руках у Кузи и бабки Полины. Натаха его не видела, не захотела. Только уже Кузю, прижимающего к груди маленький гробик, и его слезы, крупными каплями падающие на своими руками выструганные доски, остро пахнущие хвойной смолой.

Кузя плакал, а она смотрела на него, и сердце рвалось от жалости, как между матерью, которую отец драл почем зря, и отцом, рвавшим на себе волосы над распростёртым на полу телом матери. Она, как мать, ноги готова была целовать Кузе за эти слёзы и в то же самое время убить его хотела, как отец Татьяну свою, похоронить заживо. За какую такую провинность – не могла уразуметь, ведь не насильничал Кузя, а она сама его не оттолкнула. Не выдержала Натаха – накинулась на него, как разъярённая кошка, рвала ногтями, испарала в кровь, а он сначала руки её поймал, потом прижал к себе теснее и теснее, аж косточки хрустнули, чуть не задохнулась. Уймись, Натаха, шептал в ухо, уймись, уймись, кошечка моя, выдохнул, и она затихла надолго, без сновидений и мук, будто умерла.

С того дня Кузя никогда за всю жизнь не утопил ни одного котенка, они решили уйти из деревни, куда глаза глядят, лишь бы только не зыркали на них в лицо и в спину со значением – кто неодобрительно, кто ехидно, а кто и откровенно злорадно. Как могла, скрывала свою беременность Натаха, тайком родила, тайком Кузя похоронил дитё, и бабка Полина рот на замок заперла – молчала намертво, как все глухонемые родственники Саввы-мычюна, вместе взятые. А всё ж таки все про всё узнали, недаром говорят – от людей на деревне не спрячешься, и пощады не жди, очерствели, озлобились. На чужой беде душу отвести можно – поплакать-погоревать, пожалеть, посочувствовать, помочь чем, – не без того, конечно, не без того. А потом уж насладиться – не просто посудачить, это что, этим каждый день отвлекаются между делом. Нет, не посудачить, а всё исподнее перетрясти, вспомнить что было, чего не было, докопаться до тёмного укромного уголка, оттуда вытянуть на свет божий то, что не предназначено для постороннего глаза, и потрясти, разглядывая со всех сторон, и вывернуть наизнанку, поразвесить как старое тряпье для просушки, чтобы никто не прошёл мимо, чтобы самый последний раззява и слепец разглядели всё в подробностях. Какое-никакое развлечение, глядишь, и от своих бед хоть ненадолго мозги перекрутятся.

Нет, здесь им не жить, ничего не забудут – ни греха, ни беды, ни мамашу и папашу Натахиных, тут уж и Пелагея, в полном соку да на полном скаку овдовевшая, расстарается – всего, что у неё на Данилу Матвеевича в душе наболело, на них двоих с лихвой хватит. Нет, не жить им в деревне, не жить. Стали собирать свой нехитрый скарб, а тут как раз приехал хоронить родственницу, жившую в еврейском местечке на другом берегу озера, Абрам Борисович Трахман, дружок Данилы Матвеевича с малолетства. Абрам в еврейскую школу ходил для мальчиков, читал святую книгу, и Даньку учил грамоте, как мог, а тот его брал с собой в ночное поле, коров пасли, лежали на сырой от ночной росы траве, смотрели в звёздное небо и мечтали. И были счастливы на все сто процентов, ничто не омрачало это счастье. Куда всё подевалось потом, в какую дыру провалилось?

Абрам Борисович кулаками неловко размазывал по лицу слёзы. Натаха всё как есть рассказала ему, а он и про смерть Татьяны не знал, и про то, что Данька жизнь свою порешил одним махом. Погоревал, сходили на деревенское кладбище, где Татьяна и Данила Матвеевич по разным сторонам лежали, так Пелагея распорядилась – покойник-то её мужем был, а не Татьяниним. Выходит, у Татьяны на него никаких прав не было, даже и после жизни. Если уж только на небесах, где положено, встретятся. Только вряд ли



Данила Матвеевич в рай попадёт, по совокупности всех грехов своих. А Татьяна – должна непременно, это почти единогласно ещё на её сороковинах решили, и добровольная смерть Данилы Матвеевича никак не повлияла на это решение. Как бил её, истязал – знали и помнили всё, а как после сам страдал-мучился – никто, пожалуй, кроме Натахи, не заметил. А она что могла изменить? Её саму виноватили, сколько помнит себя, – сначала за мать, что не уберегла, потом за отца, что не доглядела, а потом уж за собственный грех – тут и крыть нечем.

Сильно расстроился Абрам Борисович, затужил. Может, смерть друга Даньки так растравила душу, а может, просто вдруг остро почувствовал неотвратимость конца, а он жить хотел, жадно, взахлёб, всё хотел испытать, всё испробовать: понравится – съест, не понравится – выплюнет, а если и подавится, то по своему желанию. Надоело жить по графику, кем-то для него расписанному по всем пунктам. Даже если самим Господом Богом. Сказано же – дана человеку свобода выбора. А он ещё ничего не выбрал для себя по своему вкусу. На Фейге тоже женился по сватовству. Удачный, правда, брак получался по всем статьям: из местечка в большой город переехал, в роскошную квартиру, которую тесть молодым устроил по своим связям, учился бухгалтерскому делу, поработал немного в нарукавниках, поиграл костяшками счётов, будто музыку отстукивал, и удовольствие получал, и на хорошем счету у начальства числился. Потом управляющим домом сделался, опять удача сопутствовала: кто-то кого-то подсидел, кто-то помер в одночасье, борьба за место разыгралась нешуточная, а досталось ему без особых усилий. Всё вроде бы хорошо складывалось, но чего-то всё время не хватало, ощущение было такое, что ест хорошо, а голод утолить не может. Он был яростным жизнелюбом. Недаром рядом с больной женой Фейгой всё чаще раздражение испытывал, чем сострадание, а когда она надолго закапчивалась в сильном чахоточном приступе, зажимал уши руками, и казалось на всё готов, только бы она замолчала. Задушил бы собственноручно, чтобы не мучилась больше и его не терзала. Впервые внятно и до конца додумал он эту мысль сейчас, здесь, в местечке, где родился и куда давно-давненько уже не заглядывал. Додумал и сам себе ужаснулся. Прости, Господи, Милосердный.

Оглянулся опасливо по сторонам, будто кто-то мог услышать его потаённое, постыдное, что сам от себя прятал. А рядом сидели двое бедолаг – Натаха и Кузя. Выпили они с Кузей по стакану самогона, и он долго глядел на них. На Натаху – почти с родственной жалостью, хотя никем она ему не приходилась, эта рыжеволосая, конопатая, с маленькими круглыми зелёными глазками и крючковатым носом деваха, похожая скорее на ведьму, чем на Даньку. Никак не вязалась она в его сознании с другом детства, которого любил когда-то как брата, а за что, почему, теперь уж и не вспомнит. На Кузю глядел придирчиво, оценивающе, понять хотел, что кроется за его немногословием, за урюмым взглядом исподлобья, из-под лохматых бровей и приспущенных век. Понять не понял, но всё же решил, что помочь надо, и позвал их с собой в Одессу. Согласились, не мешкая ни минуты, хоть и долгий путь предстоял, и трудная жизненная перемена.

\*

Долгий путь, трудная перемена. Началась жизнь на новом месте, где всё было по-другому. Так то дед Кузьма и баба Наташа от рождения никуда из своей деревни не отлучались, только по соседству на расстоянии пешего хода и то изредка – свадьба, помины, крестины. С малолетства неспрадно жили, не до гулянок было. На новом месте, в большом городе всё было не так, поначалу голова шла кругом, зажмуриться хотелось и уши заткнуть. Всё было не так – большие широкие улицы, машины, трамваи, грохот, гвалт, люди куда-то бегут в разные стороны, как на пожаре. Редко кто, в основном, совсем старые старики, сидят на табуретке возле занавешенной белой, почерневшей от пыли марлей, двери своей квартиры, выходящей прямо на улицу, тихо сидят, смиренно, будто смерть поджидают. А вокруг всё громко кричат, не понять – ругаются или замиряются. В воздухе перемешены несовместимые запахи – кто варенье варит, кто борщ с чесноком, кто клопов морит дустом.

Кричат всё больше по-еврейски, у них во дворе, куда ни повернешься, одни евреи. Справа – бездетные Израиль и Броня доживают свой век, им баба Наташа еду готовит, бельё стирает, а дед Кузьма воду носит и печку дровами растапливает – просто за спасибо, из сострадания. Божьи создания, несмотря что евреи, всё улыбаются и головками в такт друг дружке кивают. Слева – Ривка и Пейсах, с дочкой Рахель и её тремя дочками Соней, Зисей и Фаней, мужей у Рахели было три, что для благочинной еврейской семьи нетипично. Было три, а не осталось ни одного, утекли куда-то как вода из дырявой миски, Рахель каждый раз рвала на себе волосы от горя, так до сих пор патлы во все стороны торчат и рот разинут в онемевшем крике. А бедный Пейсах с пятью разновозрастными бабами один мается. Они его букваль-



но рвут на части, еле на ногах стоит, тощий, как обглоданный куренок, а всё бегают туда-сюда и что-то тащат в дом. А они все недовольны, кричат, беснуются, швыряют ему в лицо, что под руку попадёт, он ладошками прикрывается и тоненьким срывающимся голосом пищит: не нервничайте, девоньки мои дорогие, – это он к ним ко всем сразу, – вам нельзя волноваться, сейчас сбегает, пищит, всё принесу, что нужно, не нервничайте. А с чего это им, коровам, волноваться нельзя, здоровы, пахать на них можно, воду возить, а все баклуши бьют, развалились на тахтах своих, как барыни, бедного Пейсаха на тот свет загонят, – это уже соседи на разные голоса галдят, надрываются. Не столько от сочувствия к Пейсаху, сколько от общей неудовлетворенности жизнью вообще.

Народу во дворе много всякого, время от времени хоронят кого-то, без этого жизни не бывает, но народонаселение неуклонно растёт, плодятся и уплотняются, плодятся и уплотняются. Как кошки, говорил дед Кузьма, смачно плевал себе под ноги и на его лицо напозала ухмылка, как раньше, когда котят слепых топил. У бабы Наташи внутри всё ёкало дурным предчувствием, хоть знала точно – это больше никогда не повторится. А так-то он прав, конечно: жить негде, почитай, весь двор самовольно застроили пристройками и пристенками, одно слово – клоповник. Хуже даже, чем в деревне, там у каждого какая-никакая своя изба-избенка есть. А тут, притулились все стенка к стенке, дверь к двери, а всё ж не путаются как-то, на каждой двери табличка с номером висит – городской порядок. Только у Абрама Борисовича дом отдельно от других стоит в глубине двора, тоже с табличкой на двери. И у деда Кузьмы и бабы Наташи свой сарайчик, ни к кому не примыкают, без таблички, правда, потому что за квартиру не числятся. А от улицы двор отгораживает каменный дом в три этажа, там несколько квартир побогаче дворовых, и тоже почти одни евреи живут. Но не только.

Внизу пол-этажа занимает странная компания, вселившаяся в большую гулкую полупустую квартиру после смерти самой старой старожилки дома девяностодевяти с половиной летней Веруси Петровны, которую все поголовно любили, называли ласково бабусей Верусей или просто Верусей, и почувствовали себя осиротевшими, когда дружно проводили почти столетнюю старуху в последний путь. Сколько помнят соседи, Веруся Петровна жила одна, никто её не навещал ни коротко, ни на долгие летние месяцы, как всех остальных: близкие родственники, родственники родственников, дальние знакомые дальних родственников – попляжиться, покупаться, фрукты-овощи покушать, пофланировать по Приморскому бульвару, послушать в парках музыку, исполняемую военно-морскими оркестрами. Одесса – рай земной, кто станет спорить с очевидным. Но к Верусе Петровне не приезжал никто, изредка лишь она рассказывала про внучатых племянников, без увлекательных подробностей рассказывала и слушали без особого интереса – никто не сомневался, что она внуков этих нафантазировала, чтобы лицом в грязь не ударить: у неё таки тоже есть свои родственники, не хуже других.

Так бы и осталась эта фантазия фантазией, если б вскоре после похорон не заявили сразу все трое, и документы на право вселения в квартиру Веруси Петровны были с печатями и подписями, как положено. Странная компания: Нинка, Валька и Шурик, вроде бы братья и сёстры, две сестры, один брат, но даже Абрам Борисович сомневался, и документы, удостоверяющие сомнительные личности, в милицию на проверку посылаал неоднократно. Но и там ничего определённого не сказали: метрики сходятся у кого по отцу, у кого по матери, так, конечно, может быть, и то, что Нинка и Шурик в один год родились, с разницей в два месяца, при таком раскладе тоже допустимо, но всё же – подозрительно. Не пришлось они ко двору. Жили шумно, пьяно, нигде не работали, хотя по внешности не старые ещё и не инвалиды, руки, ноги на месте, не слепые, не глухие. Скорее наоборот – все видели и слышали сквозь стены, зашторенные окна и запёртые двери. Все про всех знали, всех за что-то ненавидели, особенно, евреев.

Особенно, Шурик и почему-то особенно – почти выжившую из ума Бебу-кошатницу, погоду усопшей Веруси Петровны. Беба тоже давно была одинока. Только Веруся Петровна помнила её мужа Шмулика, раскрасавца, гуляку и балагура, она улыбалась, цокала языком и шумно глотала слюну, как будто отпила глоток давней сладкой радости, и вкус этот ей снова понравился. Беба слушала её безучастно, словно не о ней и её благоверном рассказывала Веруся, она то и дело озиралась по сторонам и всё время звала: ксс! ксс! Кошки сбегались отовсюду, рассаживались перед ней и не отводили преданных глаз от сморщенного старушечьего лица, как загнипнотизированные. Беба раскрывала толстую потрёпанную книгу, которую всё время держала на коленях и начинала читать, тихо, напевно, тягуче. В юности она ходила в гимназию, читала на разных языках, гордилась своей образованностью, и всех во дворе считала неровней себе, даже Абрама Борисовича, отучившегося три года в хедере. Среди соседей охотников слушать её чтения и воспоминания не находилось, и она нашла замену. Кошек собиралось не меньше пятидесяти. Закончив чтение, Беба, кое-как передвигаясь с помощью костыля, изготовленного по её заказу дедом



Кузьмой, разливала по мискам и блюдам какое-то вонючее пойло, которое кошки поглощали с большим аппетитом, зазывала их на ночь в дом на ночлег и так – изо дня в день.

Нельзя сказать, что соседи были в восторге от постоянного проживания во дворе копящего племена – вонь, визг, грязь, вечно путались под ногами коты, кошки, котята. И Бебу пытались урезонить, и кошек как-то отвадить, и Абрама Борисовича призывали власть употребить. Всё было напрасно, и примирились, в конце концов – перестали замечать. У всех своих забот полон рот, продохнуть некогда. Поэтому когда Шурик вскоре после заселения в квартиру Веруси Петровны, появился во дворе и стал орать на Бебу самыми последними словами, которые здесь никто себе не позволял просто так, без особых обстоятельств, когда уже других аргументов не было, насторожились и стали прислушиваться. Беба в это время как раз читала кошкам очередную толстую книгу и не обращала на Шурика никакого внимания. Кошки тоже, даже ушами не шевелили, неотрывно смотрели на Бебу, как прилежные ученики. Тогда Шурик сорвал замок с решётки, закрывающей старый колодец, стал хватать кошек одну за другой и, грязно матерясь, с криком «бей жидов, спасай Россию!», принялся бросать их на дно давно высохшего колодца. Дико кричала Беба, очнувшаяся от своего тихого безобидного для окружающих помешательства, душевраздирающие вопли доносились из колодца, благим матом орали разбегающиеся врассыпную кошки.

Соседи высыпали во двор и прямо-таки застыли на месте, оторопели, глядя на беснующегося Шурика. Так продолжалось некоторое время, пока из своей после сараюшки не вышел дед Кузьма, а следом баба Наташа. Дед Кузьма сказал тихо: прекрати безобразничать. Шурик даже не оглянулся, схватил ещё одну кошку, бросил в колодец и крикнул вдогонку: «сгинь, жидовское племя!». Дед Кузьма подошёл поближе, ещё раз сказал: прекрати немедленно. Шурик, не обращая внимания, нагнулся, чтобы схватить очередную жертву, и тут дед Кузьма двумя руками со всей силой ударил его по затылку. Шурик упал и лежал, распластавшись по земле, раскинутыми в стороны руками обнимая цоколь колодца, откуда неслись жалобные и отчаянные вопли. Переступив через него, дед Кузьма пошёл в сараюшку, вынес моток верёвки, привязал к решётке колодца и стал спускаться вниз. Все обомлели, а у бабы Наташи заострился нос, и побелели костяшки пальцев, которыми она вцепилась в верёвку, страхуя деда Кузьму.

Всех кошек выгнали дед Кузьма со дна колодца и почти всех выгнал. Но Беба перестала читать кошкам книги, не зазывала их, не кормила. Да и некого было кормить, кошки покинули двор все до единой, даже домашние разбежались и сколько не окликали, не искали их, ни одна не вернулась.

А Шурик, когда пришёл в себя, подошёл к деду Кузьме, схватил за грудки и просипел – ну, ты ещё поплачешь у меня, жидовская морда. Дед Кузьма скинул его руки, – пошёл прочь – сказал, и захопнул перед его носом дверь своей сараюшки.

Соседи, кто видел и слышал эту короткую ссору, изумлённо перемигивались, не зная как реагировать – смеяться или плакать. Деда Кузьму жидовской мордой назвал. Такое учудил. И еврей, и гой посмеивались. Смех, правда, выходил натужный, уж больно зловеще прозвучала угроза.

Много всякого, смешного и страшного происходило во дворе, жизнь полна неожиданностей, с этим не поспоришь. Но тот случай надолго запомнился всем.

Деду Кузьме и бабе Наташе в особенности.

Она на него смотрела со страхом и недоумением, будто каждый день теперь ждала, что он отчебучит что-то небывалое. А он сам на себя удивлялся – с чего его так перекосило, что и в драку ввязался, и в колодец полез, имея все шансы вместе с кошками подохнуть в затхлой трубе. Дурость одна.

Раньше ничего такого не случалось. Дед Кузьма и баба Наташа тоже всё видели, всё примечали, что в доме происходит, но ни во что не вмешивались. Старались не привлекать к себе внимание. Своих осложнений хватало сполна, а жить надо было.

\*

Второй ребёночек тоже родился мёртвый, уже в городе, через несколько лет после первенца, тоже мальчик. Наташа и его не хоронила, как в тот, первый раз. Когда Кузя пришёл домой, увидела белые пряди у него в волосах, долго молчала, а на девятый день подошла к нему, припала к его плечу, ноги подкашивались от страха перед тем, что сказать решила. Но переборола себя, ещё теснее прижалась к нему, другой опоры не было – всё, – прошептала, губы не слушались, – всё, больше ничего *этого* промез нас не будет, не хочу ещё раз мёртвое дитя вынашивать. Кузя не спорил, то ли пожалел, то ли почувствовал, что не перешибит ему Наташу – каменная порода, то ли сам понимал – в третий раз и ему такое не пережить.

Так и жили с тех пор, как брат и сестра. И он бы без неё пропал, и она без него ни дня прожить не

смогла бы. Одна судьба связала их крепким морским узлом, не разорвать. «Будь милостив Господь, не оставь меня без Натахи, жены моей невенчанной, прости все прегрешения мои», бормотал Кузьма, проваливаясь в сон, не успевая перекреститься. А она, стоя в церкви перед иконой, молилась обстоятельно и подробно, а в конце, передохнув, шептала: «Будь милостив Господь, не оставь меня без Кузьмы, мужа моего невенчанного, прости все прегрешения мои». Слово в слово выходило. Кабы знать – вместе могли бы молиться. Может, Господь и услышал бы, два голоса всё ж крепче одного.

Два невесомых гробика тяжёлым грузом давили на плечи, дед Кузьма и согнулся раньше времени под этой ношей, да и состарился тоже – дед не дед, просто старик раньше срока. По ночам он всё выкапывал гробики, переносил с места на место, будто прятал от кого. Ямки делал аккуратные, глубокие, ветками выстилал, чтоб помягче было, и сверху прикрывал, вроде бы для тепла, а землю выравнивал так, чтобы следа не было, чтобы кроме него, никто не мог раскопать. Сам он их и так найдёт, у него свои приметы: над одним туя высокая стоит, к закату ветки тянет с поклоном, будто молит о чём-то, над другим – акация руки-крылья раскинула, до земли почти склонилась, собой от всех напастей прикрыла. А о чём молить, от каких напастей спасать – самое страшное уже случилось, спят оба его сына вечным сном, ничего не успели, никуда не ходили, мамку свою и ту не увидели, как слепые котятка.

Зато он, не открывая крышку, знал: в этом – чёрненький малец лежит, первенец, на него точь-в-точь похожий, как увидел, обрадовался, вырастет, успел подумать, пока не понял, что мёртвого на руках держит, будут говорить – отцов сын; а в этом – второй, Натахин, рыжий, как огонь в печи, и весь в конопушках, без улыбки смотреть нельзя.

Утром просыпался Кузьма с тяжёлой головой, всё размышлял – почему этот сон привязался к нему, какой намёк содержит? От кого он своих мёртвых сынов прячет-перепрятывает, для чего? День напролёт думал, а ответа не находил. Даже Натахе собрался рассказать, да удержался – не для чего бабе мозги мутить, ей и без того несладко.

Так дни и ночи превратились для него в кошмар.

Ночью он перекапывал гробики, днём думал – для чего всё это, что за наваждение? Морок какой-то. А однажды, словно повинувшись неведомой силе, которую, как ни старался, превозмочь не сумел, стал мастерить ещё два гробика, только побольше, чем сыновние, на вырост вроде. Строгал на пустыре за сараюшкой доски и помаленьку успокаивался, даже песенку какую-то мурлыкал себе под нос, как обычно за приятной работой. Тут неожиданно Натаха и застала его, он чуть сквозь землю не провалился от страха, можно подумать, она его накрыла на месте преступления. Натаха наверняка решила, что он сбрендил окончательно. А что ещё можно подумать, если он гроб мастерит, весёлую песенку напевает, а покойника нет? Никто пока не преставился. Это у него уже за Натаху сердце щемило, а себе никакого оправдания не находил. Видел – она обомлела, побледнела, даже глаза из зелёных жёлтыми сделались, перекрестилась несколько раз истово, его перекрестила. Слова вымолвить не смогла, и он промычал что-то неразборчивое, как Савва-мычун, помахал в воздухе руками и отнёс в подпол сараюшки обструганные доски. Несколько дней Натаха смотрела на него в ожидании, вопрошая глазами, он отворачивался, не выдерживая её взгляда. Такого разлада между ними не было никогда. Она перестала разговаривать с ним, и он молчал, не умея объяснить ей, что происходит.

А что-то происходило, надвигалось чёрной тучей, Кузьма каждый день просыпался с нарастающей тревогой. Да не понапрасну, как выяснилось вскорости. Грянула война, перед страшным лицом которой всё отступило. Натаха и Кузя помирились, да и ссоры-то не было, одно наваждение необъяснимое. А так-то до войны жизнь текла по своему руслу, местами спокойно, местами бурливо, день за днём, год за годом. Дальше такое началось – они всё видели, никуда из Одессы не поехали. Почто им бежать? Не еврей – гон, старые уже, вместе полный век прожили, да и никуда бежать. Их дом здесь.

\*

Ко всему притерпелись за жизнь дед Кузьма и баба Наташа. И к евреям тоже. А что еврей? Люди как люди. Есть кто похуже, а есть и совсем добрые, вот как Фейга Моисеевна, к примеру, бывшая хозяйка-покойница, да и сам Абрам Борисович Трахман, и Беба-кошатница, и бедный Пейсах, и Израиль с Броней, божьи создания. Гои, что греха таить, тоже не лучше бывают, взять хоть Шурика и всю их компанию. Кстати, исчезли, как сквозь землю рухнули, когда немцы к Одессе подошли. А до этого все радовались чему-то и евреям грозились – ужо вас! Ужо! Настал ваш праздник, Судный день. Изгилялись востро и бражничали напропалую. А как-то поздним вечером, уже осенью дело было, небо висело низко, ни луны, ни



звёзд – темень сплошная, увидел дед Кузьма, как Шурик отбивает молотком уголки эмалевых табличек, что к дверям квартир прикреплены. За спиной у него пьяно хихикали Нинка и Валька, зажимая рты ладонями.

Утром увидел – только у евреев таблички битые. Для чего-то всех пометил, падала. А потом на двери своей не оприходованной сараюшки обнаружил наскоро приколоченную такую же табличку с отбитым уголком, только без номера. Удивился, но значения не придал. Как в той давней ссоре с Шуриком не придал значения его несуразной, как показалось тогда всем, угрозе: ну, ты ещё поплачешь у меня, жидовская морда. Его, деда Кузьму, жидовской мордой назвал. И евреи, и гои посмеивались, смех, правда, выходил натужный.

А теперь ни смеяться, ни плакать некому. Опустел двор. Двери распахнуты, петли поскрипывают, колышутся белые марли, как привидения. Дед Кузьма метёт двор метлой и думает: зачем? Кому нужен теперь этот порядок? Баба Наташа подбирает разбросанные повсюду вещи, детские игрушки, складывает всё в большую плетёную корзину, таскает её за собой по двору и шепчет сердито: раскидали всё, подбирай за ними, нашли няньку. А слёзы текут и текут по лицу.

Тишина полная, только метла шуршит. Ни звука не доносится и из-за закрытых дверей, там кто-то есть, но окна плотно закрыты, занавешены, затаились, кажется, дышать перестали. Это гои. Евреи все ушли, приказ был – под страхом смерти. Все ушли, дед Кузьма и баба Наташа видели. Стоят посреди двора растерянные, не ожидали такого поворота. От непривычной тишины глохнут.

Из соседнего двора донеслись голоса, крики, плач. Через подворотню видно – женщина с двумя детьми: помогите, просит-умоляет, спрячьте. Дед Кузьма и баба Наташа видели, как двери, окна, даже ставни позакрывали и шипели со всех сторон: иди, иди прочь, беду наведёшь, ступай, уматывай. Кто-то жалостливо всхлипнул: ничего не поделаешь, судьба у вас такая.

А у неё глаза полные слёз, детишек пшалю прикрыла – две головки кучерявые торчат, чёрная, как вакса, которой дед Кузьма сапоги чистит по большим праздникам, на Пасху и на Рождество, и рыжая, как медная проволока, из которой он сплёл плетень вокруг своего любимого сада. Вбежала к ним во двор через глубокою, тёмною подворотню, на свет выскочила и молча поклонилась на все стороны, но и здесь гон, что остались, пугливо попрятались по своим норкам.

Дед Кузьма вдруг вперёд шагнул, к ней навстречу, метлу наготове держит. Брысь отседа, сказал негромко, но отчётливо, она видела, как кое-где занавески заколыхались, двери и окна щелочками приоткрылись, и тут же захлопнулись. Брысь отседа, повторил дед Кузьма и зачем-то метлой несколько раз обвёл вокруг себя, будто нечистую силу отпугивал. В подполе, сказал чуть тише, котят твоих спрячу, а сама беги, места на всех нету. Баба Наташа от изумления челюсть отвалила. А бедная еврейка прижала к себе две головки, чёрную и рыжую, губами к ним припала, пошептала что-то неслышно, оттолкнула сыночков и убежала, не оборачиваясь.

На лицо деда Кузьмы напозла ухмылка, странная, знакомая ухмылка – смесь нежности и кровожадности. Когда котят и кошек топил, завсегда так улыбался. Поёжилась, как от холода, баба Наташа – в толк взять не могла, что он удумал, про гробики вспомнила и всю страхом обволокло. Глаз с него не спустит, решила, а котят в обиду не даст, хошь и еврейские – что с того. Малые дети ещё ни в чем не повинны, если и карает за что-то евреев рука Божия, детей надо спасать. Они ещё никто, кудрявые, чёрные, рыжие, с длинными носами – издаалека распознать можно, конечно, но всё равно – безвинные. В этом бабу Наташу никто не переубедит. Ни батюшка отец Алексей, ни даже сам Господь Бог. Прости, всевышний её, дуреху малограмотную Натаху, прости.

\*

Они появились во дворе неожиданно, как из-под земли выросли прямо у дверей сараюшки – три полиция и Шурик. Стучат ногами, матерятся. Раньше дверь всегда открыта была, теперь на крюк изнутри запирают стали. Баба Наташа в щёлку гостей непрошенных разглядела, увидела Шурика, сердце жгалось такой тоской, словно смерть рядом почувствовала. Откуда взялся Шурик, сбежала вроде вся троица нечистая ещё в начале осени. Дед Кузьма как раз с мальцами в подполе возился, только нужду справили, убирал, чтобы чисто было и никакой вони, мыл их в шайке с тёплой водой, перестилал ветки в гробиках-постельках. Она крышку подпола опустила тихо, чтоб заушина небрякнула об доски и мешком с картошкой привалила сверху. Крюк откинула онемевшими руками, вышла, спиной к двери привалилась, прикрывая собой вход.

Вот, вот она, жидовка проклятая, взвизгнул Шурик, рот до ушей, руки потирает, радуется чему-то.

И дед её – жидовская морда, кричит, и всё племя их – жидовское. Вот, вот, видите – и показывает на отбитую табличку. Убейте, убейте их! И пальцем тычет бабе Наташе прямо в лицо. И в плечо толкает, чтобы от двери отодвинуть. Там, там они все прячутся. Убейте их, праздник пришёл, Судный день.

Заткнись, урод! – Один из полицдаев повернулся к нему. – Нашёл жидов, ублюдок недоделанный, – сказал злобно, – деда Кузьму и бабу Наташу все знают. А ты-то, – спросил свирепо, – ты-то, откуда про ихние праздники знаешь? Сам-то не жид будешь, случаем?

Шурик попятился назад, замахал руками, споткнулся о колодец, упал, головой о цоколь со всего маха стукнулся и затих. Полицдаи попинали его ногой, сплюнули. Все, подход, падла. Вон кровинки сколько на-текло. Они ушли.

И, правда, целая лужа, подумала баба Наташа, опустилась в изнеможении на крылечко, сложила на коленях дрожащие руки и заплакала, беззвучно и безутешно.

## НЕПУТЁВАЯ РОТА

Вся Молдаванка смеялась, когда Майор женился на Мине. Да что там Молдаванка – пол-Одессы со смеху покатывались: только прямых родственников со стороны жениха и невесты насчитали на свадьбе около сотни. А побочные ветви, а родственники родственников, соседей, знакомых? А сплетни, слухи, которые на лету ловит чуткое ухо одессита и тут же, не сходя с места, претворяет в анекдот? И вот уже на каждом углу можно услышать: «Последние новости: Майор подорвался на Мине. Сапер ошибается раз в жизни».

Все, конечно, покатывались со смеху, особенно те, кто знал фамилию Майора – Саперман. Неправильная какая-то фамилия, наверняка, вкралась ошибка при записи в советском учреждении. Тогда, на заре новой жизни, многих евреев перепутали, слишком уж мудрёные имена-отчества и фамилии предъявляли, полуграмотные регистраторы не справлялись – орфографических ошибок понаделали много, а переписывать некогда было. Время боевое, кипучее, никакого не имело значения для страны Меир ты, Мейер или Майор, Барох или Борух, Маргулис или Морголис, главное, чтобы чист был душой и помыслом и слился в едином порыве с активными строителями молодой республики Советов. А некоторые под шумок сами чуть-чуть мухлевали для благозвучия, надеясь не только имя слегка приукрасить, но и немножечко свой мазаль подправить, свою удачу, еврейское своё счастье. Сруль–Исрозль–Израиль, глядишь, не так в глаза бросаться будешь, обойдёт беда стороной.

Никого не обошла, однако, каждого настигла на своём месте. Без всяких подсказок брала на прицел, а курок был взведен загодя.

Только не об этом сейчас речь.

Майор Саперман женился на Мине Ратнер. Грех не посмеяться, хоть пара была – на зависть всем. Вот именно – на зависть, что, может, потом и аукнулось такими напастями, что никакому завистнику в самом радужном сне не привиделись. А всё ж нет под оливами мира без злыдней: и потирали украдкой руки от удовольствия, и приплясывали на месте, отбивая бравурную чечётку, и напевали про себя, неслышно, нагло распоясавшись: они что – особенные, Майор и Мина, да? чтобы мы так жили, гоп со смыком, с нашего еврейского народа без гнойных болячек никто до смерти не докатился, а им почем же ж зря такая благодать, позвольте знать?

Позвольте знать.

У каждого народа своя мудрость, но есть и общечеловеческая, где весь опыт перемешался в одном котле: не родись красивой, а родись счастливой, к примеру. Яснее ясного – во все времена и на любом языке звучит как предупреждение. А уберечься как? Совет никто не дал.

Мина безоговорочно слыла первой красавицей, никаких кривотолков не возникало, даже самые злопыхатели язык до крови прикусывали, чтобы не сорвалось мимоходом нечестивое слово: что да, то да, таки нечем крыть. Как душа ни просит, приходилось признавать почти чистосердечно, наступив на горло излюбленной песне огульной и безоглядной хулы: таки да – красавица и умница к тому ж. Дьявол её побери со всеми потрохами: истинная горожанка, не то что бывший мальчик Йорчик из местечка, супруг законный Майор Саперман, в гимназии училась, книжки читала, в театр с подружками ходила, красивые платья и шляпки носила, пока замуж не вышла за грузчика. Любовь слепа – и это извечно. Можно поспорить, из чистой фанаберии, какой одессит не любит поспорить? Но смысла нет, пустое дело.

Майор был красив и статен, кудрявый рыжий чуб, широкие чувственные ноздри, большие, чуть вывернутые губы и зубы – один к одному, как на картинке у зубного техника Осипа Вайсмана, которую сам



нарисовал, белыми мелками раскрасил и над своим зубодробильным креслом гвоздочком к стене прикрепил. До войны Майор работал грузчиком в порту, мышцы играли, перекачивались тугой волной по всему телу, когда он в крохотном, не по росту ему, палисадничке обливался ледяной водой из ведра, стоя босыми ступнями на земле – и летом, и зимой. Десять ведер выливал на голову и довольно постанывал. Бабы бесстыдно глазели, не в силах оторваться от ежеутреннего бесплатного удовольствия, замирали на месте, остолбенелые – в цирк ходить не надо. Да ведь в цирке что – там артист, до него не достанешь. А тут – свой, при случае ненароком прижаться можно бедром или зацепить пышной грудью, приласкаться, да ещё и подразнить немножко, глядя как вспыхивает мучительным румянцем стыдливая не по-одеcски законная супруга Мина.

– Ой, Майорчик, чтоб мы так жили, клянусь самым драгоценным, что имею (тут можно подбить руками вызывающий бюст, так что он после долго будет колыхаться перед носом у бедняги Майора – глаза скошены к переносице, руки в замок сцеплены за спиной, из последних сил держится, дураку видно). Ой, Майорчик, женись на мне, сладенький мой, цукерманчик, вместе холодную баню показывать будем, вся ж Одесса сбегится, очередь аж до самого Дюка вихлять будет.

И снова бедром или бюстом – как бы по нечаянности, потеснее прильнуть к мускулистому телу соседа. Майор ценил такое обращение, уважительно цокал языком и переходил на вы даже с самой близкой соседкой из-за самодельной фанерной перегородки, воздвигнутой когда-то совместно с её героически пропавшим без вести в боях за социалистическую родину мужем Шайе-Лишайе, прозванным так за большие блестящие плешины на голове, доставшиеся по наследству от прапрадеда вместе с именем и кличкой.

– Вы ж, досточтимая Фаина Хаимовна, холода, как огня боитесь, я ж вам печку растапливаю даже в середине лета. Вы мою холодную баню не стерпите. Не раскатывайтесь.

И всё – как отрезал. Понграли, пошутили, а жизнь – штука нешуточная.

Он Майор Саперман, сержант запаса, прошедший и проползший на локтях и на брюхе всю Отечественную войну по родной советской и чужой вражеской земле до самой ихней, фрицевской столицы – разбомбленного нашей доблестной авиацией города Берлина, знает это не понаслышке. Лиха маял, смерти в глаза глядел, из-под земли, из-под груды мёртвых тел один на свет божий вылез, тонул, горел, страху натерпелся до колки в животе, до кровавой рвоты, а всё же четыре медали заслужил. Не стыдно было возвращаться домой на Старорезничную, герой – не герой, а почёт и уважение завоевал, в самом что ни на есть конкретном смысле. И ходил – грудь колесом, а на гимнастёрке – четыре медали брэнчали в лад походке. Долго ходил, пока форма не выцвела от солнца и пота, узка стала в плечах, протёрлась на локтях и на заду просветы наметились. Настала пора переходить на гражданское обмундирование.

Справили брюки, пиджак, рубашку и даже галстук в косую полоску, у старёвщика Моисея с Канатной выторговали за недорого. Таким путём к Майору перешла весьма respectable одежда для портового грузчика, недавнего солдата великой войны. Заодно и Мине подобрали юбку, жакет и блузку, всё неяркого, мышинного цвета, по вкусу Майора, чтобы не выделялась нигде, не притягивала похотливые взгляды изголодавшихся на войне по женским прелестям мужиков.

Сам Майор от этого голода натерпелся, чуть разум не потерял. Долго терпел, слюну глотал, с закрытыми глазами подробно, сладко, томительно ощущивал по памяти тело своей законной супруги Мины, сначала напряжённое, испуганное, будто впервые прикоснулись к ней его пальцы, губы, его вожделяющая плоть, потом как размятая тёплыми руками глина, всё более мягкое, податливое, послушное – делай что хочешь, сопротивления не встретишь, распахнута настежь, вся дрожит и стонет, и улыбается измученным ртом, всегда улыбается. А из глаз катятся слёзы, прозрачные, тихие, благостные. Сладкая женщина его Мина, стыдливая, страстная, нежная. Только о ней и думал, на других баб не глядел, сначала и не замечал вовсе, так привык изначально – своя жена есть и всё, точка, никаких виражей, никаких поблажек себе ни при каких обстоятельствах.

На гражданке было легко, он, Майор Саперман – человек принципов, нельзя – значит нельзя. Сказано: *не прелюбодействуй*, и никакого усилия не требовало выполнение этой заповеди. Тем более что Мина устраивала его по всем статьям. На войне – совсем другой расклад вышел: голод наступал невпопад, только примостишься в какой-нибудь ямке-воронке, закроешь глаза, чтобы Мину свою приласкать, ротный хрипло орёт: «За родину! За Сталина!». Снова атака, будь она неладна. С закрытыми глазами не побежишь, пуля – не дура, не промахнётся, вот мука мученическая, страшнее самой изуверской пытки. Если б не боялся выстрела в спину, упал бы, вжался всем телом в землю, как в Мину родную, зарылся в неё лицом, чтобы ничего не видеть, не слышать, да так бы и лежал, пока всё не кончится.

Если бы не боялся, упал бы, лежал бы...

Дурь сплошная, война есть война, тут, если бы да кабы не бывает, не убили, не ранили, руки, ноги целы, а всё равно контужен, искромсан, покорёжен. Тело целехонько, а дух вон. Сколько раз Майор видел такое. И сам изменился, на себя не похож сделался, в словах, в поступках, в мыслях – сам себе незнакомец. И на баб другим взглядом смотреть стал, как на лекарство скорой помощи, будь то девица невинная, молодуха в полном соку или уже увядающая бобылиха, почти старуха по прежним, довоенным понятиям, своя, русская, или иностранного происхождения – полячка, мадьярка, немка – значения не имело. Как не имели значения лицо, фигура, какие-то иные параметры, по которым оценивал женщину в мирное время. Акт был чисто механический, короткий, агрессивный и конец оглушительный, прежде с Миной так никогда не случалось – будто умер и заново родился сразу.

Поначалу Майора смущало и даже мучило такое обращение с женщиной, как с неодушевлённым предметом, совесть ершилась, покаявалась, под сердцем тоскливо-тягуче ныло, и нитьё это напоминало какую-то запущенную вину, которую давным-давно позабыл. А тут вдруг невпопад всплыло туманное сырое утро на хуторе, где дед Абраша и бабушка Сара доживали свой долгий век, их воспитанница сирота Рута, дальняя родственница, десятая вода на киселе, внучка троюродной сестры Цици, покойницы. Полоумная красавица в самом соку ранней юности забрела в сарайчик, где он спал невинно и сладко, её белеющие в полутьме полные икры и ляжки забрезжили спросонья, в глазах всё поплыло, дернул её на себя, она и пикнуть не успела. Ничего не поняла полоумная Рута, и он уснул мгновенно крепким сном праведника, проснулся поздно, сладко потянулся, ни о чём не вспомнил и уехал спокойно домой, пропившись с дедом и бабушкой, как подумал, навсегда. Скучно, надоело.

Так бы и растаяло в дымке серого тумана это примечательное для Майора утро, и никто бы ни о чём не догадался. С чего вдруг, откуда? Конечно бы, никто и никогда, если бы девчонка не забеременела. Переполох был неслыханный, вся родня съехалась, а для чего – что они могли сделать? Полоумная Рута улыбалась, радостно гладила свой крутлый живот и смотрела на всех ласково, покорно. Сначала её трясли, орали, плакали, дед Абраша впервые в жизни замахнулся на неё, чуть не ударил своим корявым посохом, бабушка Сара на руке повисла – отвела, а он слёг с сердечным припадком, хватал беззубым ртом воздух, силился что-то сказать, пальцем тыкал в Майора и не сводил взгляд с Рутинного живота. Так и помер, с трудом челюсть подвизали, глаза закрыли, в которых застыл ужас, замотали в саван, отплакали навзрыд, до полного опустошения. И никто, кроме Майора, не заметил, что дед на него пальцем показывал, один из всех перед последним вздохом нашёл виноватого, разгадал тайну и унёс с собой.

Захоронили деда, утомонились и Руту оставили в покое, отступились.

Ну, в самом же деле – божье создание, залетевший в этот мир отголосок чьего-то греха, перышко перелётное, что с неё взять. Прокляли дружно того, кто посягнул на безвинное дитя, от души проклинали: весь гнев подспудный, всю боль непосильную, все страдание неизбежное, все невысказанные, невыплаканные обиды на божью и людскую несправедливость – всё вложили в проклятие. «Будь ты проклят!» – разногласно повторяли яростно, грозно. Майор это слышал, тут же стоял, рядом, мурашки бежали по спине, дедов заскорузлый палец тыкался в грудь, и сердце замирало непривычным страхом. По ночам он истошно кричал, будто отгонял нечистую силу, и просыпался весь в испарине.

Лишь через семь месяцев пришло утешение вместе с недоброй вестью: и Рута, и дитя её, мальчонка недоношенный, умерли преждевременно, не дожив до родов, тихо умерли, без страданий. Бог прибрал, пожалел – единодушно решила родня, успокаиваясь. И святое имя Рута девочкам стали давать, как благословение Божье. Майор тогда запил люто, неделю кряду пил, совсем невменяемым сделался, никто понять не мог – с чего вдруг такая напасть, а он лил слёзы и пил, первенца своего неожиданного, нежеланного оплакивал, недоноска, не ставшего мальчиком в чреве у полоумной Руты. И не с кем было поделиться, некому выплакать горе потаённое, жгучее.

Свою дочку он тоже Рутой назвал, не по своей, правда, воле. При всём своём упрямстве, не посмел Майор послушаться. Мать и отец категорически настаивали, бабушка Сара, да и Мина просила, умоляла, даже на колени падала – так повелось в семье, уговаривала, не перечь, может, отмолим, всей мишпухой, все вместе снимем грех с того нелюдя. Убить её готов был Майор за такие слова, за чёрную вину, которая каменной глыбой легла на душу, за то, что никогда не разделит Мина с ним эту непомерную тяжесть, и значит, никогда не сольются они в единую душу, за то, что влачить ему одному непомерный груз до самой смерти. Нервы напряглись и скрипели, как канаты на портовых лебёдках, вот-вот лопнут. Собрав последние силы, Майор связал их крепким морским узлом: не узелок на память, а узел на памяти, раз и навсегда – как отрезал. Приказал себе всё забыть и приказ выполнил. Иначе бы не выжил, каюк.

На войне это воспоминание накрыло его внезапно, как шальной снаряд. Из-под завала Майор вы-



карабкался внешне целёхонький, только внутри всё запуталось-перепуталось и в мозгах злые вихри забушевали. Злость срывал яростно, в припадке бешенства, не приведи Господь попасть под руку в такой момент. Особенно доставалось бабам, теперь уж он их не жалел, никакими угрызениями не страдал, безжалостно терзал, как стервятник, и шёл дальше, напившись чужой крови, опустошённый, расслабленный, нетерпеливо и чутко прислушиваясь к нарастающему гулу новой волны.

Он почти перестал разговаривать, его все сторонились да и он не испытывал никакой потребности в такой форме человеческого общения. Воевал исправно, приказы не обсуждал, пил молча, вслух ни о чём не мечтал, не вспоминал о доме, не расписывал сладкие картины послевоенного мирного життя. Можно подумать – уже дошагали. Он никогда не любил пустопорожного балаболства. «Какой ты одессит, хоть анекдот рассказал бы, посмешил людей», – теребили его однополчане в минуты недолгих затиший. «Я вам не шут, не клоун, грузчик с порта», – отрезал он раз и навсегда и его больше не трогали.

Война перевернула в нём всё с ног на голову. Хотел он этого или не хотел – так сложилось. На фронт пошёл добровольцем в первые дни, не задумываясь. Мужчина должен защищать свой дом от врага – нет вопросов. Еврей – тем более, считал Майор – чтоб пальцем не тыкали. В него никто не посмел ткнуть – он повода не дал ни разу. А любят – не любят – его не колышет, эта мерехлюндия для барышень с Приморского бульвара. Рядовой Майор Саперман в начале войны не знал о ней ничего и, несмотря на все свои мужские достоинства и патриотические порывы, был желторотым птенцом, вывалившимся из гнезда. Сержант Майор Саперман на подступах к Берлину чувствовал себя диким зверем, одиноким голодным волком с выпальми боками, наостренными клыками, всегда готовым к смертельной схватке. И всё чаще и чаще казалось, что такое превращение ему по нутру.

Таким и вернулся к своей законной супруге Мине и дочке-малолетке Руте.

Настала-таки мирная жизнь. Хотя – как посмотреть.

\*

– Равняйся, смирррна! – орал Майор каждое утро и озирал беспощадным командирским взглядом свой боевой расчёт: дочку Руту и сынишку Генерала, родившегося тик в тик через девять месяцев после его возвращения с войны.

С той ночи Мина наотрез отказалась выполнять свои супружеские обязанности. Он напугал её почти до безумия – его неистовство, остервенелость, его бесчеловечность, будто она не женой ему была, которая верно и истово ждала его возвращения всю войну, не куклой даже, не игрушкой, а бревном, которое изрубить на щепки и бросить в печь – всё равно, что мимоходом в фонтан на Греческой площади плюнуть. Он взял её несколько раз за ночь силой, не произнеся ни слова, не приласкав, грубо, разнузданно, нарочно причиняя ей боль, унижая изошрённо, безжалостно. Теряя сознание, она кусала губы, чтобы криком своим не разбудить маленькую Руту.

Из Джусалов, куда они попали, не доехав до Ташкента из-за болезни Руты, они вернулись первыми, как только немцы ушли из Одессы. Вернулись, чтобы ждать его дома. Они так ждали его...

Соседей позвала Рута. Мина лежала на кровати без сознания, Майора нигде не было. Вызвали «неотложку» и её отвезли сначала в районную, а потом в психиатрическую больницу. Пролежала она там два месяца, Майор исправно приходил в часы, отведенные для посетителей, но Мина не хотела его видеть и передачи от него не брала. Родственники выхаживали её, а соседка Фаина Хаимовна, что за фанерной перегородкой жила, взяла к себе маленькую Руту.

Майор запил по-чёрному, второй раз в жизни. На работе сначала чуть не угодил под дрезину, споткнувшись на шпалах, потом упал с причала в море вместе с грузом, который цеплял за крюк лебёдки. Его сурово предупредили: несмотря на большой стаж работы, трудовые заслуги и фронтовые доблести, увольт с порочащей записью в трудовой книжке, если ещё хоть один такой факт будет иметь место. И выговор по партийной линии записали.

Майор протрезвел и больше не пил никогда, ни с горя, ни с радости, ни с какого другого отчаяния. Волгу имел железную. Таки да – перечить нецелесообразно.

Когда Мина выписалась из больницы, Майор прощения просил в широком собрании – родственники и с той, и с другой стороны, соседи, сопереживающие и просто любопытные – народу набилось в халупу Саперманов, как на хорошую небогатую свадьбу. И он при всех, брэнча своими медалями, на колени встал, как перед знаменем, и присягнул, что он, Майор Саперман, сержант Советской Армии, прошедший с боями всю Великую Отечественную войну до самого Берлина, никогда – ни словом, ни

пальцем, никак иначе не обидит жену свою Мину Саперман, в девичестве Ратнер. И поклон отвесил родственникам с «той» стороны, чтобы поддержали его, приняли присягу вместе с Миной, которая уже кивнула головой в знак согласия.

Так состоялось перемирие.

Не все были единодушны на этом собрании. Многие роптали, а некоторые прямо высказывали своё мнение, тыкая при этом пальцами в самую малочисленную группу, представляющую мишпуху Саперманов: «Так и поверили сразу, как же. Он у вас что – из другого теста сделан? Можно подумать! Ни один мужик слова не держит, а ваш Майор – цадик. Как бы не так!» – Эти решительно выступали против мирного исхода. Их ретивость приглушали миротворцы: «Мудрецы спокон века говорили – худой мир лучше доброй ссоры. Чтоб мы все так жили». – «Как – так? – язвительно переспрашивали непримиримые противоборцы: – Как волк с ягнёнком, как кот с мышонком? Не приведи Господь Милосердный, вэй из мир!».

Этот базар продолжался бы до самого утра, пока не настанет пора хозяйкам «делать свой базар», то есть идти на Привоз, но тут Мина выступила вперёд и тихим голосом, как всегда спокойно, как всегда с улыбкой, сказала, обращаясь ко всем сразу: «Спасибо всем. Ступайте с миром, детей пора укладывать спать. – И повернулась к мужу: – Майор, проводи людей». Это были первые слова, которые она сказала ему после той злополучной ночи.

Однако перемирие всё же не означает мир. Иногда бывает, что не только расколотое на мелкие кусочки блюдо склеить не удастся, но и разбившуюся на две ровные половинки чашку. А если и удаётся, то трещина видна – это раз, и два – сочтётся сквозь неё капля, похожая на слезинку. Склеенную посуду в доме держать – дурная примета, точно что-нибудь плохое случится.

Не получилось настоящего мира и у Мины с Майором, не склеилась чашка. Оба старались, но видно не было на то Божьей воли – не сладилось, ушло безвозвратно.

Мина по-прежнему вела дом, чисто, уютно, разносольно, детей обожала и тайком от него баловала и ласкала, как могла. Но и её болезненная нежность не была им впрок так же, как казарменная жёсткость отца. Жёсткость – мало сказать: жестокость – это признавали даже самые ярые поборники строгой дисциплины и образцового порядка. И захлопывали окна, с содроганием задёргивали занавески те же бабы, что до войны бесстыдно и сладострастно глазели по утрам на полуобнажённого Майора, прислушивались к его удовлетворённому «уу-х! оо-ох!..» после каждого опрокинутого на голову ушата холодной воды.

А теперь они затыкали уши, чтобы не слышать истошные детские голоса.

– Папочка, миленький, любименький мой, не надо, не надо, я боюсь! Боюсь! Я боюсь! – Рута заходила в плаче, у соседней сердца рвались от жалости, кто глотал успокоительные капли и таблетки, а кто и «неотложку» вызывал.

Утренний террор, направленный Майором на собственных детей, задевал почти всех поголовно соседей. Мало кто оставался равнодушным и безучастным. Но вмешаться не отваживался никто, даже Мина оказалась бессильна. Его аргумент был безупречен:

– Дети слабые, военные, в закалке и физической подготовке нуждаются, чтобы выжить, это беру на себя. Остальное – твоя забота, с моей стороны никакого вмешательства не будет.

И, правда, ни во что больше не вмешивался. Но Мине едва удавалось привести детей в чувство за день, до следующего утреннего построения.

Она тоже зажимала уши или шла на Привоз, но сделать хороший базар не удавалось почти никогда, в ушах, перекрывая все шумы Привоза, вопли и крики торговков и азартных покупателей, звенели слабые голоса Руты и Генчика. Особенно Руты.

– Не надо, папочка, не надо, любименький, я боюсь! мне больно! мне стыдно! – И прикрывала ручками своё маленькое тельце то спереди, то сзади.

Маленький Генчик, глядя на младшую сёстренку, тоже прикрывался ручонками. А Майор орал свирепо:

– Смирна! Руки по швам! Непутевая Рота, кому сказал – по швам. Не баламуть брата, побью.

Можно и не говорить об этом, но справедливость требует признать – эту угрозу Майор ни разу не привёл в исполнение, пальцем детей не тронул, никогда – ни любимца своего Генеральчика, ни непутёвую Роту, из-за которой житья ему не было, как от бельма на глазу, как от занозы в сердце.

Но холодной водой обливал исправно, изо дня в день, из года в год. Сначала по треть ведра на каждого, потом – по полведра, потом – целое. В любую погоду, в любое время года, даже если дети болели, особенно Рута, у неё то гланды – ангина, то кашель – бронхит и даже воспаление лёгких. Сколько раз в больницу не отдал девочку под расписку, несмотря на категорические настояния врачей!



Так и звенело у всех в ушах:

– Равняйся, смирррна! Руки по швам! Непутёвая Рота, кому сказал – по швам.

«Не Рота, Рута» – тихим шёпотом повторяла каждый раз бедная девочка сквозь слёзы, не в силах понять, почему папочка не может запомнить её имя. Многих девочек зовут Рута, но никого Рота, нет такого имени. Не понять было крошке безвинной, что отец куражится над ней не за её, а свою вину, за имя, которое постоянно ему напоминает о том, чего он помнить не хочет. Ох, неправда, недальновидна оказалась умная, мудрая чистая Минна, когда уговорила его назвать дочку Рутой, ох, неправда. Если бы не она, он настоял бы на своём, никто не сломил бы его. И канула бы в небытие полоумная Рута со своим недоноском. У него есть сынок, наследник, Генерал, сам имя придумал, так хотел – чтоб уважали мальчонку сызмальства. После войны слово Генерал – звучало гимном победы.

Стоя перед мальцом на коленях, он повторял занскиваяюще:

– Сыночек, *сыночка*, не надо – Геша, не надо – Генчик, ты – Генерал, мой мальчик. Ты будешь Генералом всегда. Будешь командовать всеми, построишь и будешь командовать. Я бы так хотел.

– А я не хочу, – канючил Генчик. – Не хочу командовать, я буду лепить, как Рута.

– Рота! И никакого *лепить* не будет! – заорал Майор, не выдержал. – Повтори десять раз: мою сестру зовут непутёвая Рота. Десять раз!

– Не бывает такого имени, – набычился сын. – Рота на войне врага бьёт. А Рута моя сестра.

«Упрямец, весь в меня, а как рассуждает в три с половиной года!». В груди сделалось тепло, и, казалось, давно утраченная нежность накатила с такой силой – чуть сознание не потерял. Хотелось обнять сына, расцеловать, посадить на шею и бегать по Молдаванке или выскочить на Дерибасовскую, а оттуда к Дюку и извещать каждого прохожего:

– Можете даже не спрашивать: да, это мой сын. Генерал. А я – Майор Саперман. О, не надо ничего объяснять, и так видно, что вы приезжий. Здесь все знают: «Майор Саперман подорвался на Минне. Сапер ошибается один раз». Такой анекдот был ещё до войны, все смеялись. И мы с Минной тоже. А теперь вот – не смешно: Майор подорвался на Минне. Сапёр ошибается всего один раз. Чтоб вы так жили и дети ваши были всегда здоровы. Это я всё о себе рассказал, сам не знаю, зачем.

\*

Майор оглянулся по сторонам, рядом с ним на кладбище никого не было. На старое еврейское кладбище летом вообще мало кто ходит, это вам не Ланжерон, не Куяльник, тем более – не Аркадия. Он один сидит на деревянной лавчонке перед памятником, на котором две фотографии. На одной – Минна, его красавица супруга, со струящимися по плечам глуже чёрными волосами, глаз не отвести – хороша. Фотография вклеена в овал, обвитый золотой виноградной ветвью, внизу надпись, золотом по чёрному граниту – *Драгоценной супруге Минне Мойшовне Саперман (Ратнер)*, а ещё пониже и помельче: *Любовь моя*, без золотой обводки – сам выбил, очень старался, но перекосил слегка, первый раз всё же. Зато навечно выбил на камне слова, которые так за всю жизнь и не сказал своей Минне. Спроси кто-нибудь – почему, не объяснит.

В другом овале тоже с виноградным орнаментом – сынок единственный Генерал и золотые по чёрному буквы: *Генерал Майорович Саперман*, а чуть пониже, как у Мины, собственноручно выбил буквы помельче, уже одна к одной, рука потвёрже стала: *Геша, Генчик, сыночек мой*. И ещё один овал – без фотографии, под ним одно слово – *Рута*.

Сидит Майор перед памятником, сжав ладонями виски, глаза закрыты, рыжие волосы пробилла обильная седина, раскачивается взад-вперёд и что-то бормочет безостановочно. На еврейском кладбище так молитву читают, особенно если стоя, накрывшись талесом, в кипе или ермолке с молитвенником в руках. Но о Майоре такое вообразить может только случайно забредший на кладбище турист из другого города. В Одессе все знают: Майор – закоренелый атеист, марксист и материалист, коммунист, одним словом.

Не глядите, что из местечка в город пришёл, один, между прочим. Отец, мать, братья, сестры – никто тогда с места не тронулся, а ему пятнадцать лет не было ещё, матросом мечтал стать, капитаном дальнего плавания, море снилось по ночам, наши красные корабли, бороздящие мировые просторы. Мечтал капитаном – стал портовым грузчиком, еврейский мальчик Йорчик переоценил интернационалистические лозунги советской власти. Но от штетла, родины малой своей, отрёкся, не оглядываясь, местечковые штучки отмел от себя, как прах старого мира.

Но здесь, на старом еврейском кладбище, в окружении мёртвых соплеменников и своих родных

усопших, что-то снова переменялось в нём, в который уж раз. Зачем-то решил рассказать всем о своей семье и бормотал всякое, что в голову шло.

Начал вовсе невпопад – всё с того же анекдота: «Майор Саперман подорвался на Мине. Сапер ошибается один раз», усмехнулся горько и добавил: «Ну, здесь многие это знают, анекдот довоенный, с бородой. Раньше все смеялись. Теперь – наоборот: плачут. Смешного, правда, ничего нет: подорвался Майор, а погибла-то Мина. Я вот он – целехонький сижу, мне хоть бы хны, честное слово, чтоб вы все так жили. Тыфу, зарпортовался совсем, вы же покойники. Хотя кто его знает, где она, настоящая жизнь? Может нигде?».

Майор снова оглянулся. Нет, он не ждал ответа от костей, гниющих в гробах, и пепла в урнах, зарытых в землю, в своём всё же уме. Он просто чего-то ждал, хотя ждать ему было нечего. Дождался.

Даже вообразить себе не мог, что так всё обернётся. Был абсолютно уверен в себе и в своей правоте. Детей надо воспитывать и закалять, а всякие сюси-муси, бабские штучки терпеть не мог, но Мине не запрещал. Присягнул же – не обижать и, как ему казалось, держал слово неукоснительно. Видеть не мог, как она с детьми цацкается, облизывает, обкармливает, прихорашивает и выводит на прогулку, как на парад. То в театр, то в музей, то в зоосад. Каждый будний день – как на парад. Так и выходило – порознь: у него трудовые будни и суровое казарменное воспитание, а у них – сплошь праздники и свои, обособленные от него радости. И смех, и песни, и музыка. И никогда не призывали его поучаствовать, никогда.

Задевало Майора такое отчуждение, больно задевало, можно даже сказать – ранило. Он-то знал эту ноющую тягостную боль долго не заживающей гнойной раны. Ни днём, ни ночью покоя не было, зубами скрежетал, поэтому, наверное, на утреннем построении удержу не знал, отводил душу.

– Равняйся! Смиррна! Руки по швам! – орал истошно, злобясь на каждую мелкую оплошность перепуганных до смерти детей.

Ничего не замечал в злобе своей. Ни Рутино занкание, ни тик, ни то, как начала сучить руками, будто что-то всё время перебирала, ни как стала заговариваться, вдруг на ровном месте, будто спотыкалась обо что-то, только улыбку её подметил, странную блуждающую, как будто знакомую. А потом услышал, как детвора дворовая орёт ей вслед: «Рота-непутёвая-дурочка-из переулочка!». А то и просто: «Полоумная Рота!». Шутанул свирепо, но сам для себя никаких выводов не сделал. И выставял голый во дворе на всеобщее обозрение девочку с уже набухшими сосочками, тёмным пушком на лобке, она уже готовилась стать женщиной, а он не желал замечать это.

Зато видел и страдал от того, как отчуждается от него его маленький Генерал. Раньше хоть любил на закорках кататься и отцовские вихры дёргать. Слеза от боли прошибала, когда цепкой ручонкой выдёргивал сынишка клок волос, но именно в эти минуты Майор бывал счастлив, как никогда. Недолгим было счастье – мальчишка избегал его, ершился под его рукой, сушил брови, и всё жался к Руте, смотрел на неё с обожанием, с благоговением даже – как на святую. Даже мать так не любил, а уж про отца, говорить не приходится. Все, кому не лень, судачили по этому поводу, даже старый анекдот пробовали реанимировать: «Майор получил отставку от Генерала», а некоторые просто звали его «разжалованный Майор». Правда, никто не смеялся, давно ушёл цимес из любимого анекдота. Но всё равно – большей обиды у Майора Сапермана ни от кого не было.

Обижаться обижался, но принципов своих не изменил и даже совсем наоборот – всё строже становился и яростнее, чем только усиливал размежевание до полной уже необратимости.

Теперь он всё понимает, как-то вдруг открылось, будто мозги поменяли.

Тот последний день своей семейной жизни помнит до мелочей, рапорт готов написать с указанием всех подробностей. Да только кому этот отчёт представить? Господу Богу на Страшном суде, может быть? Впервые такая мысль пришла в голову Майору Саперману. Но он почему-то не удивился.

На утреннем построении солнце застило глаза, он жмурился, солнечные брызги перемешались с каплями воды, стекающими с Рутино тела, застывшего в мраморной неподвижности. «Как она хороша, – вдруг захлебнулся нечаянным восторгом Майор. – Красавица писаная, статуэтка фарфоровая. Как Мина, даже ещё краше!». От этих мыслей ему почему-то сделалось тошно, будто его обманули, как дурака несмышлёного, а он ничем ответить не может. А почему – и сам не знает.

– Стоять! – заорал он, – Рота непутёвая, будь ты трижды неладна. Руки по швам!

А она и так не шевелилась, даже не видно, чтобы дышала. Стояла – глаз не отвести, сердце зашло от непередаваемой какой-то муки, и он с размаху вылил на неё нештатное одиннадцатое ведро ледяной воды.

Вздрыгнула всем телом, согнулась, будто в ноги поклонилась, выпрямилась и посмотрела Майору не в глаза, нет, а глубже – туда, куда смотреть было нельзя, в самое запретное место. Он застонал невольно,



как будто смерть его на кончике иглы обнаружила дочка, как в сказке про Кощея Бессмертного.

– Непутёвая, говоришь? – сощурилась, презрительно, надменно. – Ты своё получишь, ещё пожалеешь. Отольются тебе мои слёзки, папулечка дорогой.

Очень чётко сказала, не заикалась, не дёргалась, не путалась. И медленно ступая по раскалённым плитам, пошла в дом, оставив во дворе свою одежду.

«Как прокляла, – подумал Майор. – Однажды это уже было со мной» «И с Рутой», – мелькнуло вдогонку. Его охватило недоброе предчувствие, сердце сжалось смертельной тоской, именно смертельной, он это отличал безошибочно – смерть стояла где-то рядом. Но чья?

Если бы он догадался! Если бы Господь Бог надоумил его, подсказал, всё пошло бы по-другому. Все.

Но Богу Всевышнему не было до него дела, как и ему, Майору Саперману, никогда не было дела до Бога. Тут они квиты на все сто. Только Бог ведь не меняла портовый, где один закон: баш на баш. Бог должен быть справедливым и милосердным. Не к нему, недостойному, нет ему никакого снисхождения, никакой милости и никакого прощения, а ко всем безвинным, из-за него пострадавшим в этой жизни, ко всем, кого любил и потерял навсегда. Ко всем – от Руты до Руты.

На работу он в тот день пошёл, неся тяжёлый камень в душе. Всё валилось из рук, он оглядывался по сторонам, вот как сейчас на кладбище, только сейчас ему ждаться нечего, а тогда дождался. Прибежала соседка из-за фанерной перегородки, Фаина, вдова Шайи-Лишаи, она бежала и на ходу рвала на себе волосы, как тогда, когда извещение на своего Шайю получила. Она рвала на себе волосы и что-то кричала диким голосом. Он понял – смерть пришла, и упал на колени и стал биться головой о землю. «Будь я проклят, – кричал. – Будь проклят!». Лоб разбил в кровь, его едва утихомирили, связать пришлось и успокоительный раствор влить в вену.

Пока с ним врач возился, Фаина в который уже раз рассказывала трагическую эту историю, люди всё подходили и подходили, а она повторяла и повторяла: «Миночка на Привоз пошла, Генчик играл с мальчишками, а Рута дома лепила свои фигурки пластилиновые, я заглядывала, чтобы проверить, как она там. Потом слышу – Генчика позвала, он в дом зашёл, а через какое-то время Рута вышла в сарафанчике и тапочках, в руках ничего не было, ну, я и подумала – погулять решила. Пошла к Генчику, чтобы спросить. А он чуть с ног меня не спиби, весь белый, фигурку какую-то в руки сует и кричит: «Она ушла! Ушла навсегда! Чтобы ему доказать, что непутёвая!». И помчался дальше. Встретил Мину по дороге с Привоза и всё рассказал, она сумки побросала, взяла его за руку и вместе побежали. Рута! Рута! – кричали, а трамвай не заметили... Оба, сразу, вместе... Ой, вэй из мир, ой! Она рвала на себе волосы и выла, выла, выла.

А Майор зачем-то считал капли, капающие в вену из банки, подвешенной к крюку лебёдки, сбивался и начинал снова считать. Потом он уснул, а проснулся уже когда два гроба стояли во дворе возле старого колодца под каштаном. В одном – его Мина, в другом – его Генерал. Он встал между ними и спросил тихо: «А Рута где?». Никто не ответил, и он больше не спрашивал, только озирался по сторонам, вот как сейчас на кладбище. Будто ждал чего-то. И слышал голос, который звал его: «Йорчик, Йорчик! Иди скорее сюда, не оглядывайся, Йорчик!».

Он всё же оглянулся. Йорчиком его звали только в давнем, забытом детстве. Здесь не было никого, кто помнил бы это имя или осмелился так назвать его. Родственники побаивались и недолюбливали Майора, друзей детства у него не было, да и вообще не было друзей. Даже Мина никогда не звала его Йорчик, в самые-самые интимные минуты, когда она отдавалась ему вся, и он вжимал её в себя так крепко, что она начинала задыхаться, она шептала: «Майор, дорогой, ты меня задушишь». А губы улыбались расслабленно, всегда улыбались.

Когда это было!

Теперь ему кажется, что он никогда не целовал эти мягкие припухлые губы, никогда не был близок с этой строгой, надменной неприступной женщиной. Она и в гробу была красива, тело всё искромсано, а лицо не пострадало. Он хотел поцеловать её последний раз, наклонился близко-близко, почти коснулся губами её губ – и не смог. Отпрянул, будто она оттолкнула его. И холодом повеяло мертвецким. Генерала поцеловать он и вовсе не мог, гроб был закрыт, на крышке лежала фотография. Он хотел поцеловать фотографию, но почему-то не сделал это. Ещё раз посмотрел по сторонам – все плачут навзрыд, уже обесслели, только он, Майор Саперман, не проронил ни слезинки.

«Йорчик, Йорчик! Иди скорее сюда, не оглядывайся, Йорчик!».

Он всё же оглянулся.

«Йорчик, Йорчик!».

Голос звенел хрустально и нежно, как колокольчик.

Господи, Рута. Рута-красавица. Рута-дурочка. Полоумная Рута. Его непутёвая Рота, самая слабая единица еврейского боевого расчёта.

– Рута, дочечка, рыбочка моя. Ты здесь, живая? А я вот тут сижу один с мамой и Гешей. Совсем один.

– Генерал, – сказала Рута. – Равняйся! Смиррна!

Она улыбалась весело и беззаботно, и гладила руками свой круглый живот.

О Боже, вот оно – его наказание.

Подошла поближе, обняла его сзади за шею, прошептала в самое ухо, внятно, разумно:

– Это мальчик, я знаю. Хочешь, мы его Генералом назовём? Так в загсе и запишем – Генерал Майорович Саперман. Хочешь? У тебя опять будет свой Генерал и своя непутёвая Рота. Я не обижаюсь, я ведь и есть непутёвая. Рута – святая. А я – непутёвая.

Майор вздрогнул, будто раскаленные иглы пронзили всё тело. От жгучей боли чуть не задохнулся.

– Дочечка, ты откуда про Руту знаешь?

– Мама рассказала, мы вместе с ней плакали. Жалко Руту. – Она потёрлась щекой о его небритую щеку. – А тебе жалко? – спросила и посмотрела ему не в глаза, нет, а глубже, как в тот, последний день, – туда, куда смотреть было нельзя, в самое запретное место.

И что-то случилось в этот момент с Майором Саперманом, сколько раз происходили с ним перемены, да всё тяжелее и тяжелее жить становилось. А тут, казалось бы, в самый последний момент к нему пришло освобождение – потоком слёз, долгим, мучительным, очищающим. Будто умер и заново родился, только по-настоящему.

– Жалко, дочечка моя, бедная моя Рута, жалко. А мальчика нашего мы Гешей назовем, Генчиком, Геннадием. Зачем нам с тобой Генерал?

– Ага, – радостно улыбнулась Рута и обеими руками погладила свой живот. – У нас есть Майор и одна непутёвая Рота. Еврейский боевой расчёт.

Встала перед ним, маечку с себя сдернула, руки по швам:

– Равняйся! Смиррна! И Генчик будет руки по швам, ты не волнуйся, папуля, он будет послушным мальчиком.

– Не надо, дочечка, не надо Рута, рыбочка моя золотая! – он прижал её к себе крепко-крепко. – Мы никогда не будем обливаться холодной водой. Никогда. Клянусь, чтоб мы так жили.

«Йорчик, Йорчик, иди сюда, не оглядывайся!».

Майор оглянулся. Рядом с ним никого не было.

# АЛЕКСАНДР СПАРБЕР

---

## ВЫСОКОЕ КОСНОЯЗЫЧЬЕ

\*\*\*

Исчислено, отмерено и взве...  
хоть волком вой, хоть стой на голове –  
там всё известно с самого начала.

Зачем, к примеру, появился я? –  
наверное, какого-то сырья  
(а может, компонента) не хватало.

И вот – я рос, учился и мужал  
и укреплялся мой материал,  
пройдя огонь, ну, и частично – трубы.

Ещё немного – и пора придёт  
мне отправляться на переработ...

С пометкою «естественная убыль»  
меня направят, видимо, туда,  
где мельницы тяжёлая вода  
перекрывает остальные звуки;

в тот дивный край, где всё наперечёт,  
и где предвечный Пуговичник ждёт,  
нетерпеливо потирая руки.

## CYPRUS COFFEE

я сижу за круглым столиком  
и пью кофе  
из маленькой чашечки  
маленькими глоточками  
и так ласково трогаю их губами, точно  
они мои детки:  
глоточек – сыночек  
глоточек – дочка  
а потом  
заливаю холодной водой –  
пусть закаляются

а с картин на стенах  
 ко мне сходят ушастые ослики  
 обступают и требуют:  
 дайте нам хлеба!  
 я протягиваю им хлеб,  
 пропитанный оливковым маслом и чесночком\*  
 и они снимают его с моей ладони  
 тёплыми мягкими губами

вечер. тихо. старики играют в нарды  
 на другой стороне улицы,  
 потягивая разбавленное вино  
 а я всё сижу за круглым столиком  
 и думаю  
 как, чёрт возьми, это всё-таки правильно:  
 пить кофе маленькими глоточками,  
 запивая холодной водой

—  
 \* garlic (англ.) – чеснок.

### ТРАВА-ВОДА

Трава-вода вода-трава и снова  
 дождь скачет миллионом круглых тел  
 и жалкое потерянное слово  
 скитается и плачет в темноте  
 в кротовые заглядывает норы  
 в мышьиные лазы и там в ночи  
 дурацкие заводит разговоры  
 об истине не надо помолчи  
 но ливень ливень пальцами косыми  
 отстукивает такт раз-два раз-два  
 но женщина но это имя имя  
 трава-вода трава вода трава

### ЛЕСУ

Ну, привет тебе, лес. Это я. Говорю, это я!  
 На минутку всего – ничего мне не надобно, кроме  
 разве что извиниться: вчера придавил муравья –  
 он теперь, бедолага, наверно, находится в коме.

Как спалось тебе, лес? Как стекала ночная смола  
 по столетним стволам, заживляя порезы и раны?  
 Как подрост твой подрост? Равномерно ль дышала земля,  
 И достаточно ль влаги она извлекла из тумана?

Исполать тебе, лес, исполать, исполать, исполать!  
 На полах твоих каждый день просыпается лето,  
 я с пеленок почти – ощущаю твою благодать,  
 и, чего тут скрывать? – я тебе благодарен за это.



Если б был я поменьше, живи я лет двести назад,  
если б не был я нем, если б верил хоть чуточку чуду, —  
я сказал бы тебе... я такое б, поверь мне, сказал...  
если бы да кабы... я б такое сказал!  
Но не буду.

### СНЫ

Глаза закрыты. Сон. Мне снится сон.

Дурацкий сон, в котором вижу кошку  
обыкновенную, простую кошку,  
что спит и мелко дёргает хвостом.

Она сопит. Ей снится пылесос  
и я, держащий штангу пылесоса...

Под веками глаза блуждают косо,  
едва заметно вздрагивает нос  
трепещут уши.

Это неспроста —  
труба кошачью втягивает душу  
вовнутрь, в мешок,  
где ждёт утробный Ужас,  
похожий на огромного кота.

И кошка просыпается во сне  
она кричит пронзительно — и будит  
меня.

Я говорю: «ну будет, будет...  
чего ты, киса? Не пугайся. Нет  
там ничего — одна сухая пыль,  
ну, видишь? — никого. Давай-ка бай»

Потом ложусь и снова засыпаю

...там пусто, пусто, пусто. только пыль...  
...да, только пыль, и больше ни черта...

а кошка на груди руладит тонко

Я сплю. Мне снится, что меня воронкой  
засасывает злая пустота.

### КРЫСЫ

Мы боялись их до смерти. До тошноты.  
Эти острые морды, босые хвосты...



и когда заползала во мраке  
 тварь голодная нагло кому-то из нас  
 на живот или грудь, да хотя б на матрас –  
 что за крик раздавался в бараке!

Мы же люди, начальник! Уж лучше убей,  
 лишь избавь, твою мать, от своих упырей!

Но зима просвистела одна лишь –

и теперь они ночью и днём – тут и там,  
 все шныряют, все бегают по головам –

нам плевать.  
 Ко всему привыкаешь.

### БЕСЫ

Изнутри крепостных построек,  
 из-за стен и глухих ворот  
 засвистит соловьём разбойник,  
 заложивши два пальца в рот.

И – пойдёт: боевым сигналом  
 над страной пронесётся свист, –  
 и ощерятся по подвалам  
 стаи бледных помойных крыс;

в час, когда все уснут – хвостами,  
 как бичами, стегая тьму –  
 они хлынут наверх ручьями –  
 разносить городам чуму;

и набрякнет бубоном туча –  
 из её глубины тогда  
 изольётся струей могучей  
 оцинкованная вода;

пропитают потоки эти  
 швы и внутренности земли –  
 и взойдут – словно травы – дети –  
 удалые богатыри;

возликуют: За наших, друже! –  
 и давай молотить сплеча –  
 а конями для них послужит  
 двухголовая саранча;

и закружатся ведьмы – в ступе,  
 в домовине, на помеле...

Что ж, пускай. Тем скорей наступит  
 Царство Божие на земле.



## ЛУНАТИК

Он идёт по карнизу за низкой луной.  
Где же, где его мозг обитает больной? –  
Кто он – зомби? Фанатик? Мечтатель?  
И с небес – Крысолова оживший гобой –  
направляет его и ведёт за собой  
неуспешной луны излучатель.

Он идёт по карнизу, по хлипкой доске...  
Что живёт в воспалённом его мозжечке?  
Что, как птица, в висках его бьётся?  
Напряжённа спина и закрыты глаза,  
И ни тронуть его, ни окликнуть нельзя –  
упадёт, дурачок, разобьётся.

И всё кажется мне, что – кричи не кричи –  
миллионы лунатиков бродят в ночи –  
я стою и гляжу на них снизу.  
Десятимегагонная светит луна,  
и под ней, не проснувшись, большая страна  
всё идёт и идёт по карнизу.

## СТЕПНОЕ

В степной полевойной суховыли,  
где наши древние растили  
детей, коней, пасли коров,  
где бык чесал язык о прясло  
и расшивал орёл прекрасный  
небес покров;  
где каждый стебель сух и тонок,  
кузнечик долог, звонок зной  
и воздух жарок, как ребёнок  
больной;  
где бродит – с острым ликом птичьим,  
с котомкой, полной ох и ах –  
высокое косноязычье  
на костылях;  
где пахнет горечью и мятой,  
где суховой дудит в дуду, –  
там, кажется, я был когда-то...  
Или приду.

# ВЛАДИМИР МЯЛИН

---

## «ВНИЗ ПО ГОРКЕ ЛЕДЯНОЙ...»

### В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКАТУЛКЕ

В шкатулке музыкальной –  
Позёмки ли, пурга –  
Синеет город дальний,  
Дорога далека.

Идёт, идёт Маревна,  
Цигеечка на ней.  
– Ой, милая царевна,  
Ты, вправду, всех милей!

Дворы и скоморохи,  
Афиши и дома,  
«От этакой дурёхи  
Ей-ей сойду с ума!»

Снега, снега и вата  
Рассерженных домов:  
«У ней ума палата:  
Не тывкай, скоморох!

Ты не свисти напрасно:  
Маревна так мила,  
Маревна так прекрасна,  
хотя в гробу спала...»

Тут лопнула пружина,  
И вьюга закружила...  
И механизм затих  
В шкатулочке у них.

### ТРИ ЧЕЛОВЕЧКА

Где медлит на горке местечко,  
Потом убегает в овраг, –  
Там встретились три человекка,  
И третий двум первым не враг.



Не враг и второй этим прочим,  
Вошедшим в нетрезвый союз.  
И первый, как смуглые ночи,  
На чёрных кудряшках – картуз.

Он нежную сливу мусолит:  
Он выдохнул пар спиртовой.  
И третий тоску свою солит,  
И сахарит речи – второй.

А завтра проснётся местечко,  
Очнутся от хмеля друзья –  
И скрипка споёт, как сердечко,  
Как Ривка, бывало, моя.

\*\*\*

Кремль бревенчатый, белый –  
и красный.  
Я погиб от набегов татар.  
Я погиб тяжело и напрасно,  
став струной легкоперстных гитар.

Став руками – и, снега отважней,  
белый свет накрутил на колки.  
И бойницы, и ставни, и башни  
отбелели –  
и стали легки.

### МОСКВА ПОДВОДНАЯ

Столица тронулась – плывёт,  
Подземные минуя реки.  
В неё Москва-река течёт,  
Неглинка капает в прорехи...

Она бульжным кораблём,  
Бросает якорь у заставы.  
И всё вздыхает о своём –  
Во славу водных державы.

Стоят на палубе цари  
И думу думают, вздыхая.  
Фонарь на мачте не коптит,  
И площадь Красная – другая...

Наместо башен и стены –  
Долины рыбные эфира...  
Лишь купола церквей ясны,  
Да блещут – царские порфиры.



## С МОСТА

Ничего нет грустнее и ближе  
 Потемневших метельных путей.  
 Огонёк, тепловозиком движим,  
 Приближается к жизни моей.

Одинокая фара желтеет  
 Сквозь пургу, как единственный глаз.  
 И журчит маневровый за нею,  
 И поёт, как в последний свой час.

В темноте засветился рабочий,  
 Что-то чинит, кого-то зовёт...  
 Погаси свои жёлтые очи! –  
 Нет пути тебе больше вперёд.

Возвращайся по рельсам обратно –  
 Жизнь твоя в перекатном огне...  
 Поиграли, попели мы складно –  
 Полно! будет тебе – да и мне.

## НА КАТАНИЕ С ЛЕДЯНЫХ ГОР

1.

Голые вёглы за зиму в ответе.  
 Катятся с горок весёлые дети –

Тот на фанерке, а тот – на пластмасске.  
 Пялят берёзы чернявые глазки –

Как из бумаги их белая плоть...  
 Скоро в овчарне родится Господь.

2.

Вниз по горке ледяной  
 Чудо-саночки скользят.  
 Над весёлой ребячнёй  
 Гули-голуби летят –  
 Гули-гули, ой люли –  
 От оснеженной земли.

Скоро,  
 Скоро народится  
 В бледных ясельках Христос...  
 У детей краснеют лица,  
 Щиплет за нос их мороз.

Пролетают вверх и мимо  
 Почерневшие стволы,  
 И волы мычат, незримы,  
 Средь забавы и игры.



---

Овцы блеют  
И козлята;  
Пар пускают мудрецы...  
С горок катятся ребята,  
Строят крепости, дворцы.

Ставят снежные заставы,  
Разбивают комья в прах...

Небо катится в канаву  
На полозьях и коньках.

# АЛЕКСАНДР РУДНЕВ

## У ЧУКОВСКОГО В ПЕРЕДЕЛКИНЕ

### мемуарный очерк

Я видел Корнея Ивановича Чуковского единственный раз в жизни, тёплым августовским днём 1967 года, когда меня, четырнадцатилетнего подростка, мой отец, П.А. Руднев, понемногу входивший в известность как филолог-стиховед и готовившийся защищать кандидатскую диссертацию на тему «Метрика Александра Блока», взял меня с собой в Переделкино, в Дом творчества, в гости к отдыхавшему там ленинградскому литературоведу С.А. Рейсеру. В Доме творчества нас в столовой угощали обедом, и в это время туда неожиданно вошёл высоченный, довольно стройный, совершенно седой 85-летний старик, одетый в полотняную рубашку и пижамные штаны, которые он, как я потом заметил, беспрестанно подтягивал. Лицо его со всем известным огромным носом было несколько бледное, отёчное и утомлённое. Раскланявшись с находившимися там людьми, он, увидев Рейсера, с которым был знаком очень давно – по Ленинграду, с тридцатых годов, подсел к нам за стол (вскоре ему принесли кефир, который он всегда там пил), и Рейсер представил ему отца.

– Очень рад, – сказал Чуковский и что-то добавил ещё тонким, несколько вкрадчивым голосом с непередаваемым, только одному ему присущим одесско-петербургским произношением. Я во все глаза разглядывал знаменитого писателя, о котором столько слышал и читал, видел множество его фотографий, а теперь вот он, живой классик, сидит передо мною за столом. Впечатление, помнится, было колоссальным!

– Сколько вашему сыну лет? – спросил он у отца и, услышав, что четырнадцать и что мальчик много читает, прочитал почти всю русскую классику, многочисленные мемуары, знает на память много стихов, одобрительно и немножко лукаво посмотрел на меня и сказал: – Ну, прямо вундеркинд, вы подумайте. А со сверстниками общаешься? Надо больше озорничать, шкодничать, а не только читать книги. – И вдруг добавил совершенно неожиданную вещь: – Вы знаете, я ужасно не люблю детей. Дети бывают страшно жестокими. Вот недавно я слышал такие, с позволения сказать, детские стихи: *«Идёт старушка во сто лет, А за ней мотоциклет. Он наехал на старушку, И старушки больше нет»*. Они не думают о том, что она мучилась перед смертью от боли, что ей тяжело было умирать. Удивительная жестокость!

Потом разговор происходил, по-видимому, общий – речь шла об общих знакомых ленинградцах – профессоре Б.Я. Бухштабе, который в молодости был секретарём у Чуковского, Б.М. Жирмунском, И.Г. Ямпольском, о ком-то ещё. Говорили о современных некрасоведческих работах, и Чуковский заметил по поводу статей Бухштабе что-то в таком роде, что, мол, они исчерпывающим образом иногда представляют тему, что это настоящий учёный, но сказал при этом, что обижен на него за какую-то довольно резвую полемику с ним по проблемам некрасоведения. «А когда-то был такой скромный, воспитанный молодой человек», – добавил Корней Иванович. Затем разговор обратился к диссертации отца о стихе Блока, и Чуковский говорил, кажется, о том, что поэтику Блока изучали плохо и поверхностно, он сам когда-то в книге «Александр Блок как человек и поэт» пытался исследовать его рифмы и ритмы, но это не вполне ему удалось. «А теперь молодые учёные, вооружённые новой методологией, могут это сделать успешно. В скобках замечу, что около года спустя, в 1968 году, диссертация П.А. Руднева была с треском провалена на защите в Московском педагогическом институте имени Ленина. Его обвинили в формализме, во всех смертных грехах и проголосовали против присуждения учёной степени. Однако в следующем, 1969 году он успешно защитил диссертацию в Тартуском университете, первым оппонентом на защите выступил академик В.М. Жирмунский. Отец послал автореферат К.И. Чуковскому и интересовался потом (не без доли наивности), сохранился ли он в его библиотеке. Впоследствии мне никто из обитателей дома Чуковского – ещё да того, как он стал музеем – не мог ничего определённого ответить на этот вопрос, но, по всей видимости, он едва ли мог там уцелеть, так как Чуковский, по позднейшему свидетельству



В.Н. Чувакова, часто не хранил даже подаренные ему книги. Если они становились ему не нужны, он их просто выбрасывал. Так, в библиотеке Чуковского не оказалось подаренных ему составителем В.Н. Чуваковым 65 томов «Литературного наследства», в котором опубликована переписка А.М. Горького с Леонидом Андреевым, и пьес Л. Андреева, выпущенных в издательстве «Искусство» в 1959 году. Затем в этот же достопамятный день отец заставил меня прочитать в присутствии К.И. Чуковского наизусть почти всю поэму А.К. Толстого «Сон Попова», которая как-то сама собой запомнилась мне. Правда, читая, я очень торопился и комкал слова.

– Молодец! – сказал Корней Иванович, – ваш сын – явно будущий филолог. – И ласково потрепал меня по голове. Прощаясь и уходя к себе домой (мы тоже собирались уезжать), Чуковский заявил, что кто-то едет сейчас в Москву на машине и мы поедем вместе с ними. Отец стал вежливо отказываться, но Чуковский был непреклонен: – Нет, поедете!

Вскоре действительно на улице неподалёку от Дома творчества мы увидели старый «Москвич», в котором сидели молодой человек и молодая женщина.

– Вот, возьмите их с собой, это очень хорошие люди! – И его высокая фигура в пижамных штанах, с палкой в руке, скрылась за поворотом улицы Серафимовича. Впоследствии я много раз бывал в переделкинском доме Чуковского много времени спустя после его ухода из жизни, по различным случаям, в том числе и однажды с целью посмотреть книги из его библиотеки, связанные с Леонидом Андреевым. И всякий раз ярко всплывала в памяти эта буквально подаренная судьбой встреча тем давним августовским днём. Дочь М.Л. Лозинского, Наталья Михайловна Лозинская-Толстая, вспоминала, как они с мужем Никитой Алексеевичем Толстым, которого Чуковский знал с пятилетнего возраста, навестили его летом 1969 года, за два или три месяца до кончины. Чуковский проводил их до калитки своей дачи и долго смотрел им вслед, как бы прощаясь навсегда. Видимо, чувствовал, что видит знакомых в последний раз. В разное время и от разных людей, знавших Чуковского, я много слышал о нём. Так, известный исследователь творчества Леонида Андреева, уже упомянутый В.Н. Чуваков, побывавший в гостях у Чуковского ранней осенью 1966 года (об этом есть запись в опубликованном дневнике Чуковского (вместе с приезжавшим тогда из Швеции сыном Л. Андреева, Вадимом Андреевым, который шутил говорил о Чувакове: «Это страшный человек. Он знает о нашей семье больше, чем мы сами»), рассказывал, что Чуваков, искавший тогда литературоведчески образованного и работающего секретаря, внимательно присматривался к нему. И вскоре предложил ему эту «должность», убедившись в том, что это очень знающий, дотошный исследователь-архивист и порядочный человек. До этого Чувакова ему рекомендовал литературовед А.В. Храбровицкий, всю жизнь занимавшийся творчеством В.Г. Короленко. Чуваков выразил полное удовольствие от такого предложения, но впоследствии всё же отказался от него по причине затруднительности каждодневных поездок из Москвы в Переделкино и из-за нежелания оставлять работу в ИМЛИ. Но перед этим всё-таки приезжал в Переделкино для переговоров, был там приглашён к обеду. На столе находились водка, коньяк и что-то ещё. Чуковский осведомился, не желает ли он выпить (очевидно, проверяя, пьющий человек или нет). Чуваков отказался. А затем Чуковский повёл его и других, оказавшихся в тот момент в доме гостей и посетителей (среди них была некая пожилая редакторша из какого-то издательства) в находившуюся рядом с дачей детскую библиотеку – это было обязательным правилом для всех посетителей. Все должны были смотреть, как Чуковский, одетый в костюм индейского вождя, шалит с детьми, бегая, прыгая и катаясь по полу. Все хлопали в ладоши и восхищались. По всей видимости, в таком поведении Чуковского был не только театральный элемент, но и ещё некоторый элемент некоего старческого сдвига, что подтверждается и другими аналогичными свидетельствами. А Олег Михайлов, близко знавший Чуковского в течение ряда лет и состоявший с ним в переписке (их знакомство началось с того, что Чуковскому понравилась статья молодого талантливого критика «Стиль, отвечающий теме» о его книге «Мастерство Некрасова», опубликованная в ноябрьском номере «Нового мира» в 1958 году. Чуковский назвал её в письме к литературоведу Ю.Г. Оксману «прелестной» и при этом отметил, что «сам Михайлов ещё лучше своей статьи»), рассказывал, как он, спросив однажды у Чуковского: «Корней Иванович, а почему вас не посадили?», услышал в ответ: «Потому что я всегда ложился спать в девять часов». А как-то разговор зашёл о большевистских деятелях, и Олег Михайлов сказал что-то об их жёсткости, нетерпимости, ортодоксальности. Чуковский возразил ему на это, что, напротив, они, по его мнению, были во многом романтиками (это суждение, очевидно, нельзя принимать за чистую монету, так как известно, что Чуковский ненавидел советский строй и его главных деятелей, и в его доме было одно время, можно сказать, своего рода диссидентское гнездо). Теперь, во многом благодаря Дому-музею в Переделкине (в своё время этот дом разрушался прямо-таки – на глазах), подвижнической деятельности



внучки Чуковского, Елены Цезаревны Чуковской, осуществляющей очень полное и всестороннее издание его литературного наследия, эта необычайно колоритная фигура и «добротного сказочника», и язвительного, ядовитого, «отрицательного» критика, бывшего всегда наотмашь, историка литературы и переводчика, в котором всегда чувствовался прежде всего писатель (не случайно одна из его дореволюционных книг имеет название «Критические рассказы»), единственный в своём роде мемуарист, непростой человек, не всегда бывавший искренним и доброжелательным, не тускнеет со временем, а напротив, высветливается новыми гранями. И в его очередную годовщину мы остро ощущаем, что он «живой как жизнь».

# ЕКАТЕРИНА АВГУСТА МАРКОВА

---

## Я ЗВАЛ ТЕБЯ

эссе

«Дневник, написанный стихами» – так определял Александр Блок свои книги. Начинается любовная лирика Блока со стихов, посвящённых К.М.С.

*В такую ночь успел узнать я,  
При звуках ночи и весны,  
Прекрасной женщины объятья  
В лучах безжизненной луны.*

Шестнадцатилетним мать привезла его в курортный немецкий городок Бад-Наугейм. Там случился роман со взрослой женщиной, ровесницей матери, у которой к тому времени было уже трое детей, Ксенией Михайловной Садовской. После близости у юного Блока появилось сознание взрослости и чувство «сладкого отвращения»...

Первая любовь вдохновила его на прекрасные стихи и довольно наивные письма: «Ты для меня – всё; наступает ночь, Ты блестяшь передо мной во мраке, недосыпаемая, а всё-таки всё моё существо полно тогда блаженством, и вечная буря страсти терзает меня»... «...несравненная роза юга... мгновенным порывом страсти...» и т. д., и т. п. Какой гимназист не сочинял нечто похожее?

«С января уже начались стихи в изрядном количестве. В них – К.М.С., мечты о страстях...» – так писал Блок в Дневнике 1918 года, вспоминая минувшее двадцать лет назад.

*Памнишь ли город тревожный,  
Синюю дымку вдали?  
Этой дорокою ложной  
Молча с тобою мы шли.*

Он бродил под её окнами под дождём, умолял хоть на время забыть детей в его объятьях, встречались они в маленьких гостиницах.

Но в августе 1898 года возникла новая, главная любовь – Любовь Дмитриевна Менделеева. Первое время его чувство двоилось:

*Любви и светлой, и туманной  
Равно изведаны пути...*

Выбор сделан душой в пользу Л.Д.М. Встречи с Садовской всё-таки продолжались до 1899 года. В тягостную пору жизни Блок снова оказался в Бад-Наугейме (1909 г.) и всё вспомнил:

*Иль первой страсти юный гений  
Ещё с душой не разлучён,  
И ты на веки обручён  
Той давней, незабвенной тени?..*



Был написан цикл любовной лирики «Через двенадцать лет».

Подмосковное имение Бекетовых-Блоков Шахматово находится в нескольких верстах от Боблово – имения Дмитрия Ивановича Менделеева. «*Пропадая на целые дни – до заката, он очерчивал всё большие и большие круги вокруг родной усадьбы, всё новые долины, болота и рощи, за болотами опять холмы, и со всех холмов. То в большем, то в меньшем удалении – высокая ель на гумне и шатёр серебристого тополя над домам... вдруг дорожка в лесу, он сворачивает, заставляет лошадь перепрыгнуть через канаву, за сыростью и мраком виден новый просвет, он выезжает на поляну, перед ним открывается новая необычная незнакомая даль, а сбоку – фруктовый сад. Розовая девушка, лепестки яблони...*». Такую прозу писал Блок уже перед смертью (июль 1921 года). Так когда-то начиналась Прекрасная Дама...

Первое стихотворение в первой книге, названной Корнеем Чуковским большим молитвенником, было:

*Я прошёл под окно и, любовью горя,  
Я безумные речи шептал...  
Утро двигалось тихо, вставала зоря,  
Ветерок по деревьям поржал...*

В усадебном театре ставили «Гамлета». Менделеева – Офелия, Блок – Гамлет. Здесь, в костюмах шекспировских героев, они смогли, наконец, дать знак друг другу о самом сокровенном, непроницаемом... На следующий день было написано «Воспоминание о “Гамлете” 1 августа в Боблове». В молодой лирике Блока «Гамлет» занял значительное место. В поздней лирике «Гамлет» явился снова, уже вообразивший в себя весь трагизм двух судеб – Л.Д.М. и Блока.

*Я – Гамлет. Холодеет кровь,  
Когда плетёт коварство сети,  
И в сердце первая любовь  
Жива – к единственной на свете.  
Тебя, Офелию мою,  
Увёл далеко жизни холод.  
И гибну, принц, в родном краю  
Клинком отравленным заколот.*

В юности Блок мечтал стать актёром. Но по детской правдивости своей души из каких-то ролей он не мог выйти годами.

Катехизисом его ранних лет было учение Владимира Сергеевича Соловьёва о Софии Премудрости, Мировой Душе, Вечной Женственности, Деве радужных Ворот. Единая внутренняя природа мира есть Мировая Душа, которая обновит и спасёт мир в последние времена.

Блок с немецкой аккуратностью впустил в свою русскую душу учение философа, он боготворил поэзию Вл. Соловьёва: «*Знайте же: Вечная Женственность ныне / В теле нетленном на землю идёт. / В свете немеркнущем новой богини / Небо слилось с тучиною вод.*»

Племянник философа и сын известного математика Борис Бугаев (в будущем Андрей Белый) вместе с Блоком составили мистическую группу соловьёвцев «Аргонавты». В стихах Блок, подобно Данте или немецким романтикам, обожествовал румяную, здоровую живую девушку, Любу Менделееву.

*Склонюсь главою молчаливо  
К твоим ногам.  
И буду слушать приказанья  
И робко ждать...*

«Аргонавты» избрали Блока своим пророком.

В девических мечтах Люба думала о земном счастье, «но никогда не заблудились мы в цветущих кустах...». Так писала она в воспоминаниях.

Свадьба была с соблюдением всех старинных обрядов... Но – дальше Л.Д.М. так и осталась Женой с большой буквы. В начале века молодёжь, особенно экзальтированные девушки мечтали о таком духовном браке, как у Блоков – это даже отражено в романе Пастернака «Доктор Живаго». А каково было



Менделеевой? За обеденным столом в Шахматове «Аргонавты» – соловьёвцы всматривались в каждое её движение, находя в них высший смысл, и многозначительно переглядывались.

Блок внушил Любове Дмитриевне, что близость их не должна быть сведена к «вульгарным формам». Сергей Соловьёв рассуждал об Афродите небесной (Афродита Урания) и площадной (Афродита Пандемос), о «драконе похоти», о тёмной стихии астартизма. Допустима только белая любовь Иоаннова». Блок внушал ей, что астартические отношения с другими возможны, но они ненадолго, и не могут поколебать гармонии их союза... «А – я?» – «И ты так же» (*т.е. Можешь себе позволить астартизм на стороне...*). Конечно, не так прямолинейно, а с упоминанием Сверхбытия, и «непознанного, Исходящего от Вас».

«Стихи о Прекрасной Даме» – шедевр всемирный, но какой ценой...

В письмах он писал «*Я злюсь на тех, кто не Ты, Ангел Светлый, Ангел Чистый, моя Судьба, моё Всё*». Она восхищалась им, пыталась смириться с **таким** браком.

В домашней жизни Блок был аккуратен до болезненной стерильности. Его спрашивали «Почему?». Отвечал: «Не хочу выпускать хаос в гармонию». При этом он мог напиваться до бесчувствия в грязных кабаках, приглашать в номера женщину «с Невского»... (Горький передавал рассказ проститутки, которая заснула на руках у Блока: «...*красивый, на иностранца похож*». Блок не стал её тревожить, пожалел, оставил 25 рублей). Из кабацкого хаоса вырос образ Незнакомки.

В «Русской идее» у Н.А. Бердяева есть мысль о том, что у русских нет промежуточного между ангелом и диким зверем. То же у Ф.М. Достоевского – Мышкин и Рогожин – посередине – нечто уродливое.

Блок эстетически не принимал благополучия. Благополучие не может быть прекрасным по Блоку.

*Пускай зовут: забудь, Поэт!  
Вернись в красивые уюты!  
Нет! Лучшие сгинут в стуже лютой!  
Уюта – нет. Покоя – нет.*

Близкие люди страдали. Он жалел тех, кто попал в его орбиту. Не попасть было трудно (Как вспоминает Чуковский, за всю свою долгую жизнь он не встречал в человеке такого магнетизма).

Любовь Дмитриевна не выдержала мучительной жизни. У неё были встречи, влюблённости, связи – «брошена на произвол всякого, кто стал бы за мной ухаживать» (Андрей Белый, Чулков, молодой украинец «паж Дагоберт», от которого она родила сына Дмитрия. Блок принял ребёнка, хотел усыновить, но он прожил несколько дней). Обо всём сообщила Блоку, он просил об этом, страдал, писал:

*Но час настал, и ты ушла из дому.  
Я бросил в ночь заветное кольцо.  
Свою судьбу ты отдала другому,  
И я забыл прекрасное лицо.  
Летели дни, кружась проклятым роём...  
Вино и страсть терзали жизнь мою...  
И вспомнил я тебя пред аналоем,  
И звал тебя. Как молодость свою.*

Любовная лирика – лирика и о России. Обращение к Жене переходит в обращение к Родине. Знаменитое – «И вечный бой. Покой нам только снится» звучало первоначально:

*И вечно – бой! И вечно будет сниться  
Наш мирный дом.  
Но – где же он? Подруга! Чаровница!  
Мы не дойдём?*

Современникам казалось, что Александр Блок может ответить на главные вопросы уходящей России, в стихах его прозревалось знание **тайны**. . . Над гробом Михаила Врубеля, с которым у Блока много общего, он говорил о смысле творчества: «*Все дни и все ночи налетает глухой ветер из тех миров, доносит обрывки шёпотов и слов на неизвестном языке; мы же так и не слышим главного. Гениален, быть может, тот, кто сквозь ветер расслышал целую фразу, сложил слова и записал их, мы знаем не много таких записанных фраз...*». Блока всю жизнь

мучили «детские» вопросы – о вечности, о любви и смерти... Он каменел от разговоров о злободневной политике так же, как от изрядного количества выпивки.

Мнится, что Александр Блок, подобно русским юродивым (явление присущее только России), ночевавшим прямо на снегу, на паперти босиком, – своей судьбой изломанной, ожиданием катастроф показывал грядущее скорбное России в XX веке...

Шли годы. Блок возвращается в театр, он пишет пьесы. Знакомится с Комиссаржевской, Мейерхольдом. Влюбляется в актрису Волохову Наталью Николаевну... К слову сказать, Блок видел существенную разницу между «любить» и «влюбляться».

Мария Александровна Бекетова. Сестра матери Блока (кстати, надо упомянуть, что Блок считал, что он и мать – одно. Об их сверхмистических отношениях много написано) со слов матери записывает в Дневнике: «*Саша хочет жить отдельно от Любы*» (4 февраля), «*Волохова не любит Сашу, а он готов за неё всюду следовать*» (15 февраля). «*Волохова полюбила Сашу*» (12 марта).

Андрей Белый так описывает Наталью Николаевну – «*Волохова – очень тонкая, бледная и высокая, с чёрными, дикими и мучительными глазами, с руками худыми и узкими, с очень поджатыми и сухими губами, с осиной талией, черноволосая, во всё чёрном...*». Далее он пишет, что Александр Александрович её побаивался, почтительно выполнял команды, что в ней присутствовало нечто «тёмное». В «Снежной маске» и в «Фаине» – тонкие чары тёмной женщины. Образ двойится с одной стороны: «*Одна Наталья Николаевна русская, со своей русской “случайностью”, не знающая, откуда она, гордая, красивая и свободная*» (Дневник Блока). С другой стороны: «*Когда гляжу в глаза твои глазами узкими змеи и фуку жму, любя, эй, берегись! Я – вся змея! Смотри: я миг была твоя, и бросила тебя!*». Вспоминаются женщины Достоевского.

Забавен ответ на известную книгу Бебеля «Женщина и социализм», иллюстрирующий несовместимость Блока с любой «политикой». Бебель возмущался неравенством женщин. Блок спорит с ним:

*Ты говоришь, что женщина – раба?  
Я знаю женщину. В её душе  
Был сноп огня. В походке – ветер.  
В глазах – два мира скорби и страстей.  
И вся она была из лёской персти –  
Дрожащая и гибкая. Так вот [...]  
Она могла убить –  
Могла и воскресить. А ну-ка ты  
Убей, да воскреси потом! Не можешь?*

Это тоже вдохновлено Волоховой.

Фаина – русская национальная стихия. Волохова разве что на сцене могла воплотить этот символ...

Снова Блок возвращается к жене: «*Нам необходимо жить вместе и говорить много, помогать друг другу. Никто, кроме тебя, не поможет мне ни в жизни, ни в творчестве*».

*Что, если я замороженный,  
Сознания оборвавший нить,  
Вернусь домой уничтоженный, –  
Ты можешь ли меня простить.*

Всё-таки душой он был с ней. Умирал на её руках и матери – таких разных и близких ему женщин. Задышался и всё время спрашивал одно и то же, все ли экземпляры «Двенадцати» уничтожены? Страшился, что уцелеет хоть один экземпляр... Тайна. Может быть, гениальный ученик Владимира Соловьёва когда-то принял Антихриста за Христа, и это его убило?

Оптинский старец Нектарий после смерти Блока просил успокоить мать, мол, «Александр уже в Раю...»

Но речь о любовной лирике. Последняя сильная влюблённость Александра Блока отражена в Цикле «Кармен». В феврале 1914 года, незадолго до Катастрофы России, Блок был в опере. «Пела Андреева-Дельмас – моё счастье», – записал он в своём Дневнике.



*О, не впервые странных встреч  
Я испытал немую жуткость!  
Но тихих нервных рук и плеч  
Почти пугающая чуткость...*

.....  
*И сердцу суждено беречь,  
Как память об иной отчизне,  
Ваш образ, дорогой навек...*

Цикл «Кармен» был задуман до романа с Любовью Дельмас... Блок искал в обыденной жизни подтверждение существования иной отчизны, где всё пошлое сгорает в настоящей духовной страсти, в которой человеку дано ощутить и землю, и звёзды... «Страстная бездна, и над ней носятся обрывки мыслей о будущем», «Золотой, червонный волос... – из миллионов единственный», «Я ничего не чувствую, кроме её губ и колен», «Она приходит ко мне, наполняет меня своим страстным дыханием, я оживаю к ночи...».

Но всё кончено. Уже 31 августа 1914 года Блок пишет:

*Была ты всех ярче, верней и прелестней,  
Не кляни же меня, не кляни!  
Мой поезд летит, как цыганская песня  
Как те невозвратные дни...*

В 1915 году снова короткая встреча с Л.А. Дальмас. На издании «Соловьиного сада», подписанного ей – надпись рукой Блока: «Той, которая поёт в соловьином саду».

*Подурнела, пошла, обернулась,  
Воротилась, чего-то ждала,  
Проклинала, спиной повернулась  
И, должно быть навеки ушла...  
Что ж, пора приниматься за дело,  
За старинное дело своё, –  
Неужели и жизнь отшумела,  
Отшумела, как платье твоё.*

# «ЛИТМУЗЕЙ»

## О ЛИЧНОСТИ И ПОЭЗИИ В.П. ФИЛАТОВА

Академик Владимир Петрович Филатов (1875-1956) и сегодня окружён солнечным ореолом доброй известности – столько спас от слепоты, столько вернул зрение, столько обучил тайнам врачевания, столько открыл дотоле неведомого... Масштаб его личности был Ренессансный... Широтой творческих и научных, исследовательских, изобретательских интересов он напоминал титанов эпохи Возрождения. Что касается живописи и поэзии, к которым он был склонен с детства, то оба эти увлечения были для него раскрытием ещё одной глубины, к которой звала его страстная и деятельная душа. Он всё время находился в непрестанном научном и эстетическом поиске.

Духовному началу Владимир Петрович придавал решающее значение, был православно религиозен. Прекрасно понимал, что человек – не исключительно телесное существо, хотя основным занятием его жизни было врачевание именно тела, его тканей...

Вот что он писал канонизированному впоследствии архиепископу Луке (В.Ф. Войно-Ясенецкому), хирургу-священнику: «Я нередко задумываюсь над вопросом о том, почему жизнь моя так продлена. Вероятно, мне нужно ещё поработать на земле либо по науке, либо над самим собой. Думаю, что скорее – это последнее. Но это для меня труднее, чем наука. Мое душевное состояние можно охарактеризовать словами сотника: верю, Господи, помоги моему неверию!

И я плохо перевоспитываю самого себя, своё тело земное, а оно и в мои годы всё ещё подвергается искушениям и грешным желаниям. Отсюда и моё вечное недовольство собою. Нередко прошу Господа об исцелении и часто пребываю в унынии, возвращаясь на старые навыки. Научное творчество у меня остаётся, но разве оно спасёт меня, если я не буду очищен душевно!»...

В сокровенный близкий круг Владимира Петровича входила вокальный педагог Анастасия Васильевна Теодориди, ясновидящая, чьи ученицы говорили, что она живёт одновременно в двух мирах. Служебную машину Владимира Петровича видели у дома Теодориди и тогда, когда ему предстояла особенно трудная операция...

И отца моего, тогда ещё молодого, но уже известного певца, он тоже возил к Анастасии Васильевне...

С Артуром Айдиняном он познакомился, когда ездил в Армению, – там он обвенчался в Эчмиадзине с Варварой Васильевной Скородинской, навестил своего коллегу Б.Н. Мелик-Мусьяна. Этот армянский профессор-офтальмолог представил ему будущего героя фильма «Сердце поёт». У певца оказался пигментный ретинит, болезнь древних армян, осложненный травмой – ударом, который он получил во время войны, когда на родине, в Греческом Королевстве, был участником Сопротивления. Артур Айдинян по приглашению Филатова приехал лечиться в Одессу. Из порта его повёз на своей «Победе» капитан теплохода «Грузия» Э.С. Гогитидзе, хорошо знавший академика. Гогитидзе восхищённо рассказал о дивном голосе певца, и Филатов тут же попросил спеть. Прося исполнить всё новые песни, большей частью итальянские, Владимир Петрович столь увлёкся, что отмахивался от настойчиво следовавших напоминаний, что его ждут, что надо идти на научную конференцию... Кончилось тем, что он взял Артура с собой и тому пришлось спеть учёным-медикам небольшой концерт. Так причудливо началась та научная конференция... Стоит ли говорить, что певец тут же был принят на лечение... Владимир Петрович сделал ему две операции, первая была особенно удачной.



Они с академиком очень подружились, переписывались. Артур Айдинян стал сначала Заслуженным, потом Народным артистом Армении. Его известность в 1950-60-е годы была всесоюзной, голос постоянно звучал по радио и телевидению. Об их дружбе сказано и в одной из книг, посвящённых Институту Филатова – «Институт Света». В художественном цветном музыкальном фильме «Сердце поёт» (1956), снятом по мотивам судьбы артиста, операцию герою делает ученица академика Крылатова, – так Филатов назван в фильме, где Одесса волею режиссера Г. Мелик-Авакьяна превратилась в родной город Артура, Салоники, романтизированный конечно, как и весь фильм...

Однажды у Артура Айдиняна состоялся в Одессе концерт в Доме учёных, – на улице же бушевала снежная буря, настоящий буран. Не все любители вокала смогли прийти в тот вечер, но Владимир Петрович всё равно приехал... После концерта в час ночи в массивную дверь подъезда дома на улице Пироговской, где певец останавливался у родителей жены, Л.Т. Гладковой, раздался звонок. К удивлению открывших на бурной улице стоял личный шофёр академика Филатова и протягивал конверт. В нём оказались стихи:

*Артуру Айдиняну*

*За чудеснейшее пенье  
Наше Вам благодаренье,  
Дали всем Вы нам утеху,  
Рады вашему успеху.*

Артуру Михайловичу позже рассказывали легенду, ходившую в Одессе про академика, что были установлены дни, когда его жена Варвара Васильевна уходила в гости, а к нему приходили двенадцать женщин – по числу месяцев в году, он им читал свои стихи, часто только что созданные; дарил плоды своей кисти, – картины и этюды, а они восхищались его многочисленными талантами. Эти встречи давали ему вдохновение для многотрудной работы...

Варвару Васильевну Скородинскую-Филатову, вдову Владимира Петровича, мне нередко приходилось встречать и в дачном кооперативе, где был домик Филатова, и где и отец мой в память о друге в 1966 году приобрёл дом, и, конечно, в 1960-70 годах в мавританском особняке, что и сегодня высится на углу Кирпичного переулка и Французского бульвара. Этот дом был частным, принадлежал он многолетней ассистентке Владимира Петровича в его хирургических операциях, Елене Аркадьевне Петросянц. Академик столь ценил её, что одно время даже был слух, что он раздумывает – не связать ли с ней свою судьбу, но Варвара Васильевна, – активная, волевая, увлечённая, пришлось ему больше по душе. Елена Аркадьевна очень ценила моего отца, во многом помогала ему. Он в первые годы в Одессе, во время лечения в клинике Института, даже жил в большом и гостеприимном доме Петросянцев, куда приходил в гости Филатов. Незадолго до своей смерти Елена Аркадьевна подарила мне поэму В.П. Филатова, героиней которой была восточная царевна Шалимар. От Варвары Васильевны знаю историю создания этой поэмы.

Во время войны Филатов был в эвакуации – жил в Ташкенте, работал в военном госпитале. Одновременно с ним там оказалась Ольга Гзовская, оперный режиссёр, певица, киноактриса. Как-то Филатов лежал с головной болью и к нему, больному, пришла его навестить Гзовская, голосом которой, «большим и нежным» академик искренне восхищался. Она вынула из сумочки платок, надушенный настоящими французскими духами «Шалимар». Достать такие духи во время войны было просто немыслимо, и всё же они откуда-то случайно появились. Ольга Владимировна игриво повеяла платком у лица Филатова, сказала, что это волшебное дуновение, и что он непременно выздоровеет. На следующий день головная боль прошла, и Филатов написал поэму о том, как в давние времена жила дочь Эмира Омара, принцесса, «одаренная дарами феи» – «и красотой, и фатой, исполненной волшебных чар, и дивно пела Шалимар». ... Потом следовала догадка о том, что посетившая его – воплощение той, давней легендарной Шалимар, чья душа «покинула земной шар на крылах у Азраила». ... Это было одно из лучших стихотворений, написанных «на случай», которые мне приходилось читать... К образу Шалимар-Гзовской Филатов ещё раз кратко возвратился позже в стихотворении «Дед и внук» в связи с его путешествием на азиатский Восток...

Необходимо сказать, что Варвара Васильевна, помимо больших, сделанных для музея машинописных книг, создавала для друзей Филатова и его почитателей небольшие самодельные книжечки, куда входило по несколько его стихотворений, напечатанных с рукописей. Орнаментальные обложки к стихам выполняла близкий друг поэта-врача, Марфа Викторовна Цомакион, женщина-философ, художница-

орнаменталистка, создательница уникального философского салона в Одессе, вдова друга Филатова, профессора-гинеколога Г.Ф. Цомакиона, графика и скульптора, чьи произведения, собранные в альбом, я видел в доме Филатова. Варвара Васильевна познакомила меня с дочерью Марфы Викторовны, Людмилой Георгиевной, – её Филатов устроил после безвинного пребывания в сталинских лагерях машинисткой в лепрозорий, а была она знатоком иностранных языков, переводила западноевропейскую поэзию с английского, французского, испанского, даже с латыни...

В 2003 году я стал составителем Одесской литературно-художественной антологии «Одесские страницы», которая в рамках московского толстого журнала «Меценат и мир» была задумана по прообразу известных «Гарусских страниц» Г.К. Паустовского. Так вот, первый выпуск антологии открывается рубрикой «Из поэтического Пантеона», где помещены три стихотворения В.П. Филатова. Одно из них написано от лица поэта-охотника, идущего по степи и мучимого жаждой. У него есть стихотворения, в которых он проявляет себя как прекрасный знаток природы, флоры и фауны, которые он тонко чувствует. Другое стихотворение трагико-романтическое, таких также много вышло из-под его пера, ему свойственна трагическая нота, он может написать и о тоске, о страсти, о безысходности, и третье стихотворение – народное, былинное по напеву, это тоже свойство целого ряда филатовских рифмованных сочинений... Некоторые из них он подписывал анаграммой – «Воталиф».

Стилистически стихотворения Владимира Петровича несут в себе отзвуки классической русской поэзии XIX века, ведь именно тогда он сформировался как личность, да и как поэт. Однако в его поэзии нет декадентства с его символической отрешённостью или любованием грехом. Чаще всего Филатов-поэт предстает перед читателем как лирик. Ему весьма органичны исповедально-религиозные мотивы, подчас – мистические, реже – гражданские. Христианские стихи Филатова люди при его жизни переписывали от руки и передавали друг другу; христианская литература, поэзия были в советское время недостижимы. Очень значимы и его прозаические тексты. Некоторые из них, наряду с поэзией, составили книгу В.П. Филатов «Последняя речь. Литературное наследие». Она вышла малым «экзотическим» тиражом в Донецке в 2008 году. Составитель книги, протоиерей И.Я. Силаков опубликовал в ней тексты, переданные ему другом Владимира Петровича, А.Н. Тюнеевой, много лет возглавлявшей Одесскую государственную библиотеку... Именно от неё составитель и получил машинопись текстов академика, среди которых была и «Танагра» или «Статуетка из Танагры», которую за столом в доме у Петросянцев на Французском бульваре в Одессе нам увлечённо в 1960-ых годах пересказывала вдова Владимира Петровича, Варвара Васильевна.

*Станислав Айдинян*

## **ВЛАДИМИР ФИЛАТОВ**

### **О ТВОРЧЕСТВЕ**

Как происходят художественные произведения – в области живописи, музыки, скульптуры, литературы. Являются ли они продуктом нашего напряжённого мыслительного процесса или же зарождаются в тайниках нашего подсознания, из которого в процессе творческого волнения, в моменты вдохновения врываются в наше мыслящее Я, как яркие образцы, блестящие идеи, гармонические сочетания? Не подобно ли оно, как источник творчества безбрежному и бездонному морю, которое выбрасывает из своих глубин на песчаный берег пёстрые раковины, прозрачный янтарь и диковинных животных?

Я сторонник происхождения творчества из подсознания. В нём вечно идёт бесконечное сочетание тех элементов, которые в какой-то момент дают Прекрасное. Если художник охвачен желанием воплотить какую-нибудь идею или чувство, если он в муках творчества ищет желанный, ещё неизвестный ему образ, то он снимает с тяжёлой двери, которая отделяет сознание от подсознания, замок и радостно закрепляет кистью, резцом или знаками образ, вырвавшийся на волю. Не одна мысль составляет основу творческого усилия художника. Нет, он весь устремлён на поиски прекрасного, все чувства его летят в ту таинственную страну, где чудится ему желанный образ или форма.



Говорят, что есть люди, которые работают только одним холодным рассудком, одною логикой. Я могу себе представить их среди философов, математиков и других учёных, среди шахматистов. Но и то, вряд ли они вполне беспристрастны в своём творчестве. А в искусстве горение духа, эмоция – это основа творчества. Это тот колдун, который приносит творящему художнику волшебную разрыв-траву, сбивающую железные цепи, которыми оковывает наше бодрственное суетливое я своего младшего брата – подсознание.

Подсознание наше – это резвый ребёнок, доверчивый и шаловливый; вырвавшись на свободу на солнцем освещённую лужайку, он затевает весёлые игры. Он не интересуется ни академическими правилами, ни направлениями, ни модой. Он весело фантазирует и озаряет цель, которую поставил себе художник разноцветными огнями. Счастлив тот художник, который не помешает своему подсознательному я и не остановит его игры суровым окриком или ненужными наставлениями. Но не забывай, художник, что подсознание дитя, и когда оно переходит в безудержную фантазию без плана и цели, отведи его от берега оврага или отложи свои творческие порывы до другого момента.

Творческое напряжение, сосредоточенное внимание – это условие контакта сознания с подсознанием. Но бывают случаи, когда подсознание врывается в нашу сознательную сферу само собою, без всякого повода, без всякого усилия с нашей стороны. Если эти вспышки образов происходят в какой-то умеренной форме, то озаряемого ими художника можно только поздравить с таким даром. Но иногда эти прорывы подсознательных образов принимают характер насильственный. Художник переполнен образами, они преследуют его, он не может не воплощать их; выразив их в своём искусстве, он чувствует облегчение, до нового приступа.

Эту роль творческого опорожнения, облегчающего душу художника, подметил ещё Аристотель и назвал это явление *катарсис*. Замечу, кстати, что в аптеках слабительные средства называются катартическими; какое трогательное сопоставление.

Как пример импульсивности творчества можно привести Бальзака; данные эти я по памяти заимствую из брошюры о творчестве Гроссмана.

Бальзак охотно советовался со своей сестрой относительно фабулы своих произведений. Поработав утренние часы над своим романом, он выходил из кабинета в столовую, к завтраку и беседовал с сестрой о дальнейших своих предположениях касательно судьбы персонажей. Нередко он соглашался с сестрой в том, что ему следует такого-то героя женить на такой-то героине, такого-то графа убить на дуэли, а такое-то действующее лицо сделать самоубийцей. С намерением сделать так, как советовала сестра, Бальзак шёл работать. Но при следующем свидании с сестрой он, весело смеясь, говорил ей: ничего не вышло ни по моему прежнему плану, ни по твоему новому: разве они нас послушают!? Героиня вышла замуж за графа, который и затеял дуэль, герой кончил самоубийством, а самоубийца занялся торговлей!

В этом рассказе основная черта – это то, что вопреки рассудочному решению писатель должен был подчиниться напору идей и образов, которых у него до момента начала работы решительно не было.

На моём пути мне неоднократно приходилось встречаться с интересными случаями в области психологии творчества. У меня был молодой друг художник В.А. Зуев. Он уже очень недурно владел техникой акварели и настолько хорошо масляной, что выставлял свои этюды не без успеха. Можно было с уверенностью сказать, что из него выйдет толк. Но мой интерес к себе он привлекал не этой стороной своего художественного одарения.

Когда я, по его приглашению, посетил его, чтобы посмотреть его эскизы, то я был поражён его необычайной акварельной продукцией. Я пересматривал лист за листом, недоумевая, как мог мой молодой друг написать такое обильное количество набросков и притом недурных по технике; но главное, что бросилось мне в глаза – эскизы, писанные не с натуры, а по воображению, были полны мысли и содержания. Эскизы были разложены по содержанию сериями по папкам, на которых были сделаны надписи. Вот несколько папок с обозначением «<пропуск>».

Предо мною проходят прелестные эскизы каких-то садов и парков. То вижу я аллею, то лужайку среди старых деревьев, то цветники, то усеянные цветами долины; всё это то весной, то осенью; некоторые пейзажи оживлены то фигурой, закутанной плащом, то какими-то средневековыми кавалерами в камзолах и чулках до колен, то лёгким образом девушки, весь облик которой печален.

Вся композиция носит на себе черты мистического настроения.

Я вижу улицы, площади, мосты, каналы, крепостные стены и башни какого-то города опять средневекового типа. Я вижу толпу граждан, то процессию, то воинов в латах, то группу кавалеров и дам, то поединок нескольких дворян на шпагах. Сцены эти то ночные, то вечерние, то дневные.

Я испытываю чувство какой-то таинственности, когда рассматриваю серию изображений всё одних

и тех же трёх персонажей: седого старика с большой бородой, в широкой, иногда монашеской одежде, молодого человека в костюме Пьеро и прелестной девушки, одетой Пьереттой. Они всегда изображены вместе, в различных сценах. Я видел и много других серий эскизов. Исполнение последних всегда талантливо, но носит на себе черты некоторой спешности, да и понятно: где было взять времени на такое количество произведений!

Я не раз любовался этим богатством композиций, порождённых фантазией моего друга. Я всегда уносил с собой чувство недоумения – как рождаются они?

И вот, однажды, я проник в тайну творчества моего молодого друга. Он был у меня в гостях и я пошёл его провожать. Мы шли, ведя живую беседу, и вдруг случилась некая странность в поведении моего спутника: на мой вопрос он не ответил, я увидел, что он изменялся в лице и внимательно на что-то смотрит; я повторил вопрос – ответа опять не последовало, мой друг, видимо, и не слышал меня. Через несколько секунд лицо его приняло обычное выражение, но он ответил мне только после повторения вопроса. У меня мелькнула мысль, что у моего друга психическая форма эпилепсии – так называемая «пропуск»; я тем более мог подымать об этом, что сестра моего друга страдает изредка эпилепсией.

Но оказалось, что это не так.

Я осторожно подошёл к этому эпизоду. Так как мой друг, как я тогда заметил, пристально смотрел куда-то в пространство улицы, то я, вспоминая нашу прогулку, спросил его: «Да, дорогой, помните, вы не слышали моего вопроса? Вы на что-то так внимательно смотрели? Что именно заинтересовало Вас?». Мой собеседник, видимо, смутился на минуту, но потом со свойственной ему прямоотой поведал мне о замечательных психологических переживаниях, которым он подвержен.

Оказалось, что он визионер или галлюциант. Галлюцинации его своеобразны в том отношении, что имеют связь только с живописью. Затравкой для них служат видимые реальные предметы; в этом отношении они близки к иллюзиям; но начавшись как иллюзия, они быстро нарастают и усложняются такими видениями, для которых решительно не было почвы в реальности. Так, в том случае, о котором я упоминал, мой друг вдруг увидел, как Сабанеев мост к которому мы подходили несколько взгорбился, улица, проходившая под ним, превратилась в канал, наполненный водой; по нему скользила гондола; вместо крымской гостиницы его глазам предстал венецианский дворец, дом Севастополю превратился в башню, верхушка которой озарилась красными лучами заката, площадь вдали заменилась лагуной. Мой друг объяснил мне, что такие видения обладают одним странным свойством: навязчивостью. Если он в ближайшие же часы или дни не зафиксирует их на бумаге в форме хотя бы беглого эскиза, то они появляются перед ним повторно, мешают ему, пока он их не зарисует. Тогда данное видение прекращается. И – когда сцена, представляющаяся ему, настолько обширна и сложна, что он явно не в состоянии изобразить её, тем более, что она часто имеет динамический характер, тогда приводит на помощь дополнительное явление. Вот, например, – говорил мне мой друг, – я, подойдя к Соборной площади, вдруг увидел, что Собор исчез и вся огромная площадь заполнена движущейся толпой в средневековых одеждах; толпа бежит в ужасе от конных латников, которые ворвались в её гущу и поражают её эскадронами.

Я не мог и подумать о том, чтобы зарисовать всю эту сцену; и вдруг светлая, золотистая полоска в виде четырёхугольной рамки очертила мне кусок этой сцены, показывая, что именно я должен зафиксировать.

Когда я иду по улице – у меня появляются уличные сцены, которые и дают мне материал для моих папок с надписью «<пропуск>», потому что они никогда не бывают одесскими, а всегда происходят в каком-то неведомом городе не нашего времени.

Для собрания «<пропуск>» канвой являются сады, бульвары, цветники, сцен, в которых участвуют Пьеро, Пьеретты и старец, повод дают то личности, то картинки в журналах, то мои собственные эскизы. Так и для других рисунков.

Из рассказа моего друга стала мне понятна его необычайная продуктивность. Какая счастливая психологическая аномалия! Какой обильный материал для будущих картин он имеет в ней!

Но не грозит ли она ему бедою в будущем?

Кто знает, не примет ли она, как насильственное творчество, мучительный характер? Я имел сведения о моём друге в течение многих лет – и пока он жил в Одессе и когда уехал легально за границу. Его родные показали мне итальянские газеты (мой друг жил в Милане) с рецензиями о выставке, которую сделал молодой русский художник Зуев со своею женою. Газеты недоумевали, как мог этот маэстро дать за короткое время такое необычайное количество композиций. Для итальянцев это было непонятно, для меня ясно.

Я наблюдал и ещё один случай визионерства или галлюцинаций, как источника творчества в области живописи.

Судьба свела меня с академиком – баталистом Н.С. Самокишем. Мы провели с ним вместе несколько приятных дней в усадьбе В.М. Бутовича. Через несколько лет я опять встретился с ним в Евпатории, в 1920 году. Он был в затруднении – не мог заниматься живописью из-за отсутствия белой краски и краплака. Я оказал ему маленькую услугу и подарил ему 2-3 тюбика этих красок, имевшихся у меня. Н.С. был очень обрадован и сказал, что он мне оплатит за это тем, что познакомит меня с местной художницей, которая представляет огромный интерес.

Когда я пришёл к нему, я застал у него даму, лет 45, сильную брюнетку, с большими чёрными глазами, южного типа, но русскую по национальности, дочь местного священника, уже покойного, который тоже был не без таланта. Из разговора выяснилось, что её посещают иногда яркие видения наяву. Так, например, однажды, когда в церкви она услышала песнопение – «иже херувимы тайно образуеще» – храм наполнился летающими херувимами, которые реяли в воздухе. Восхищённая зрелищем, она несколько минут любовалась этими дивными существами. Дома она по памяти написала их. Я пришёл в восторг от её картины: пернатые ангелы поразили меня своей воздушностью, лёгкостью, изяществом; особенно прекрасны были их глаза большие, синие, но они не являлись повторением глаз Васнецовских ангелов. Художница-визионерка показала мне целую серию своих картонов. Вот дивный ангел, представший перед её глазами, когда она прочла первые слова Евангелия Иоанна: Вначале бе слово и Слово бе к Богу и Бог бе Слово. Голова ангела имела лишь небольшое пернатое тело и крылья; перья покрывали его шею и даже щёки и окаймляли рот; дивное лицо украшали чудесные очи, на голове был плотно облежавший его гладки точно кожаный шлем; рот был открыт, и, казалось, из уст вылетали таинственные слова Евангелия. А вот другое произведение: по стене стелятся виноградные листья и гроздья; среди них ясно заметна голова кавказца, с миндалевидными глазами и тонкими, слегка улыбающимися губами, малиновыми губами; и в глазах и в улыбке можно было прочесть всю стихию вина: и негу, и страсть, и лукавство, и преступный замысел; эта картина была создана по иллюзии, возникшей при взгляде на листья винограда.

Н.С. восторгался картинами, которые он видал уже не раз, вместе со мною. Из беседы с художницей я узнал, что она почти самоучка в отношении техники, но дефектов в ней я не находил, и она соответствовала красоте композиции.

Видения являются перед нею неожиданно, когда какое-либо сильное впечатление испытывается ею. Она обладала, как выяснилось, и даром ясновидения. Н.С., когда она ушла, сказал мне, что её произведения он относит к числу тех немногих, которые он считает граничащими с гениальными по композиции; в технике он отмечал некоторые небольшие дефекты. Отзыв такого большого художника как академик Самокиш, конечно, заслуживает внимания.

Ник. Сем. сообщил мне и о другом случае, где художественное творчество совершалось без участия бодрственного сознания. Его супруга Самокиш-Судковская (дочь мариниста Судковского) не являлась крупной художницей и известна больше по её иллюстрациям к литературным произведениям, например, к Евгению Онегину; да и иллюстрации эти не обнаруживают крупного дарования хотя бы в этой прикладной живописи. Но когда она писала в состоянии сомнамбулизма, то произведения её были превосходны настолько, что поражали меня, говорил Н.С., и композицией, и техникой. Её картоны фирма Маркса охотно взялась издать, но война помешала этому. Я сам лично имел случай наблюдать творчество в гипнозе и убедился в том, что в глубоком, активном сомнамбулизме, оно очень повышается по качеству. Так, посредственная певица в сомнамбулизме пела прекрасно. Танцовщица обнаружила в состоянии активного сомнамбулизма такую композицию и пластику танца, которые ей были свойственны в бодрственном состоянии в значительно меньшей степени.

В своё время, лет 50 назад, Европу поражала своими танцами в сомнамбулическом состоянии танцовщица Маделен, о которой имеется монография.

Творчество во сне мне также приходилось видеть. Так, я читал прелестные стихи, которые говорила во сне одна молодая девушка; они записывались за нею её тетей. В бодрственном состоянии девушка не проявляла поэтических способностей, в этом случае сон, быть может, был близок к самопроизвольному сомнамбулизму. А вот случай значения сна обыкновенного, для живописного творчества. Мой молодой друг Витя Отон, был несомненно одарён живописным талантом; он писал хорошо с натуры; но особенно хороши были те его произведения, которые передавали его сны. Он нередко видел замки, ландшафты, сцены из прошлых времён, обычно относящихся к Франции (он сам был француз родом, хотя и родился в России). Он писал свои изящные картинки, вспоминая сон.

Я уже упоминал о художнице из Евпатории, черпавшей иногда темы и из иллюзий. В этом отношении особенно ярок мой приятель одесский художник Шварц Павел Фёдорович, ныне покойный. Можно

было удивляться его изящным полным содержания картинам. Вот Вы видите восточную сцену сказочного характера. На троне сидит султан в тюрбане, в задумчивой позе; у ступеней лестницы стоят янычары; далее женские фигуры, из которых одна, обращаясь к владыке, поёт песню, в ритм которой остальные женщины слегка движутся в медленном танце; вся сцена выдержана в желтоватых и коричневых, и голубого тонах. Картина кажется нарисованной на слоновой кости. Есть отдалённое сходство с акварелями Дюлака. Откуда взялась эта фантазия? С обыкновенного камня. Мы лежали с Павлом Фёдоровичем на берегу моря. Он поднял камень, посмотрел на него и подал мне с вопросом – что я на нём вижу? Сочетание пятен дало и мне намёк на какой-то сюжет, но П.Ф. повёл моё внимание в другом направлении, и при его указке я начал читать в случайных сочетаниях сочетаниям линий и пятен, ту сцену, которая составила потом содержание его картины. Иллюзия вспыхивала у П.Ф. сразу, и только изменения в ней давались в процессе писания картины сознательным анализом.

Близко к творчеству по воспоминанию снов стоят «гипнозогические» видения – образы, появляющиеся в моменты между сном и бодрствованием. Я очень часто вижу такие образы, особенно по утрам, когда проснувшись, я вновь начинаю уходить в сонное состояние. Я очень люблю эти видения. Они проявляются иногда очень ярко и не зависят от моей воли, от моего волевого заказа. Наоборот, моя воля, направление желаний на возникновение определённого образа мешает мне. Вот я, ещё не уснувший, ещё сознающий себя, вдруг вижу, как на меня едет извозчик – совершенно ясно предстала предо мною морда лошади, дуга, хомут, лицо извозчика – всё это совершенно реально, как только я осознал это видение и захотел глубже, полнее схватить его – оно исчезло. Такая досада! А разве не досада такой эпизод: промелькнуло одно, другое видение, и вдруг я оказываюсь лицом к лицу перед сидящим в кресле старцем. Он лысый, щёки его румяные; нос несколько мясистый, небольшая окладистая седая борода и изумительной красоты карие глаза, глядящие на меня глубоким, приветливым взором; губы слегка улыбаются, старец одет в бархатный камзол, рукава и воротник, которого опушены соболем. Одна рука лежит небрежно на ручке кресла красного дерева, на одном из пальцев изящной аристократической руки перстень с большим изумрудом. Я ясно сознаю, что это венецианский дож в домашней обстановке; но как только я осознал это и жадно стал любоваться им, видение исчезло.

А вот ещё сцена: вдруг (опять вдруг!) я вижу очень большую комнату, стены которой – из тёсаных дубовых досок. Задняя часть комнаты отделена широким прилавком, а позади прилавка, как в магазине полки, на которых лежат какие-то тюки; входят и выходят люди и выносят эти тюки в открытую дверь. В передней половине комнаты две группы людей. Одна группа состоит из моряков в костюмах далёкого прошлого; на некоторых шляпы, кортики у поясов на цепочке, отвороты на рукавах камзолов; на конце стола предводитель – с седой бородой, длинной и узкой; он одет богаче, в камзоле с кружевным воротником. Стол покрыт картой географической, на которой капитан что-то показывает пальцем. Все внимательно смотрят.

Другая группа людей, в простых матросских одеждах, стоит вокруг длинного стола, на котором лежит завернутый в брезент покойник, с бледным лицом и бородой. Около его головы стоит высокий человек в камзоле, с бородой, и что-то читает по книжке, точно отчитывает покойника.

Я ясно сознаю, что это какая-то сцена из путешествия не то Кука, не то Васко да Гама. Я понимаю её как сборы к отъезду с уносом товаров из фактории; обсуждают путь, отчитывают умершего члена экспедиции. Осознал, делаю попытку взглянуться и – всё исчезло. Какая досада! Я видел таким образом и виды, и всякие сцены. В отличие от снов – я помню мои видения такого сна – долго. Я пытался по памяти рисовать моего дожа – но мне это не удалось, по слабости моих живописных способностей. Настоящий художник мог бы многое почерпнуть из таких видений, выплывающих в полусознание из глубины подсознания.

Как пример бессознательного творчества я укажу на случай, бывший со мною. Я обладаю не резко выраженной способностью автоматического письма. Однажды я попробовал автоматически рисовать. Я почувствовал, как моя рука, как это бывает и при письме, освободилась от моей воли и начала водить карандашом по бумаге. Мне казалось, что ничего не выходит; когда движения руки прекратились, я вдруг понял, что предо мною недурной рисунок дорожки у опушки леса, но сделанный «вверх ногами»; автоматизм был полный.

На этих примерах нельзя не вывести заключения, что подсознание наше представляет из себя настоящее горнило таких сочетаний, которые могут питать наше творчество. Нужно, видимо, уметь устранять разрыв между сознанием и подсознанием и черпать из последнего то, чем оно богато.

## О ШАЛЯПИНЕ

Я не был знаком с Шаляпиным лично сколько-нибудь близко, я имел с ним лишь несколько случайных встреч, но, конечно, я много раз наслаждался пением и игрой этого великого, непревзойденного артиста. Конечно, я и не думаю в этой маленькой заметке говорить о нём с целью дать оценку этого гения пения. Кто его слышал и видел, тому моё описание не нужно, а тем, кто его слышал лишь с патефонных пластинок, помогут лишь характеристики специалистов в области пения и драматического искусства. Моя задача дать несколько штрихов к образу этого великого артиста, штрихов, которые может быть, пригодятся биографии его, если таковую кто-нибудь напишет.

Я как сейчас помню мои первые впечатления от Шаляпина. Ко мне прибежал кузен Вова Филатов, как всегда, в агитации, и сообщил, что он принёс мне билет на галёрку театра Зимина, где поёт новый замечательный бас Шаляпин. Помчались. Шаляпин в партии старика в опере «Миньона» сразу захватил меня и кузена и навсегда сделал своими поклонниками. Насколько позволяло время и возможности достать билет, мы старались посещать оперы и концерты с участием этого бесподобного певца, развитие которого происходило на наших глазах гигантскими шагами. Нет никакой необходимости описывать Шаляпина, как певца и артиста, потому что этот гений известен его современникам во всём мире. Кто не слышал его лично, может до известной степени составить себе впечатление о его пении по грампластинкам. Я не был лично знаком с Шаляпиным. Но некоторые стороны моей жизни и его жизни соприкоснулись друг с другом.

У сестры моей матери – Натальи Семеновны Мартыновой – был сын Митя. Он был гимназистом 6-7-го класса и был поклонником Шаляпина. И когда, после последнего действия, галёрка неистовствовала, вызывая обожаемого артиста, то Митя ревел вместе со всеми; при этом он, когда уже затихали крики, испускал своим детским, но звучным баском последний возглас: «Шааляпиин!».

Шаляпин, как узнал впоследствии, заметил голос своего юного поклонника, довольно часто раздававшийся на его выступлениях.

Однажды, когда как обычно, прозвучал знакомый ему вызов, Шаляпин вышел со сцены за кулисы в какой-то задумчивости и сказал, обращаясь к окружающим: «Я испытываю какое-то тяжёлое предчувствие, мне кажется, что я слышал голос моего гимназиста в последний раз, с ним что-то должно случиться». Предчувствие Шаляпина сбылось: через день-два Митя заболел скарлатиной и через несколько дней умер. Было ли это предчувствием, заметило ли чуткое ухо артиста что-либо паталогическое в голосе Мити – кто знает? Когда Шаляпину, переставшему слышать Митин бас и справившемуся о нём, сказали о кончине Мити, он очень заволновался и поехал навестить убитую горем мать. Моя тётя была очень расстроена таким сочувствием и встречи с Шаляпиным, который побывал у нея несколько раз, поддержали её морально. Вскоре у них установились дружеские отношения. Шаляпин очень ценил и уважал мою тётю, которая вскоре стала иметь на него известное влияние: он искал у нея поддержки в борьбе своей с алкоголизмом, который в то время стал овладевать им. Он просил её останавливать его. И случалось, что по первому слову тётки он удерживался от лишней выпивки. Но это влияние, впрочем, продолжалось недолго и кончилось дело революцией. На одном банкете, заметив на себе взгляд тётки, он воскликнул: – «Не пьаль, не пьаль на меня свои буркулы, всё равно не послушаю» и продолжал пить. Дружба осталась, но влияние кончилось.

Когда умер мой дядя Нил Феодорович, то Москва живо отозвалась на это печальное событие. Бесконечное количество друзей, знакомых, почитателей и родителей пациентов покойного приходили сказать ему «последнее прощанье». Семье и нам, родным и близким дяди Нила, пришлось увидеть немало крупных, известных лиц около гроба, стоявшего в зале его квартиры на Девичьем Поле. Среди них мы не могли, конечно, не заметить крупной оригинальной фигуры Шаляпина. Он постоял в задумчивости около открытого гроба; выйдя в переднюю и прощаясь с нами, он произнёс про себя как-бы одну короткую фразу: «Какой случай!». Она сказана была с такой глубокой интонацией, с таким выражением сожаления и какого-то протеста против судьбы, что ни одна из речей над гробом усопшего не произвела на нас такого впечатления, как эти два слова: «Какой случай!».

40 лет прошло с тех пор, а я до сих пор помню эту короткую фразу...

## СТАТУЭТКА ИЗ ТАНАГРЫ

В бытность мою в Одессе приходилось мне бывать в одном архивном учреждении, в котором я разыскивал документы о службе моего приятеля, жившего в Средней Азии. Так как архив во время войны пришёл в упадок, то моё занятие несколько напоминало работу археологов в Ниневийской библиотеке царя Гаммураби, в которой благодаря провалу пола второго этажа глиняные пластинки с клиновидными надписями перемешались в общую кучу.

Розыски мои подвигались медленно. Среди посетителей архива мне бросился в глаза один, так как он занимался поисками чего-то с таким же упорством, как я, и так же, видимо, как и я, надоел архивариусу – новому и чужому в этом архиве служащему.

Это был молодой мужчина, лет 35, высокий и стройный; лицо его было приятно, с правильными чертами; его очень украшали тёмные глаза с энергичным, внимательным взглядом. Выражение лица было интеллигентное, я бы сказал, даже одухотворённое.

Однажды мы оба, к удовольствию архивариуса, вышли из архива раньше закрытия. Мы познакомились, обменялись, не без юмористики, впечатлениями от наших поисков; мой новый знакомый оказался старожилом Одессы и занимал должность бухгалтера в одном из торговых предприятий. Мы встречались ещё несколько раз, обычно уходили домой вместе, нам было по дороге. Мы постепенно сближались, не стремясь к этому нарочито. Я чувствовал во Владимире Алексеевиче хорошее воспитание и образование. Некоторые его фразы показывали, что круг его знаний выходит за пределы тех, которые были нужны и достаточны для его сравнительно узкой профессии. Когда мы закончили наши раскопки, мы не разошлись в разные стороны жизни, а продолжали знакомство. Он побывал у меня; его визит ко мне начал, благодаря интересу беседы, переводить наше знакомство в дружбу, которая разрослась и укрепилась после моего ответного визита. Идя к нему, я уже знал, что у В.А. есть, кроме внешней, официальной жизни, вторая, интимная жизнь – страсть к археологии.

Его домик находился на окраине города, за широким забором, в садике. В.А. выразил мне свою радость и ввёл меня в небольшую уютную гостиную. Он попросил меня остаться на несколько минут в одиночестве, пока он пойдёт пригласит матушку.

В его отсутствие я оглянул комнату. Мебель была хорошего дерева и стила, ценная; по стенам – несколько картин хороших мастеров, персидский ковер; всё это свидетельствовало о достатке хозяина.

Я заинтересовался старинным портретом, изображавшим смуглого худого старика восточного типа в военной форме прежних далеких времён. Но вот я обернулся на звук шагов и увидел перед собой небольшого роста старушку, худенькую, с очень белыми седыми волосами; лицо её было по-своему, по-старчески красиво. По манерам, по акценту речи я скоро догадался, что она – иностранка; вероятно, француженка. После взаимных приветствий мы повели незначительный разговор; заметив, что я несколько раз останавливался взглядом на портрете восточного человека, В.А. пояснил мне: «Это один из моих пращуров. Говорят, что наши предки – выходцы из Турецкого Египта – жили на Кавказе, а оттуда переселились в Россию, где в своём гербе сохранили тюрбан вместо коронь». В.А. сообщил мне некоторые подробности о своём экзотическом роде.

«Мне кажется, что семейные предания и документы и толкнули моего сына, – сказала матушка, – на изучение древностей. Вы знаете, в далёком прошлом он себя гораздо лучше чувствует, чем в настоящем. Каких он только языков из несуществующих ныне не знает; даже египетские иероглифы разбирает». В её словах чувствовался тон сочувствия увлечению сына. Она встала, чтобы заняться по хозяйству, а В.А. пригласил меня в свой кабинет. «По дороге туда остановимся на минутку в соседней с ним комнате, в моём музее, как называет его мама». Дошли мы до кабинета не скоро, потому что в «музее» мы задержались далеко не на минутку.

Музеем комнату, конечно, нельзя было назвать, скорее к ней подошло бы наименование антикварного склада. Самыми разнообразными предметами, от которых веяло стариной, были увешаны стены, были завалены столы. Никакой системы в подборе этих останков старины и в их размещении отметить было нельзя. Пика партизана 1812 года лежала рядом с черепом пещерного тигра, восточный амулет – рядом с пробитым средневековым шлемом. В комнате не было грязи, пыли и паутины – видимо, заботливая рука держала её в порядке. На моё замечание о некоторой пестроте собрания В.А. живо реагировал. «Ну да, я собираю вещи старины не по системе. Я приобретаю только то, что меня живо интересоваывает, что пробуждает во мне полёт творческой фантазии. Если вещь, непременно истинно старая, подходит мне, как-то я чувствую, как по поводу неё у меня начинают роиться мысли; я уношусь воображением в



эпоху, к которой относится вещь, я мысленно представляю себе владельца её, рисую себе эпизоды из его жизни, например – как был пробит вот этот шлем на голове шведского латника ударом меча немецкого ландскнехта; до известной степени я питаю мою фантазию анализом формы, величины, деталей строения вещи; я изучаю её, как изучал бы её с детективными целями Шерлок Холмс, и мои фантастические сцены, основанные и на знании современных ей условий жизни, являются правдоподобными. Как я понимаю мысли Лермонтова над веткой Палестины, и какой для меня были радостью эти фантазии!».

Я попросил В.А. рассказать мне свои правдоподобные фантазии по поводу некоторых вещей. Он взял кривую турецкую саблю, и из его уст потекло плавное образное повествование о том, как это чудесное оружие, кованное в Дамаске и найденное сохой украинского пахаря, было добыто на Туретчине лихим запорожцем, много лет лившим его кровь ляхов; и как было оно поглощено потом землёй отчизны вместе с останками её верного «лыцаря».

В его рассказе поэзия образов, которую похвалил бы сам Гоголь, всё время опиралась на фактические данные, на глубокий анализ их.

Я обратил внимание на какую-то тумбу из серовато-зелёного, испещрённого мелкими белыми прослойками, камня; цвет его был похож на цвет змеиной кожи. Его верхняя поверхность имела несколько косое положение. «Это древний египетский жертвенник, мне удалось получить его по исключительной случайности. На этом жертвеннике никогда не закалывали ни ягнёнка, ни даже голубя. Посмотрите, он весь испещрен вдоль граней своих иероглифами. На этот жертвенник приносили цветы и поливали его благовониями египетские девушки, невесты».

В.А., к моему удивлению, начал бегло читать надписи. Я услышал чудную молитву юной девы великому Озирису. Прочитав последние слова молитвы, В.А. набросал мне целую сцену из древнеегипетской жизни: он рассказал, как молодая девушка молилась здесь за своего жениха, изнывавшего в работе гребца на галере, посланной за лесом к берегу Малой Азии.

Я выразил моё восхищение по поводу своеобразного творчества моего друга. Он покачал головой. «Я мечтал о большем, – несколько грустно сказал он. – Пойдём в кабинет, там потолкуем...».

Из хранилища коллекции мы перешли в кабинет, который заслуживал скорее название библиотеки – так он был заставлен по стенам шкафами; лампа лила свой мягкий свет на столы, по которым лежало немало книг. Мягкие кресла как бы приглашали к чтению. Я мельком взглянул на заглавия нескольких книг – новых и древних; не все были для меня понятны. Но латинские книги Альберта Великого, Парацельса, Предсказания Нострадамуса, книги Сведенборга заставили меня заподозрить в моем хозяине мистика.

Когда мы уселись и закурили, В.А. продолжил свою речь. «Да, процесс фантазирования по поводу реликвий старины дает мне, конечно, радость, и если бы я был писателем, то много-много интересных сюжетов мог бы я разработать. Но я мечтал об истине, а не о подобии её. Ведь по поводу каждого из предметов, о которых я говорил, я мог бы сказать Вам новую фантазию, так же далёкую от истины, как и первая. А моя мечта увидеть, воспринять прошлое как действительность, может быть, менее красивую, чем фантазия, но зато как истинную. Я хотел бы быть психографом. Я видел людей, особой чувствительностью одарённых, которые способны по предмету, который они держат, прочесть всё, что отпечаталось на нем невидимыми следами ото всего, что его окружало во время его существования. Какое это должно быть блаженство – ощутить прошлое так, как оно было. Помните рассказ Тургенева – «Эллипс?»»

Я выразил сомнение: «Да как же узнать, что оно так и было, как почудилось психографу?».

«Ну, для событий недавних собрать доказательства нетрудно. Но и для далёких событий могут быть доказательства. Мне пришлось быть свидетелем такого случая в бытность мою в Париже. Мой друг прислал мне какой-то кусочек окаменевшей кости с просьбой показать психографу. Я ничего не знал о происхождении предмета. Психограф, женщина, славившаяся своей способностью, нарисовала мне живую картину какой-то геологической катастрофы; она описывала взрыв вулкана у берега моря; встреча огненных масс лавы с водой произвела ужасные разрушения, от которых погибло огромное количество животных далёкой геологической эпохи. Когда я увидел моего друга, он подтвердил мне сказанное психографом; косточка была им найдена на берегу Средиземного моря, где, по несомненным данным, имела место указанная катастрофа. Вот видите, на что способны психографы», – сказал В.А. К сожалению, все мои усилия развить в себе эту способность улавливать отпечатки жизни на предметах не привели ни к чему. Да я и бросил их, в конце концов, потому что я выяснил по книгам мудрецов древности, что в моей физической и психической организации нет некоторых условий для развития этого свойства: среди них, прежде всего, возраст. Я слишком поздно начал мои попытки!».

В.А. заинтересовывал меня всё больше и больше. Мистик, несомненный мистик!

«Вы мистик, дорогой друг?» – «Да, если только Вы правильное значение придаёте этому слову. В общепринятом понятии мистик – это человек, ищущий воображаемого, но не существующего на самом деле мира. Мистик как бы сверлит дыру в пустоте. Я, конечно, не принадлежу к этому типу, я не фантаст, и хотя и могу фантазировать, но знаю цену моей фантазии – она не реальна.

В правильном понимании мистик – это великий реалист. Он ищет за видимым миром мир невидимый, но реальный, познаваемый его расширенным сознанием, а иногда становящийся доступным и обычным его чувствам. С великими усилиями, нередко с ошибками, иду я по путям йогов и египетских посвящённых Сведенборга и Штайнера».

«И Вы достигли результатов?».

«Кое-что сделано, путь длинен и труден, но я не сомневаюсь в успехе, – сказал В.А. как-то вдохновенно. – Но об этом поговорим когда-нибудь потом. А пока – взгляните на мою библиотеку и пойдём пить чай».

Ах, какая это была библиотека! Она была составлена именно так, как я мечтал составить библиотеку для своего сына. Основу её составляли книги, написанные истинно талантливо. Читатель, взяв из шкафа с такими книгами любую наугад, оказывался в положении мухи на липкой бумаге: он уже не мог оторваться от неё. В каждом отделе знаний было немного таких книг. Отбор книг в этот шкаф производился и лично, и через знатоков, понявших задание В.А. Изредка от автора, даже с крупным именем, в заветный шкаф попадало только несколько произведений, соединённых в единый том, для чего расходовалось два экземпляра данного издания. Ни одной лишней, скучной, полумертвой, сонной книги.

Другие шкафы были заполнены книгами по тем проблемам, которые изучались владельцем библиотеки. Сюда шло всё, что представляло хотя бы маленькую ценность для работы. Осматривая её, я увидел в одном из углов комнаты стол, на котором стояли какие-то предметы, прикрытые покрывалом. Не успел я полюбопытствовать, как нас позвали к чаю.

Когда я через две-три недели пришёл к В.А., он провёл меня прямо в кабинет. Видимо, ему хотелось чем-то поделиться со мною.

«Прошлый раз я не имел времени показать Вам одну коллекцию, которая является для меня в настоящее время центром моих археологических интересов. Вы знакомы с искусством Танагры?». Я сознался, что только слышал о статуэтках из Танагры.

«Ну так вот, посмотрите». И В.А. снял то покрывало, которое я заметил у него в прошлый раз. Я увидел на широкой доске, лежавшей на столе, несколько десятков маленьких статуэток из терракоты.

Я несколько потерялся среди этого множества фигурок в разных позах, в разных одеяниях; среди них некоторые были поломаны, иные без руки, иные без головы. На разглядывание их надо было бы потратить много часов, чтобы оценить их с художественной стороны.

В.А. вывел меня из затруднения. «Позвольте мне, раз Вы мало знакомы с этой ветвью греческого искусства, прочитать Вам маленькую лекцию.

Маленькие фигурки из терракоты издавна выделялись в Греции в разных городах и селениях её и её Малоазиатских владений, но главная масса их происходила из города Танагры, по имени которого они и получили своё название. Танагра поставляла статуэтки на весь тогдашний мир, да и по сие время раскопки её дают материал для всех европейских и американских музеев.

За многие века Танагра наславилась сама на себя – строились новые дома и храмы, а старые уходили в землю. И вот из этих глубоких древних Танагр раскопки вывели на свет Божий первоначальные произведения скульптурного искусства. Вот Вам образец: как всё примитивно, едва намечено, но как уже чувствуется в нём стремление к прекрасному». И В.А. протянул мне фигурку девушки: хитон тесно охватывает её стройные, ещё очень примитивно намеченные формы; густые волосы схвачены широкой лентой, ниспадают сзади по затылку общей массой; в каждой руке она держит по флейте, амбушоры которых приближены к её ротику.

«А вот ещё произведение ранней эпохи, вероятно, VI века до нашей эры: как интересна эта бытовая сценка! На низком табурете сидит бородатый мужчина в широком, закутывающем даже руки, плаще; позади него стоит голый, только передником прикрытый безбородый мужчина, который стрижёт сидящему гражданину волосы при помощи больших ножниц, которые он приводит в движение обеими руками. В левой руке, кроме того, гребень.

Проследите на этом ряде фигурок из более новых эпох, как совершенствуется творчество, как формы становятся гармоничнее, изящнее. Разве не прелесть вот эта танцовщица?». Я невольно загляделся на дивную молодую девушку, которая, видимо, лишь на единый миг остановилась в танце, раскинув не-



сколько и протянув вперёд свои обнажённые руки, а нижняя часть её туники ещё хранит инерцию танца и охватывает её вихреобразным движением ноги.

В.А. разбирал предо мной фигурку за фигуркой, и нередко фантазия его бросала мне штрихи быта той эпохи, к которой относилась статуэтка, отчего последняя казалась мне живее, ещё ближе.

«В.А., – спросил я, – неужели в Танагре, да и в других пунктах Греции, было такое обилие скульпторов, миниатюристов, что их произведений хватало на всю тогдашнюю Европу?»

«Ах, извините, что я не сказал Вам того про происхождение танагр, что должен был сказать Вам как не специалисту в самом начале. Ведь главная масса танагр – фабричного производства. Скульптор делал маленькое изображение какой-нибудь статуи работы Фидия или Праксителя или брал за мотив фигуру с раскрашенной вазы, иногда видоизменял её. С этого образца делали слепок и затем отливали копии в большом количестве. Делали и так, что отливали отдельно головки, торсы, руки и затем делали составные образцы, а с них уже размножали копии. Такая фабричность производства доказывается нахождением абсолютно идентичных фигурок, а иногда попадаются фигурки, имеющие, скажем, одинаковые торсы при разных головках или одинаковые головки при разных торсах, или одинаковые головки при одинаковых торсах, но при разных поворотах и т.д. Таким образом, танагры в громадном большинстве случаев – произведения, до известной степени, стандартные.

Но сколько искусства требовалось, чтобы скомпоновать статуэтку из отдельных частей художественно. На многих статуэтках видны эти следы руки художника – в отделке волос, в проработке положения руки или плеч. Эти восхитительные фигурки находимы были наичаще в гробах. Их клали туда в древние эпохи с ритуальными целями, чтобы у покойника были слуги на том свете. Потом эти цели были забыты, и просто считалось красивой модой класть в гроб изящное скульптурное произведение, как мы ныне кладем в гроб покойнику цветы или венки на могилу его.

Произведения танагры стоят под влиянием Праксителя. Как произведения этого гения, так и терракоты танагры пропитаны солнцем, радостью, они полны движения, кроткой красоты. Вкус Праксителя, благоуханно нежный, сменил в половине IV столетия торжественно серьёзный стиль Фидия. Для терракот танагры он послужил желанным образцом, дав изображения жизни юной женщины; терракоты эти полны неподражаемой грации.

Повторяю, что фигурки часто – штампы. Но не все таковы. Ведь те скульпторы, которые делали для производства свои образцы, не сдавали их на фабрики все до одного. Ведь должны были остаться у них единичные оригиналы. Должны были у этих скульпторов-миниатюристов быть и такие произведения, которые и делались не для обычного вкуса фабрики и публики, а для более изысканных вкусов знатоков, наконец, для удовлетворения собственного порыва к творчеству». И вот тут голос В.А. зазвучал взволнованно: «У меня есть такое произведение – оригинальное, вдохновенное, произведение великого мастера. Я объехал все музеи, где есть танагра: нигде нет ничего подобного. Я проникал и в частные хранилища – и там нет и намёка на мою драгоценность. Я следил много лет за каталогами и изданиями (а их очень много) и нигде не встретил повторения моей фигурки». И В.А. подвел меня к фигурке Танагры, которая стояла на другом конце той доски, на которой помещались остальные статуэтки.

«Вот перед нами украшенная венком девушка: нога слегка отставлена, левая рука оперлась на поясницу, в правой веер. Хитон ниспадает тонкими складками по ногам до земли и над правой грудью и плечом обозначен только краской; девушка облечена в плащ, который охватывает тело так, что покрывает обе руки и обтекает дивные формы тела. Со слегка наклоненной головой, с опущенным веером, стоит девушка, такая живая, что, кажется, видишь, как она, задумавшись, задержала свой шаг и остановилась».

В.А. переводил свой взгляд со статуэтки на меня и, видимо, ждал моего ответа. Я был в очаровании красотой статуэтки. «Не хочется верить, что она не живая», – тихо сказал я.

В.А. схватил меня за руку, точно ждал такого ответа и воскликнул: «Вот, вот – она живая, она полна жизни, жизнь рвётся из неё, это не глина, это живое тело», – говорил он возбуждённо. Тон его слов заставил меня вздрогнуть: чувствовалось, что В.А. говорит не метафоры, а о реальном. Его взгляд, обращённый на статуэтку, поразил меня – это был взгляд экстаза одержания! Но вот В.А. провёл рукой по лбу и как бы очнулся. Он будто после страшного порыва был в какой-то депрессии. Он потерял словоохотливость.

Уйдя от него, я не один раз возвращался мыслью к этому эпизоду и к дивной статуэтке.

Однажды я, придя к В.А., не застал его дома. Когда матушка его стала убеждать меня подождать его, я охотно согласился, так как путь от меня был далёкий (не идти же домой, не повидавшись), да мне и захотелось поговорить с матушкой вдвоём, чтобы познакомиться с нею более интимно.

Я узнал от неё, что она полуфранцуженка-полугречанка. Когда она уехала со своим мужем, отцом

В.А., из Афин в Одессу, она не испытывала особой тоски по родине: Одесса недалеко от Греции, да она и слыхала, что здесь она может встретить своих соплеменников и даже родичей. Муж её, капитан, чистокровный русский, долгие годы плавал и в Грецию, и на Дальний Восток, в Европейские города. Потом, с выходом в отставку, он был коммерсантом, жили хорошо, в достатке. Он умер, когда Владимир Алексеевич окончил два факультета – естественный и филологический. С отцом много раз В.А. делал путешествия в разные страны. Володя с юных лет археолог.

«Что он больше всего любит в своей области?»

«Греческую древность», – последовал ответ.

«Своего рода наследственность, голос крови?»

«Не думаю, скорее, влияние моих прошлых интересов».

Эрата Матвеевна рассказала мне про детство и юность сына охотно, видимо, ей было приятно вновь пережить в разговоре со мной странички прошлого. И мальчиком, и юношей В.А. не имел интереса к общественной жизни. У него не было увлечений ни одной из девиц, с которыми ему приходилось встречаться.

Когда Э.М. говорила об этой стороне жизни сына, заметно было, что у неё имелось какое-то двойственное отношение к нелюдимости сына. С одной стороны, ей, видимо, было приятно, что общество женщин ему вполне заменяла она, как мать. С другой – закоренелый холостяк, каким остался Володя, не порадовал её старость внучатами.

Когда мы перешли к интересам В.А. в последнее время, я заметил в тоне разговора Э.М. тревогу и сказал ей про это.

«Да, признаюсь, его напряжённая работа в кабинете меня беспокоит. Он весь ушёл в какое-то искание, которое лишает его сна и аппетита, он почти не поддерживает разговоров, которые в прежнее время мы часто-часто вели с ним. Он осунулся, побледнел».

Пришёл В.А. и пригласил меня с собой в кабинет.

«Вы помните, дорогой друг, конец нашей беседы о танаграх?» – спросил он.

«Ну, разумеется. Я хорошо помню, как Вы взволнованно (почему – не знаю) согласились с моим замечанием».

«Да, да, – заговорил В.А., – жизнь, настоящая жизнь, скрытая в художественном произведении, не миф, не фантазия. И её можно вызвать, проявить. Это та жизнь, которую вкладывает в своё произведение творящий художник. Вы помните рассказ о Пигмалионе, который с таким порывом вдохновения изваял статую Галатеи; он, поражённый красотой своего творения, пал ниц перед нею, весь полный любви к ней, и, когда он поднял на неё глаза, – перед ним стоял уже не мрамор, а живая женщина божественной красоты. Мы считаем этот рассказ мифом, поэтическим вымыслом. Но это не то. Я изучил манускрипты древнего Египта – «Книгу Мёртвых», в которой переданы факты из жизни страны Мю, или Гиндвана, до её погружения в Тихий океан, этой второй Атлантиды. И там я нашёл не только другие подобные рассказы о Пигмалионе и Галатее случаи, но я натолкнулся в этих книгах и в книге Тотти-Великого на указания на то, что можно оживить статую, если она сделана вдохновенно, можно заставить говорить буквы, если в них вложена часть души автора. И вот я и тружусь над этим и именно над этой статуэткой, которую я Вам показал последней в прошлый раз».

В.А. был возбуждён, я бы сказал, максимально возбуждён, что меня встревожило.

«Не бойтесь за меня, дорогой, – сказал В.А., точно угадывая мою тревогу. – Я хочу, чтобы Вы приняли участие в моей работе; Вы не только не помешаете мне, но Ваше присутствие будет питать моё подсознание. Мне нужно всю мою волю, всё моё желание, всё моё художественное ощущение собрать воедино, в один психический потенциал, и перелить его в мою прекрасную Танагру».

Он сел перед прелестной терракотой и стал внимательно смотреть на неё. Глаза его точно излучали какой-то свет, жилы на лбу наполнились, дыхание было хриплым. Он протягивал к статуэтке руки, как бы желая послать с ними какую-то силу на объект своего устремления. Невольно вспомнилась мне страшная сцена из Тургеневской «Песни торжествующей любви», когда магнетической силой раб поднял убитого индуса, который и поехал мёртвый, но как бы живой, в далёкую Индию.

Мне было немного жутко. Я не заметил никаких перемен в статуэтке. Вот В.А. вдруг в бессилии опустил руки и почти в обмороке откинулся на спинку кресла. Я поднёс к его губам стакан воды. Он поблагодарил и очнулся. Выражение лица его было радостно. «Вы видели, Вы видели?» – спросил он.

Я не отвечал.

«Есть, есть успех, уже она не такая твёрдая; я добыю своё и оживлю её!».

Я внутренне содрогнулся при мысли о том, что путь В.А. был недалёк от пути к безумию. Я пробовал



издалека, осторожно отвлечь его от его фантастической затеи. Но, конечно, из этого ничего не вышло. Оставалось только, согласно желанию В.А., чаще бывать на его сеансах. Только мелкими деталями они отличались друг от друга, но с каждым разом В.А. всё более настойчиво спрашивал меня, заметил ли я ту или иную перемену в статуэтке, и всё более и более убеждённо говорил об успехе. В один из вечеров я, несомненно, подпал под его влияние: когда В.А. с каким-то иступлением смотрел на фигурку, мне вдруг показалось, что она как будто дышит, лицо её озаряется улыбкой, глаза блестят и движутся. «Вы видите, Вы видите?» – шептал в это время В.А., – она дышит, она видит нас». Я не дал ответа на его вопрос. Но не скрою, что несколько дней не мог отрешиться от моей иллюзии или галлюцинации. Уже было интересно увидеть эти черты жизни, пусть привитые, внушённые мне, опять!

В промежутках между этими сеансами, которые можно было бы назвать сеансами волевых взрывов, В.А. сильно работал над собой. Он очень мало ел, что вызывало тревогу у его матушки; он специальными упражнениями набирал в себя «прану» – эту энергию индусских йогов; он читал и перечитывал свои древние книги и порой радостно сообщал мне, что он нашёл в архаичных наставлениях, мало доступных пониманию с помощью каббалистических приёмов, то или иное указание для затейного им оживления статуи. Уже не один раз повторялась у меня иллюзия какой-то вибрации жизни в статуэтке, когда В.А. изливал на неё невидимые волны энергии, которую он в себе вырабатывал.

Когда я бывал один, я хорошо понимал, что я частично во власти индуцирующей психической силы моего друга. Но я твёрдо решил, не будучи в состоянии остановить его, не оставлять его до последней минуты. Я представлял себе её чем-то вроде сцены в повести Андреева «Павел Фивейский»: не встал покойник из гроба по приказу Павла и побежал обезумевший священник в исступлении в степь, где и нашёл его бездыханным. Я считал своим моральным долгом быть около В.А. в тот миг, когда высшее напряжение его воли не вдохнёт жизни в мёртвую глину.

Решительный сеанс, видимо, приближался. В.А. становился всё увереннее в успехе. Он сообщил мне, что самое главное, что должно быть соблюдено в последний момент, – это полное, абсолютное отрешение ото всего земного. «Только я и она должны быть во всём мироздании! Ни одной мысли, кроме мысли о ней! Так и будет, так и будет! – твердил В.А. – Так уж и было на прошлом сеансе! Ещё два-три сеанса – и чудо совершится!» – восклицал он.

Пришла, наконец, и развязка психической драме.

В роковой вечер В.А. был в состоянии радостного возбуждения и торжественности.

Я, как сейчас, помню всю обстановку и все перипетии этого последнего сеанса. Я вспоминаю стол, поперёк которого лежит доска, концы которой выступают за его края. На доске многочисленные терракотовые фигурки танагры, эта бесценная коллекция, на столе дивная статуэтка. Стол, как обычно, мягко освещён слегка притемнённой лампой. В.А. сидит, как всегда, у стола на стуле около конца доски. Он начинает сосредотачивать свою психическую энергию на статуэтке. Он будто уходит сам из себя, так лицо его отрешено от всего окружающего. Мне становится жутко, в предчувствии чего-то страшного. Сердце моё тревожно ёкнуло, потому что я вдруг увидел, как в глазах статуэткі появилось движение и блеск: что это лицо оживилось, всё оно выражает невероятную муку – муку желания вырваться из каких-то тисков; уста открываются. Я знаю, что галлюцинирую, но что мне до того, когда галлюцинация моя прекрасна! Галлюцинация не рассеивается, она развивается: уже напряглась шея и медленно, с усилием, прелестная головка начинает поворачиваться, устремляя свой взор на В.А.; вот дрогнули плечи, вот идёт волна движения по рукам, которые протягиваются к В.А.; ещё несколько секунд – и прелестное существо сбросило с себя цепи векового сна и уже идёт к нам по столу с каким-то нежным-нежным призывом, обращённым к В.А. В.А. вскакивает с места, весь – порыв, весь – стремление, и в этот миг он задевает конец доски со статуэтками; как по наклонной плоскости, они едут со стола и начинают падать на пол. И – о ужас! – почти инстинктивно В.А. схватывает конец доски, чтобы удержать фигурки от падения. Это удаётся ему, но какой ценой: дивная фигурка, цель стольких стремлений, опять окаменевшая, стоит на своём пьедестале; я ещё успел заметить её взгляд, полный безумного отчаяния и укора, перед моментом его угасания; до сих пор помню я порыв тоски на прекрасном личике! Опять смерть, смерть навсегда!

В.А. бросился к ней, схватил её на руки, прильнул к ней сердцем, как бы желая согреть её и передать ей свою жизнь! И, ощутив мёртвый холод глины, он лишился сил и начал падать в кресло; руки в бессилии выпустили статуэтку. Она упала на пол и разбилась. В.А. был страшен. Его лицо выражало такую глубокую скорбь, что у меня невольно навернулись слёзы.

Ещё бы: счастье погибло по его вине!

В этот великий миг привычное чувство археолога вспыхнуло в нём, он пожалел коллекцию! Пусть

это был миг, но отрешиться от мира он не смог и тем погубил своё счастье.

В.А. был как в столбняке; не передаваемые словами муки переживал он. Я усадил его в кресло и гладил его по голове, я целовал его, я говорил ему нежные слова – он долгое время был безучастен. Я испытал большую радость, когда, наконец, слёзы потекли у него по щекам; вскоре этот страшный плач перешел в рыдания, я не останавливал его. Я остался при нём на всю ночь; только к утру заснул он среди невнятных жалоб и рыданий.

Проснулся он безучастным ко всему, он не отвечал ничего ни мне, ни матери, как будто не понимал наших вопросов; временами он заливался слезами. Мы пригласили, конечно, психиатра, который написал соответствующий уход и прогулки. Некоторое улучшение в том состоянии меланхолии, которое охватило В.А., начало наступать только через несколько недель. Он не служил. Он охладил к своим коллекциям, которые пользовались любовью. В.А. казался человеком конченным, точно вся жизнь ушла из него. Его состояние депрессии грозило перейти в хроническую меланхолию. И я, и матушка В.А. понимали, что если бы нам удалось создать ему какой-нибудь интерес к жизни, то это было бы спасением. Но как создать его? Быть может, путешествие? Это было бы прекрасно, но как уговорить его? Но время шло и делало своё дело. Он изредка заинтересовывался воспоминаниями матери, которая рассказывала мне о своей прошедшей жизни по моей просьбе, в его присутствии. Однажды, по неосторожности, она упомянула в своём рассказе про Танагру. В.А. вздрогнул, взволновался и захотел пойти в кабинет, прося меня проводить его туда. Я попытался отвлечь его от этого намерения. Но пришлось уступить. Я с тревогой ждал нового душевного потрясения. Когда В.А. увидел разбитую статуэтку, части которой лежали на полу, он вздрогнул, взволновался; видимо, эта деталь происшествия – падение статуэтки на пол – не осталась у него в памяти. Он долго, молча смотрел на драгоценные обломки и, наконец, сказал мне: «Дорогой друг, моя мистическая неудача так сильно иссушила мою душу, что вряд ли я буду когда-либо способен накопить в себе психическую энергию, и я уже не вернусь к работе в этом направлении. Но я вижу, что пострадал сильно и как археолог: мой прекрасный уникам погиб! Как это произошло?».

Я рассказал ему подробности. Мы осторожно собрали куски разбитых танагр. Хотя В.А. и было тяжело это занятие, но я рад был и тому, что в нём опять проснулись его археологические интересы. Я систематически расспрашивал его о коллекциях, чтобы вывести из оцепенения его мысль, и подсказывал ему желание путешествовать. Случай помог мне в этой работе. Мой приятель – Виктор Могула, типичный одесский грек – привёл ко мне однажды на приём своего знакомого, приехавшего из Греции. Рослый, хорошо одетый мужчина лет пятидесяти оказался образованным, умным собеседником. О Греции он рассказывал мне восторженно, как это всегда делают греки, яркие патриоты. Всё, что есть в Греции, всегда является в представлении грека лучшим во всём мире. Мой новый знакомый оказался не только богатым коммерсантом, но и потомком знаменитого когда-то фракийского царя Кодра.

Однажды мы заговорили о древней греческой скульптуре. Из моего собеседника забил красноречивый поток знаний и опыта по этому вопросу. Я узнал при этом, что он собирает средства и людей, понимающих дело, для археологической экспедиции в Танагру. Это меня заинтересовало: мелькнула мысль соблазнить В.А. принять участие в этом предприятии. Я познакомил моего нового археолога с В.А., и результаты оказались самыми утешительными. В.А. значительно оживился, а через несколько недель мои специалисты уже отчалили из Одесской гавани в цветущую Грецию.

В отсутствие В.А. я нередко навещал его матушку. Мы оба надеялись на то, что он за своей любимой работой найдет утраченное душевное равновесие. Но невольно и опасались другого исхода, если раскопки не дадут ничего ценного или интересного для В.А. От Виктора Могула я знал, что потомок царя Кодра должен был взять в экспедицию всю свою семью – и жену, и сыновей, и дочерей, и мы могли быть покойны, что В.А. не будет там в одиночестве.

Я не буду описывать отъезда В.А. Черноморский пароход увёз его несколько оживлённым вновь всколыхнувшейся археологической страстью, которой он начал заражать сопровождавшего его Виктора Могула.

В течение многих месяцев его отсутствия и я, и матушка В.А. получали от него то письма, то фотографии. Они изображали различные моменты хода раскопок, группы участников экспедиции, самого В.А., наконец, различные фигурки, извлечённые из недр земли на свет Божий. В.А. с грустью писал, что, хотя материал этот и полон археологического интереса, но, увы, его мечта – найти индивидуальное не стандартное произведение искусства, подобное утраченному, ему не удаётся. О начальнике экспедиции, потомке царя Кодра, и его почтенной супруге он отзывался хорошо. «На днях, – писал он, – ожидается приезд сына и дочери их». Следующим известием была телеграмма от Могула тревожного содержания на моё имя. Случилось несчастье: молодые люди и В.А., знакомивший их с раскопками, вошли в недостаточно ещё укрепленную разведочную галерею; своды её осыпались; брат успел выскочить, а сестра



и В.А. оказались в шахте, отрезанные от мира обвалом; все брошено на её раскопки, заканчивал Могула свою телеграмму. Понятно, что я скрыл телеграмму от Эраты Матвеевны. Через сутки пришла телеграмма, извещавшая меня о благополучном исходе приключения. В.А. ничего не писал о нём матушке. Но письма его приобрели какой-то обобщённый, не очень вразумительный характер; они потеряли ту точность, с которой описывал матери В.А. все детали раскопок; дело доходило до поэтических описаний лунных ночей над каким-то озером, не имевшим никакого отношения к раскопкам. Я готов был думать о травматическом неврозе, а матушка просто тревожилась. Через месяц после очередного письма пришла телеграмма уже из Константинополя, окончательно напугавшая матушку: «Мною найдена прекрасная Танагра работы <пропуск>, совершенно живая: ест, пьёт, танцует и поёт. Возвращаемся». Эрата Матвеевна расплакалась: психоз налицо.

У меня возникла другая точка зрения, и я посоветовал Э.М. для встречи В.А. приготовить корзину майского дара Одессы – белой сирени, влияющей успокаивающе на расстроенные нервы археологов, объяснил я.

Кажется, и Э.М. начала что-то понимать, испытующе глядя на мою весёлую улыбку.

Когда пароход причалил, мы увидели, прежде всего, веселую мину Виктора Могула, командовавшего целой шеренгой носильщиков, которые тащили шикарные чемоданы, мало пригодные для перевозки археологических находок.

Вот, наконец, перед нами и В.А., жив и невредим, а рядом с ним высокая, прекрасная, изящно одетая девушка, очевидно, будущая родоначальница боковой ветви потомка царя Кодра.

Годы идут. В новом доме, в котором поселился В.А., жизнь бьёт ключом, не воображаемая, реальная жизнь, и целая куча маленьких танагр – черномазых и краснощёких – бегают по его широким комнатам и коридорам, звонко смеясь и перекликаясь.

Я давно живу в прежнем помещении В.А.; я коротаю иногда время с бабушкой, когда она возвращается от внучат. В.А. подарил мне свою обстановку, музей и – главное – осколки разбитой Танагры, которая так странно вернула В.А. к реальной жизни.

Реставратор из Археологического музея с изумительным искусством и терпением составил и склеил все кусочки, и статуэтка стоит во всей своей прежней красоте; кто не знает её прошлого, тот и не подумает о перенесённой ею трагедии. Я часто-часто сижу перед нею в кресле и думаю, думаю. Я не пытаюсь оживлять её, давать ей реальную жизнь, и я ни разу не искал формул для этого ни в «Книге Мёртвых», ни у Гермеса Трижды Великого.

Моя душа говорит каким-то мне самому непонятным путём с той сокровенной жизнью, которая заключена в прекрасной статуэтке.

Я чувствую, что мы друзья с нею. Часто я приношу ей мои воспоминания о прежней жизни. Мне кажется, Танагра говорит мне: «Друг мой, ты опять принёс мне обломки твоего счастья! Сколько раз счастье подходило к тебе и ты отталкивал его; тебя тянуло к нему, но у тебя не хватало решимости отдаться ему всем существом своим, бесповоротно и до отрешения от всего другого в мире. И вот, нет в жизни твоей ничего целого и вот ты такой же разбитый, как я! Я ведь тоже разбилась потому, что потянулась из моей скрытой внутренней жизни к внешней, подчинившись волевому призыву слабого человека! Тебя, разбитого, как и меня, склеили руки жизни, и ты кажешься сильным и крепким в приданной тебе форме. Но ты, как и я, только – осколки жизни!».

Я вспоминаю, вспоминаю жизнь и грущу. А Танагра говорит мне: «Вспоминай и учись у прошлого, но не грусти о нём – прошлого уже нет; не строй внешнего благополучия – не в нём счастье; вырабатывай в каждый текущий момент настоящего внутренний покой души и, когда в будущем придёт великий момент смерти, – отдайся ему всецело, без сожаления – это и будет мигом твоего счастья».

---

## ШАЛИМАР

В былых веках, на «крыше мира»,  
В долинах дальнего Памира,  
Иль в Гималаях Индостана,  
А может быть в горах Шимгана,  
Великий жил эмир Омар,  
С ним дочь – принцесса Шалимар.

Принцессу, силы не жалея,  
Осыпала дарами фея:  
И добротой, и красотой,  
И ароматною фатой,  
Исполненной волшебных чар.  
И дивно пела Шалимар.

Едва её заслышав пенье,  
Враг приходил в оцепененье;  
А колыханье покрывала  
Над ним победу довершало:  
Враг не выдерживал удар –  
И в мирный плен шёл к Шалимар!

И долго жили безмятежно  
Эмир Омар с принцессой нежной,  
Но крут замкнули свой светила  
И на крылах у Азраила  
Земной покинула наш шар  
Душа прекрасной Шалимар.

В столетье раз – есть слух в народе –  
Аллах рождать велел природе  
Принцессы дивной повторенье  
Поэтам бедным в утешенье,  
Дабы могли душевный жар  
Излить в стихах в честь Шалимар.

Я много лет гулял по свету  
И мне – бродячему поэту –  
Пришлось вот с Вами повстречаться.  
Кто ж Вы – не трудно догадаться:  
И сердцем я, хоть я и стар,  
Узнал в Вас тотчас Шалимар.

Вы, как она, высоки, стройны,  
И величавы и спокойны;  
Но за улыбкою прекрасной  
И за очей лазурью ясной,  
Скрыт, чую я, страстей пожар,  
Как и у прежней Шалимар!

Вы словно лебедь белоснежный;  
А голос Ваш – большой и нежный  
Нам души грубые пленяет  
И тёплым ветром разгоняет  
Он наших чувств пустых базар,  
Как голос прежней Шалимар.

Как щедр Аллах! Природы сила  
И сверх того Вас наградила  
Фатой чудесной и волшебной,  
И ароматной, и целебной:  
Принёс магический тот дар  
Сын гор – посланец Шалимар.



Был день: терзал Шайтан проклятый  
Мой бедный ум: но ароматы  
С фаты Вы в душу заструили  
И словом ласки умирили  
Душевных бурь моих кошмар,  
Как та, былая Шалимар!

И как от трели соловьиной,  
Звучащей в полночь над долиной,  
Мечты и трепет ожидания  
Слиты в одно очарованье –  
Так для меня (Аллах Акбар!)  
В одну слились две Шалимар!

5. IV.1943 г.

### ДЕД И ВНУК

«Скажи мне, дедушка Филатов,  
Что ты видал у азиатов?  
Что лучше? Наши, их ли страны,  
Их Чингисхановские станы?  
Зачем вернулся на Кавказ?».

– Послушай, внучек, мой рассказ –  
В равнинах жёлтых Туркестана  
Я видел быстрый бег джейрана,  
Туркмена скачку на коне,  
Орла в небесной вышине;  
Как дар возделанной пустыни  
Вкушал арбузы я и дыни;  
По поймам видел много стад  
И город фруктов Ашхабад;

Всего, внучок, не вспомнать!  
Потом на север лёг мой путь.  
Среди гробниц Узбекистана  
Останки видел Тамерлана,  
Рек и арыков быстрый ток,  
Узбечек пёстрых, рис, хлопок,  
Найди заветную светлицу  
И в ней мечты моей Царицу  
Родную всем нам Шалимар.

Она всё также ли прекрасна,  
Как прежде пенье любит страстно,  
Всё также ли она опасна,  
Как встарь, для сердца моего?  
Скажи, глаза её сияют,  
Быть может, слёзы в них сверкают  
И тени горя омрачают  
Её высокое чело?

О, если так, то на мгновенье  
Мелькни ей ласковым виденьем,  
Повей ей тёплым утешеньем  
Ты на туман её тревог.

Но, может быть, что вечерами,  
Окружена она друзьями  
И ярко озарён огнями  
Её уютный уголок?

О, если так – её успехам,  
В Душе её откликнись эхом,  
Напомни ей знакомым смехом  
Страну, где жил Эмир Омар.

Пусть вспомнит Азши просторы,  
Её сады, потоки, горы,  
И с другом – старцем разговоры  
С певцом двух дивных Шалимар...

\*\*\*

Осенней ночью в лесу угрюмом,  
Где стонет филин, где с тихим шумом  
Ведут беседу дерев вершины  
Про тёмный омут в глуши долины,  
Про тайны леса и чащ окрестных,  
На перекрестке дорог безвестных,  
В часовне старой, давно забытой,  
С прогнившей крышей, травой покрытой,  
Затеplил странник пред ликом Девы  
Огонь лампы; пропел напевы  
И вновь поплёлся неутомимо  
В свой путь далёкий, к Иерусалиму.  
Лампы пламя горело ровно  
И грело стены оно любовно,  
Тянулось к Лику оно с приветом  
И озаряло чудесным светом.  
Окрест часовни седые ели,  
Что в сне зелёном зацепенели.  
С свистящим смехом сквозь стену леса  
Прорвался ветер, как злой повеса.  
Он был злораден, он был несносен.  
Тепло и ласку с зелёных сосен  
И с мудрых елей он грубо свеял  
И в дверь часовни, свистя, повеял.  
Боролось долго со смертью пламя:  
То Лик иконы оно лучами,  
Вдруг разгораясь, весь обнимало,  
То колебалось и трепетало,  
То в сизой тени, синяя, гасло  
И, вспыхнув ярко, оно угасло.



Оно угасло, но в снах зелёных  
Дерев, лампадой заворожённых,  
О ней осталось воспоминанье,  
Как дней прошедших очарованье.  
С тех пор о небе они мечтают,  
Ветвями машут и вспоминают.  
Как в лес дремучий ночной порою  
Чудесный странник пришёл тропою,  
Зажёт лампаду и пел напевы  
В часовне старой пред Ликом Девы.

#### УЛЬТРА-ПЕССИМИЗМ

«Ямщик, не гони лошадей!»  
– Аль некуда больше спешить?  
Она ль изменила? Вы ль ей?  
Иль нечем дверь счастья открыть?

Печальный ответ мой я дам:  
Как некогда, полон я сил  
И сколько бы ни было дам,  
Охотно бы всех я любил.

Ямщик, посоветуй, как быть?  
– Мне времени нет никогда,  
Мне некогда больше любить!  
А есть и похуже беда:

Жилплощадь нужна, чтобы жить,  
Но нужен лишь метр для страстей!  
И нет его! Негде любить!  
Ямщик! Распрягай лошадей!

#### ПРОЩАЙ, ЗЕМЛЯ

Прощай, Земля! Настало время  
Мне изменить привычный путь!  
И тела тягостное бремя  
С души измученно стряхнуть.  
Не помяну тебя я лихом,  
Ты мне давала много раз  
Дни проводить в приюте тихом  
Под голос грома, в бури час.  
Знавал я миги вдохновенья,  
За истину победный бой,  
Порой – молитву умиленья  
И творчества порыв святой...

# «ДРУЖБА ЖУРНАЛОВ»

## ЖУРНАЛ «РУССКОЕ ПОЛЕ» – В ГОСТЯХ У «ЮЖНОГО СИЯНИЯ»

Здравствуйте, дорогие, с Новым годом!

Рада сообщить, что буквально вчера из типографии получила тираж свежего номера журнала, в котором большой подборкой, подготовленной Сергеем Главацким, представлено «Южное Сияние»! Хочется верить, что «дружба журналов» будет иметь продолжение. Ждём ваш поэтический десант в Кишинёв! А пока – на 3 февраля – планируем Литературный телемост с вашим участием.

«Русское поле» – литературно-художественный и публицистический журнал Ассоциации русских писателей Республики Молдова – единственный «толстяк» в Молдове, входящий на русском языке. По канонам мы стараемся сочетать «литературный сборник, политическую газету и своеобразную энциклопедию». Выходит с апреля 2010 года. Учредитель и гл. редактор – председатель АРП РМ Олеся Рудягина.

За 6 лет вышло 17 номеров и спецвыпуск, приуроченный к проведению Страновой конференции российских соотечественников, проживающих в Республике Молдова. Журнал выпускается при поддержке Посольства Российской Федерации и Российского центра науки и культуры в Республике Молдова. Распространяется бесплатно.

Кроме традиционных рубрик поэзии («Пушкинская горка»), прозы («Поле притяжения»), переводов («GRAIUL PÎNII – Голос хлеба») и литературной критики («Зёрна и плевела»), кроме рубрики, знакомящей читателей с новыми книгами русских литераторов Молдовы («Жатва»), страниц, посвящённых вопросам православия («Воскресение») и юным талантливым авторам («Взлётная полоса», ведущая – Татьяна Орлова-Волошина), кроме рубрик «Звезда над полем», посвящённой ушедшим литераторам, и «Поли-Арт» (значительные личности и события мира кино, музыки и изобразительного искусства нашей страны), «Беседы о театре» Виктории Алесенковой, в журнале много эксклюзивных мемуарных и публицистических материалов, освещающих важные моменты отечественной истории: «Эхо XX века» (ведущая рубрики – Ольга Тиховская), «Забвению не подлежит», «Осторожно: история!». Одна из их целей – возвращение утраченных, а порой и намеренно забытых имён молдавской культуры и искусства, осмысление сложных исторических перипетий нашей страны.

В 2016 году появились «Бессарабские перекрёстки», повествующие об особенностях культурной жизни Бессарабии и русской эмиграции в период между двумя мировыми войнами. Автор и ведущая – научный сотрудник Академии наук РМ Ольга Гарусова.

С 12-го номера в «Русское поле» введена рубрика «МОСТ. Берег левый – берег правый», призванная знакомить и объединять литераторов двух берегов Днестра, последние 25 лет трагически оторванных друг от друга. Ведёт её поэтесса Марина Сычёва (г. Рыбница).

«Болевая точка. Исповедь современника», – название говорит само за себя.

«CASA MARE» (традиционная в доме молдаванина, лучшая комната для особых праздников, приёма самых дорогих гостей) – распахивает свои двери перед ярким Гостем, публикуя прозу, поэзию, эссе.

«Один в поле – воин» – представление неординарной творческой личности современной Молдовы.

В рубрике «Ближние Зарубежья» (ведущая – Ви Чембарцева) журнал знакомит читателей с произведениями проживающих в новых независимых государствах литераторов, как национальных (в переводах), так и русскоязычных. В нескольких номерах «Русского поля» обширными подборками были представлены проза и поэзия авторов из Таджикистана, Армении, Узбекистана, Грузии и Республики Беларусь. Готовится публикация авторов Азербайджана.

«За межой», предложенная поэтом Сергеем Пагином, уносит нас в поэтические центры регионов России и ближнего зарубежья: в «Русском поле» были опубликованы талантливые поэты Ярославля,



Харькова, Петербурга, Урала, Вологды. И вот, в Рождественском выпуске 2016 года, у нас на страницах прописался город «у Чёрного моря».

«ПЕРВАЯ МИРОВАЯ – 100 лет» – в 2014 году под такой рубрикой были впервые напечатаны материалы дневников полковника царской армии Александра Дурасова, присланные из Бельгии. Специально для «Русского поля» их подготовил к печати Александр Мельник, гл. редактор журнала «Эмигрантская лира».

«В Россию? – В Россию!» освещает ход реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Отдельные рубрики «Куликово Поле», «Семейный альбом Победь», «Победители» посвящены воспоминаниям и творчеству участников Великой Отечественной Войны, их потомков.

Для самых маленьких живёт в журнале «Арысь-поле».

«Поле Чу» – облюбовали сатира и юмор.

Это и многое другое варьируется от номера к номеру, кроме постоянных ключевых поэзии и прозы.

Журнал оформляет художник Сергей Сулин – член Союза художников Республики Молдова, председатель Товарищества русских художников РМ «М-АРТ». Каждой рубрике соответствует оригинальная графическая вставка – образ.

Литературный редактор и корректор – известная в Республике Молдова журналист и редактор Нелли Торня.

«Русское поле» выходит 4, 3, 2 раза в год – в зависимости от поддержки. В 2016 году мы выпустили в свет три полноценных номера.

Добро пожаловать!

*Олеся Рудягина*

**Для справки:** Ассоциация русских писателей Республики Молдова. Впервые организация с таким названием появилась в Кишинёве в 1988 году. Руководителем стал поэт и публицист Николай Сундеев. В актив входили такие самобытные авторы, как Валентин Ткачёв, Борис Мариан, Олег Максимов, Виктор Голков, Валентина Костишар, Ирина Найдёнова, Инна Нестеровская... Организация прекратила своё существование, когда практически все её авторы в годы обрушения СССР покинули Молдову.

Новая, юридически оформленная, Ассоциация (1998 г.), возникла, как следует из её Устава, в целях сохранения и поддержки русского языка и русской культуры в РМ, для пропаганды произведений авторов, пишущих на русском языке, для защиты творческой, профессиональной и личной свободы, достоинства русских авторов. У истоков возрождения её стояли поэты-фронтовики Виктор Кочетков и Александр Андрусь (ныне покойные). Первым председателем была Аделина Вражмаш. Вторым – Александр Милых.

С 2005 года Ассоциацией руководит Олеся Рудягина. На сегодняшний день это живая писательская организация, объединившая наиболее ярких, пишущих на уровне, достойном русской литературы и русского языка, поэтов и прозаиков Молдовы.

Среди них: Юрий Гудумак, Анжела Енаке, Валентина Костишар, Олег Краснов, Елена Купшир, Анатолий Лабунский, Оксана Мамчуева, Татьяна Некрасова, Наталья Новохатняя, Татьяна Орлова-Волошина, Сергей Пагын, Олег Панфил, Леонид Поторак, Ирина Ремизова, Наталья Родина, Сергей Сулин, Валерия Чеботарёва, Ви Чембарцева, многие другие.

Ассоциация терпеливо собирала силы и сегодня в ряды АРП РМ входят авторы из разных городов и районов с двух берегов Днестра: Кишинёва, Бельц, Единец, Яблони, Резины, Рыбницы, Дондюшан, Бендер.

Деятельность организации разнообразна и «разножанрова». За прошедшие 18 лет Ассоциация подготовила к печати рукописи десятков книг на русском языке, провела огромное количество творческих отчётов, тематических вечеров, посвящённых памятным датам и творчеству классиков русской литературы; презентаций новых книг своих авторов, музыкально-поэтических встреч в центральных залах столицы (Органний, Национальная филармония, Бюро межэтнических отношений).

С 2014 года по инициативе Ассоциации русских писателей Республики Молдова в стране проводится Международный фестиваль русской литературы в Молдове «Пушкинская горка», который проходит при поддержке Российского центра науки и культуры в РМ, Посольства Российской Федерации в Республике Молдова, дома-музея А.С. Пушкина в Кишинёве и Русской общины РМ.

# ТАТЬЯНА НЕКРАСОВА

Кишинёв

Родилась и живёт в Молдавии. Окончила Технический университет Молдовы, работает аналитиком информационных систем. Публикации: «Арион», «Литературная газета», «Москва», «Белый Ворон», «Зарубежные задворки», «Зарубежные записки», «Северная Аврора», «Русское поле», «Русское слово», «Книголюб», «Этажи». Шорт-лист конкурса «Заблудившийся трамвай» (2013). Книга стихотворений «Трудовая книжка» (2016).

## (НЕ)СУЩЕЕ

мы ему снимся – вот он, простой ответ,  
всё объясняющий: потусторонний свет,  
фантазмагории, ужасы, чудеса,  
суетность эта вся...

мы ему снимся, надо же, как везёт:  
зайчики, мишки, ослики, это всё –  
драматическое – вспомнит ли как-нибудь  
или как сон забудет?

## ПРИЗНАК ЧУЖЕСТИ

кажется вот оно  
думаешь как же так  
хочется правды  
самой простой из правд  
но убедительно прост  
ледяной пятак  
в луже пластмассовый космонавт  
улыбающийся волкодав  
с неба хлынувшая вода  
лишь ты – никогда

## СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ

к этому пасмурному теплу  
талого снега, булочку с маком,  
яблоком, светящихся на полу  
сквозь матовую бумагу,  
за крошки дерущихся воробьёв,  
луковку на подоконнике.  
нас ожидание не убьёт,  
смерть не догонит.

## УСТАЛОЕ

сверху небо, в небе облако  
неоформленного облика,  
а за облаком звезда –  
всё как будто по местам.



только мне и не известно  
в жизни собственное место  
ни прилечь и ни присесть  
может где оно и есть

солнечная дорога  
вдоль дороги платаны  
сердце знает что может меня растрогать  
как скитаться устану

### ВСЕ РАВНО НЕ ХВАТАЕТ

пуста, как бутылка,  
ветер в горле свистит,  
солнце битое горлышко  
обводит сухим лучом –  
время сглаживает черты,  
как бы стрелки перевести?  
и не жалеть нисколько  
ни о чём.

горлу от касания горячо  
словно кто губами да по глотку  
пустотой как будто не огорчён  
и напрасно спрашивать кто откуда  
чего ещё

### ШЁПОТОМ ВЕТРА

иногда  
спрашивай обо мне  
тень бегущую по стене  
облако меняющее черты  
от вынужденной немоты

ах как же пахнет яблоко забытое на столе  
еле горчит у хвостика будто горелый хлеб  
пахнет ещё не весной но тем что вот-вот пройдёт  
только и слышно масленицу в костёр

лучше зелёные копыя из жирной сырой земли  
жёлтые стрелки синие звёзды белые корабли  
а пока что цветное во сне серое наяву  
так вот я и живу

### ПЕРЕХОДНОЕ

что бы со мной ни стало – переживу,  
что бы с тобой ни стало – переживаю  
так, что расходится шкура моя по шву,  
зашиваю, но снова расходится ножевая.

видимо, так нельзя, да разучиться как?  
было бы хорошо словно сменить пластинку:  
что бы со мной ни стало – небо и облака,  
что бы с тобой ни стало, человек-невредимка.

## ВСЁ ЧАЩЕ

я тоже буду счастлива когда  
 без ложной боли ложного стыда  
 перелистаю памяти тетрадь  
 и перестану в прошлом умирать

январский чуть подвялый виноград  
 и яблоко печёное с утра  
 спю секунду счастлива вполне  
 как в прошлом никогда пожалуй не

## ИРИНА РЕМИЗОВА

Кишинёв

Родилась и живет в Кишиневе. Окончила филологический факультет Молдавского государственного университета (специальность «Русский язык и литература»), работает там же, на кафедре русской филологии. Читает курсы истории русской литературы XVIII-XIX веков и теории литературы, а также спецкурсы по сравнительному стихосложению и анализу стихотворного текста. Автор книг стихов «Серебряное зеркало» (2000), «Прикосновения» (2003), «Неловкий ангел» (2010). Редактор-составитель альманаха «Как слово наше отзовется» (Кишинев, 2003).

## СНЕЖНЫЙ ШАР

Бывает, как заснёшь накоротке,  
 увидишь лавку в дальнем городке.  
 Игрушки расписные на витрине,  
 недолгие, как подобает глине:  
 избушка, белка, обезьянка, ёж,  
 шелкунчик, что на Фридриха похож,  
 и шут в заплатках итальянской штопки, —  
 ютятся в многокомнатной коробке.

Разглядываешь зайцев и слоних  
 в нарядных незатейливых узорах,  
 и кажется, что всё начнётся с них —  
 всё сбудется нечаянно и скоро:  
 рождественская ель, и светлый дом,  
 от мира заслонённый снегопадом,  
 и мурчливый кот, и спящий рядом  
 теплолюбивый пёс, и на потом  
 отложено не будет ничего...

И ты проснёшься. Будет Рождество.  
 Ты в снежный шар помотришь, не мигая:  
 там дом другой и женщина другая,  
 и пёс другой, и вовсе нет кота,  
 по ели — от подставки до верхушки —  
 гуляют незнакомые игрушки,  
 и за окном — иная высота...



И тихо по протоптанной воде  
уйдёшь за снег – единственный везде.

### БАРЫШНЯ ЕДЕТ

С первых шагов по садовой дорожке  
ей неизменный порядок знаком:  
барышни ездят в каретах и дрожках,  
а не блуждают по свету пешком.

Вот потому, в самолётном ли кресле  
или на заднем сиденье авто,  
барышня едит повсюду, а если  
не на чем – то никуда ни за что.

Мимо готических замков и пагод,  
где-то в гостях позабыв альпеншток,  
барышня едет для вида на запад,  
чтобы тайком повернуть на восток.

Тошно в болтанках чужих революций,  
на недоигранной кем-то войне...  
Барышня всё ещё может проснуться  
на остановках дыханья во сне.

Кто-то дорогу качает, как зыбку.  
На полосатые глядя года,  
барышня едет, то тихо, то шибко,  
и, как ей кажется, знает, куда.

Дом по бревну раскатали соседи,  
ластиком с карт полустёрта страна...  
По бездорожью, но барышня – едет,  
и до тебя добёрется она.

### ПРО ЧЕРТОПОЛОХ

«худо взаперти», –  
скупа и ворча,  
жалится в груди  
сирота-волча.  
сказано: молчи,  
чай, не соловей.  
лаются сычи  
через тын ветвей.

каб не зверья стать,  
не бирючья выть...  
незачем гадать,  
что могло бы быть –

из-за веретён  
скалит зубы бес:  
кто в лесу рождён,  
убирайся в лес!

травку-резеду  
 съел чертополох.  
 в костяном саду  
 бродит волчий бог –  
 ясный лунный свет  
 над прогорклой тьмой...  
 из людских тенет  
 заберёт домой:

«отведи глаза –  
 в хате обжитой  
 тот, кто не сказал  
 вслед тебе: постой.  
 поперёк пути –  
 спелое жнитво...  
 как ко мне идти –  
 отпусти его».

### РЕТИНУТО

идёшь-бредёшь по берегу реки,  
 до середины затканной туманом.  
 грачевником набитые дубки  
 бранятся на наречии гортанном,  
 поскольку от темноты до темноты  
 под сению деревьев ширококоротых  
 пасут мышшей бывалые коты  
 в суконных разноцветных дафлкотах.

вокруг ни киселя, ни молока,  
 ни яблони, ни печки, полной пышек –  
 как жеребёнок, дышит в бок река,  
 веснушчатая летом от кубышек.  
 сквозь марево как будто виден свет,  
 и каждый шаг всё больше ретинуто,  
 но нет моста, и переправы нет,  
 и плавать не учили почему-то.

### ЗВЕЗДА

Однажды, не жив, но ещё живуч,  
 подранок, злобарь, зверёк,  
 с разбега споткнёшься о тонкий луч,  
 натянутый поперёк,

как вкопанный, встанешь, задрал башку,  
 у вбитого в твердь гвоздя  
 и взгляда – впервые не начеку –  
 от света не отводя.

Свинцовоест воздух, стучат виски,  
 висит в пустоте ружьё –  
 а смотришь, бездумно и без тоски,  
 на маленькую неё.



Снуют пешеходы туда-сюда,  
толкаются: мол, иди,  
не зная ещё, что она, звезда,  
намного важней пути.

### БЕГУ-БЕГУ

бежком-бочком сходя с холма,  
во все глаза смотри:  
чем ближе тьма или зима,  
тем ярче свет внутри.

кто тихим теплится огнём,  
кто скачет по мостам...  
ведь небо ближе с каждым днём,  
ещё вот-вот – и там.

кто догорел – тот был таков,  
умчался в вышину,  
как письма счастья, паучков  
подбрасывать к окну.

что намечталось на века,  
то вышло – на веку,  
и привезённая тоска  
сверчком свербит в боку,  
и на предутреннем лугу  
цветет полынь-звезда...

а я ещё бегу-бегу,  
как будто есть куда.

### ОТСТУПАЕШЬ КАК МОРЕ

Отступаешь как дышишь – размеренно, по шажку.

Так, в замедленной съемке, расходятся прочь коты,  
расхотевшие драться, – по-прежнему начеку,  
но уже унимая встопорщенные хвосты.

Так к дверям подвигается боком усталый гость –  
на хозяйские речи учтиво мычит в ответ,  
а душа его дома, повесила плащ на гвоздь  
и на маленькой кухне затеплила рыжий свет.

И спешить вроде некуда – а говорят, пора,  
не вернуться навеки – так подзавести часы.  
Там, откуда уходил, заводятся детвора,  
длиннокрылые птицы, простые ничьи-то псы.  
Твой разрозненный скарб им на растерзанье дан –  
набегут и растащат, крича, вереща, грызя...  
Будто собранный наживо фибровый чемодан  
по дороге раскрылся – а вещи собрать нельзя:

их потом подберут и заставят лежать рядком,  
унесут продавать отдыхающим за гроши –  
и они задохнутся, стреноженные песком,  
пассажиры в ракушках, отставшие от души.

Отступаешь как помнишь – в холодной твоей воде,  
чем от берега дальше, тем ярче глубинный свет.  
Поначалу возьмутся окликивать – эй, ты где? –  
а потом попривыкнут, как будто тебя и нет,  
привезут чернозём, понатыкают города,  
именуя долиной твоё нежилое дно.

...Отступаешь как море: надолго – не навсегда,  
потому что оно возвращается всё равно.

### САД УЛЕТЕВШИХ ПТИЦ

птицы внутри тебя –  
пёстрый крылатый люд –  
тинькая и трубя,  
разные гнёзда выют.

зяблики и стрижи,  
лебеди и сычи...  
перепела во ржи,  
колокола в ночи.

ведает чёрный мних,  
времени брат меньшей:  
только одна из них  
станет твоей душой.

век её невелик,  
песня её проста:  
крестики – чик-чирик –  
на тишине холста.

не закогтил бы кот,  
не умыкнул бы тать...  
сколько она живёт –  
столько тебе летать.

и пропадут они,  
как появились – враз...  
докоротаешь дни  
с вороном глаз-на-глаз, –

лестницами листвы,  
тронами черепиц,  
вместе войдёте вы  
в сад улетевших птиц.



## ПОВОДЫРЬ

Покуда тот, кто тянет нить,  
уцепленную за  
лопатки, вышел покурить –  
гляди во все глаза,  
кошачьи распахнув зрачки,  
пока не встала тьма,  
на виноградные полки,  
сходящие с холма –  
истёрты, но ещё белы,  
упёрлись в синеву  
шпалер ружейные стволы,  
мерцающая сквозь листву.

Кто знает, что увидишь ты  
на следующий шаг,  
сухие кости пустоты  
припрятав для собак?  
Какой дорогой поведёт  
тебя – куда невесть –  
твой безымянный пастырь, тот,  
который просто есть,  
на нелинованный пустырь,  
не рассказав того,  
что ты – глаза и поводырь  
незрячего его.

## ОН СЛУШАЕТ

Он слушает: совой из темноты,  
кротом из-под земли – незримой кожей –  
как складывают пёстрые зонты  
забытых снов в предутренней прихожей,  
как в жерновах пустопорожних фраз  
на мелкие песчинки размолось  
в уме проговорённое не раз,  
но так и не рассказанное в голос,  
как время подступает тяжело,  
как бьётся в паутине будних мает  
похожее на бабочку весло...

Он слышит всё – и всё запоминает.

Когда же замыкает мир уста  
в усталой обескровленной истоме,  
Он говорит – и речь его проста,  
как тёплый хлеб и соль в крестьянском доме,  
где в клеточке плетёной – певчий чиж,  
а за столом сидит семья большая...

Но ты не отвечаешь – ты кричишь,  
Его слова слепя и оглушая.

**АЛЕКСАНДРА ЮНКО**

Кишинёв

Поэт, прозаик, эссеист. Родилась в 1953 году. Окончила филфак МолдГУ. Работала в школе, Доме-музее А.С.Пушкина, муниципальной еврейской библиотеке имени И. Мангера, различных СМИ. Как литератор и журналист печатается с 1968 года. Автор нескольких книг стихов, эссе, прозы (переводных, оригинальных и в соавторстве с Юлией Семёновой). Стихи и проза печатались на интернет-портале «Подлинник», в международных альманахах «Связь времён» и «Поэзия – женского рода» («Согласование времен»), в итоговых сборниках конкурса малой прозы «Белый Арап», в антологиях русской прозы Молдовы «Белый Арап» (2015) и «Поиск любви» (2016), в сборнике «Прощай, Молдавия!» (Тель-Авив – Москва), в журналах «Русское поле» (Молдова), «Москва», «Семь искусств» (Германия), «Артикль» (Израиль), «Порт-фолио» (Канада), «45 параллель», «Дети Ра», «Зарубежные записки», «Поэтоград» и др. Лауреат премии журнала «Зарубежные записки» (2015). Поэтическая подборка вошла в лонг-лист Волошинского конкурса «При жизни быть не книгой, а тетрадкой» (2016).

\*\*\*

Сырой ноябрьский воздух  
горько-сладкий.  
Всё спинуло, что было за душой.  
Летят в окно кленовые крылатки,  
ореха листья, тронутые ржой.

Нависли тучи, день идёт на убыль,  
метели скоро в двери постучат...  
И бедный холм лежит под лисьей шубой,  
пожалованной с барского плеча.

\*\*\*

Летает марля у двери открытой,  
стрижи на треугольники кроют  
квадрат, на солнце греется корыто  
и тяжелеет дикий виноград.

Но и во сне не донести – куда мне? –  
два переполненных ведра  
до той черты, где не осталось камня  
от моего двора.

Слепым щенком по следу память рыщет,  
беспомощно скулит среди руин,  
а ветер свищет, как на пепелище,  
раскачивает клочья паутин.

По лесенке трухлявой скачут пятки –  
взлетаю на чердак, в углу газет  
истлевшие подшивки за пять лет,  
сухие кукурузные початки,

помёт мышинный, пыль и горы хлама.  
За домом, в окровавленной траве,  
базарного курёнка режет мама  
и плачет по его пропащей голове.



## ХИМИЯ

Вывих времени, темени, имени –  
только трубы кричат за стеной –  
затянулся, как школьная химия:  
резкий запах  
и шкаф вытяжной.  
И какими же были мы гордыми,  
любопытательно правду открыв  
и устроив  
штативу с ретортами  
показательный маленький взрыв.  
Раздражение кожи от щёлочи,  
разъедает глаза кислота.  
Поскорее смешайте их, сволочи,  
и останутся соль и вода.  
Всё вокруг сожжено и расколото,  
и реакция дышит в лицо.  
Вены высланы солнечным золотом,  
но пробиты тяжёлым свинцом.  
Ах, поэзия, ветошь бумажная,  
бедный лакмус эпохи своей,  
и страдает молекула каждая  
до звонка  
у закрытых дверей.

## ПЕСНЬ ПЕРЕХОЖЕГО ЛИРНИКА

Одна грудь болит и ноет другая.  
На краю земли мать сынов ругает:

вас ли не голубили, вас ли не любили,  
на свою погибель что ж вы натворили.

Головой поникла над пустым корытом.  
Один сын пропащий, а другой убитый.

Где ты, старший, где ты, голодный, раздетый.  
А меньшого кости тлеют на погосте.

Не утешить муку, не вернуть утрату.  
Поднял злую руку брат на брата.

Замутились очи пеленой кровавой,  
слева слёзы точит и рыдает справа.

Что ж ты дом оставил, неразумный Авель?  
В нетях, нераскаян, не вернётся Каин.

Впереди – пустыня, и лежишь во прахе.  
Для кого на тыне сохнут две рубахи?



Господи мой Боже,  
всё одно и то же  
во поле былинном  
и в крестьянской хате.

Отпусти грехи нам  
и прости нас, мати.

\*\*\*

Закат гипертонически багров,  
и облаков тяжёлые надгробья  
нависли над лоскутьями дворов,  
над серыми, напитанными кровью  
бинтами.

Солнце замкнуто на ключ.  
Но ты, ребёнок, сохранённый втайне,  
через глазок последний ловишь луч  
пространства в перевёрнутом стакане.

Ночь закрывает наглухо чехол,  
поигрывая ножичком лукавым.  
А белый свет на глубину ушёл,  
растянут день, как небелёный холст,  
и сквозь него растут жуки и травы.

\*\*\*

Быть  
спичкой в Божьем коробке,  
суглинком  
под его ботинком,  
уклейкой на Его крючке,  
горбушкой хлеба в узелке  
и луковицы половинкой.

Туманом быть над лодкой утлой,  
Днестром, уснувшим до зари,  
и глупой камышовой дудкой  
с Его дыханием внутри.

## СТИЛИ

Style драных футболок, нечесанных лохм, исподних,  
спадающих с задниц, – так пьяный моряк на сходнях  
чуть держится, раскорякой – ноги, одна и другая,  
кренится-качается, воздух руками хватая, –  
лямок бюстгальтера, прячущегося от прачечной,  
но не от взглядов,  
style бабы бездомной, плачущей  
у задней двери в кабак,  
где вкусно так



пахнет, что слюнки текут, но нет наличных,  
карточки, чека и отношений личных,  
но официантка, во двор выйдя для перекура,  
сквозь мокрую тушь смотрит на старую дуру  
и ей выносит целый пакет съестного  
под неумолчный грохот транспорта городского.

Этот бомж-style, что увидишь в любом мегаполисе,  
не прижился у нас, в часовом нашем поясе,  
мусор выносим, нарядные, как для свиданий, –  
как, почему? сие есть великая тайна, –  
бросим в контейнер, а рядом поместится скромно  
мешочек объедков для кошек, собак и бездомных.

Собаки и кошки не брезгают и пируют,  
а люди с помойки отходы меж тем сортируют:  
стекло или пластик, посуду, одежду, бумагу –  
что можно за деньги сдать ко всеобщему благу.  
Им недосуг, не до ляс, не до стилей и философий.  
Редко их видишь анфас, а чаще в профиль.

Но если отмыть хорошенько такого бродягу...  
Его хоть на выставку, только не дал бы тягу.  
Да хоть и к мадам Тюссо, к восковым персонам,  
где тихо, легко, светло, и чисто, и хорошо нам.

#### ПРОЦАЛЬНАЯ ПЕСНЯ ЖАВОРОНКА

И долгим был закат, и снова рассвело,  
ни дыма, ни огня, насвистывает ветер,  
петух не закричит, как вымерло село,  
остались старики да дети.

Летит с дороги пыль, мутнее пастораль,  
висит большой замок в дверях начальной школы.  
Дед-пасечник полгода прохворал,  
преставился, осиротели пчёлы.

На поминальный стол во глубине двора  
вдова несёт казан в рыданных безотчётных.  
Запахло стружкой, свежий крест с утра  
сколачивает плотник.

Бобыль он бобылём, слегка подвыпил, да,  
его Мария в Риме тянет лямку  
в прислугах, без неё в семье беда,  
младенец Иисус не помнит мамку.

\*\*\*

Вечерний час. За маленьким столом  
семья застыла в ожиданье мига,  
когда отец поделит мамалыгу  
суровой ниткой.  
Меркнет окоём.

Но светит солнце каши кукурузной  
здесь, во вселенной маленькой моей,  
вокруг неё, словно планеты, кружат  
сметана, брынза, шкварки и муждей.

На запахи соседка постучится,  
а благодать превыше нищеты.  
Я сплю во сне, любимые черты  
пытаюсь разглядеть, но тают лица.

И столько счастья быть в родном кругу,  
что этот вкус я чувствую поныне,  
перебирая жёлтую муку  
и память с горьким запахом полыни.

### НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА

Накануне Рождества  
от сиротства до родства –  
только шаг через порог,  
только прыг через сугроб.

Земляной утоптан пол,  
по соседству дышит вол  
и шуршит солома.  
Пахнет дымом. Домом.

И младенец спит пока  
сладкой каплей молока,  
почкой нераскрытой,  
буковкой иврита.

В небесах звезда мерцает,  
за собой ведёт волхвов,  
но ещё не предвещает  
техногенных катастроф.

\*\*\*

Отсюда унесу и вдалеке  
нелепое, житейское, простое  
найду потом в походном рюкзаке,  
что мало весит и немного стоит –  
пыль под ногами, выпитая зноем,  
скулёж собачий, окрик петушиний,  
овечий гурт, стекающий в низину,  
пятак в кармане, яблоко в руке.

Пройду во сне окраинным двором,  
а с улицы кричат: «Старьё берём!»,  
и от печи теплом потянет сладко.  
Заплаканная бедная заплатка  
между Прутом и медленным Днестром  
пришита к сердцу крупными стежками



и здесь пока что остаётся с нами,  
под звёздами над гаснущим костром,  
и там, куда мы медленно плывём,  
воды не приминяя под ногами.

## ЛЕОНИД ПОТОРАК

Прага

Родился в 1994 году в Кишинёве. Член Ассоциации Русских Писателей Республики Молдова, автор поэтического сборника «В спичечном коробке» (Кишинёв, 2012) и повести «Сатья-Юга, день девятый» (Кишинёв, 2016). Публиковался в журналах и газетах «Юность», «Грани», «Москва», «Литературная газета» (Россия), «Русское поле», «Русское слово» (Молдова), «Интеллигент» (США), «Эмигрантская лира» (Бельгия) и других.

### ПРОСТОЕ

Здесь такая синева  
Хоть представь на миг  
Что несёт меня трамвай  
Мимо глаз твоих

И не так уж велика  
У меня беда  
Но проснусь и Боже как  
Я попал сюда

Только бабочкой в окне  
Лодочкой в горсти  
Тот мотив который не  
Воспроизвести

### ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНО

А ночь наступает черна как смородина  
Чудна и торжественна  
в клумбах шмели  
И воздух от жара столь плотен что вроде бы  
Не видно земли

Густеет над городом тёмное месиво  
Деревья листвой шевелят  
И сходит вода словно пальцы гермесовы  
На панцирь сгоревшего здесь жигуля

И громче собак и взорвавшейся градины  
Сирен всполошённых и ливня поперх  
В обугленных недрах врубается радио  
И ловит почти без помех



И голос звезды отдаленного высека  
 Мне до рассвета поёт  
 О самой прекрасной о самой немислимой  
 А я-то не верил  
 а вот

### ХОТЬ ГОЛУБЕМ

ты всё ещё спишь рассыпается снег  
 а нечто вершится над нами  
 и вдруг совершается голубь в окне  
 и веник словый в стакане  
 над крышами носит большую пургу  
 окно дребезжит на ветру и  
 мне снится что в этом счастливом кругу  
 меня распластает витрувий  
 и господи как же мы станем ясны  
 каким же наполнятся светом  
 все лампочки мира все елки и мы  
 и в тучах плывущая эта  
 то злая фи́гня то святая звезда  
 сродни близнецам да плядам  
 которая нас возвращает сюда  
 хоть голубем хоть снегопадом

### СТРОФЫ

Как ни несло ни било  
 Только в один из дней  
 Станут белей белила  
 Голуби голубей

Выгляну ли увижу  
 В лужах скользят рябя  
 Вишня антенна крыша  
 Похожие на тебя

Радугами мигая  
 Двигутся по воде  
 Мне мол печаль какая  
 Что ты сейчас и где

Тем и спокойней тем и  
 Легче в такие дни  
 Думается что все мы  
 Всё-таки не одни

Что вот ещё полслова  
 Полвыдоха полбеда  
 Смотришь а у любого  
 Есть непременно ты

Кухня и подоконник  
 В жёлтых таких лучах  
 И блюдец в твоих ладонях  
 Светится как свеча



Или сверкнувши мылом  
Выскользнет из руки  
Белое как белила  
Круглое как круги

\*\*\*

Приходит ветер с реки. Зима  
Проходит вторую треть.  
Дома толпятся в ночи, дома  
Не могут себя согреть.  
И между нами, снега копя,  
Ложится земная гладь,  
И, просыпаясь, возле себя  
Дыханья не услышать.

И только где-то в квартире шесть,  
Не торопясь ко сну,  
Сосед до полночи лупит в жесть  
И молится на луну.  
Луна, качаясь в его борще,  
Подумает: нет суда  
Над нашей тоскою, и вообще,  
И светится, как слюда.

И кружит ветер, и суета  
Овладевает мной;  
Но нет суда, и идут сюда  
Суда от земли иной,  
И как покажутся нам мелки  
Наш невод и наш улов,  
А что мы все – черепки, долги  
Вблизи их крутых бортов.

В размахе их серебристых крыл  
И в окнах их голубых.  
И мнится каждому: прежде был  
Он также одним из них,  
Летел, плевал себе в облака,  
Строку повторял одну,  
Что расстоянья смешны, пока  
Мы видим одну луну.

А может, стоит именно так  
Сойти со своей оси:  
На всём, что прежде имел, кулак  
Разжать и поднять шасси,  
И чтобы уже никогда ко дну,  
В такую же ночь и тишь,  
Где я бы был на свою луну,  
Но ты на свою молчишь.

**МИХАИЛ ПОТОРАК**

Иванча, Молдова

Живёт в Молдавии. Прозаик, переводчик. Публиковал прозу в журналах и альманахах в Молдавии, России, Белоруссии, Германии. В 2015 году, при поддержке Министерства Культуры Республики Молдова, был издан сборник короткой прозы «Идёт ветер к югу».

**ПО ТАБОРУ УЛИЦЫ ТЁМНОЙ...**

Во второй половине девяностых я всё ещё надеялся на чудо. Правда, если в первой половине чудо должно было устроить для меня прекраснейшую новую жизнь и небо в алмазах, во второй от него требовалось просто подкинуть мне какое-нибудь жильё и хоть немного денег. Ну что, не зря надеялся. Пожить меня пускали по очереди друзья, деньги иногда удавалось заработать копирайтингом. Даже долги возвращал время от времени.

Для души я выпивал. И стишки сочинял ещё, с описанием своего образа жизни. «Не будь же сукою! О, сукою не будь! О дай мне рупь, дабы опохмелиться...», или «Увы, отрывается явь, идя помимо и вместо нас. Давай прогуляемся по блядям пред ликом судьбы анфас...». Или вот такие: «В зубу мозоли от алкоголя, но скока нежности дрожит в промежности...».

Это было, в общем, паршивое время, и я не люблю его вспоминать. Но и прекрасное в нём было, да. Было несколько прекрасных людей и событий.

Однажды вечером я получил гонорар за два рекламных ролика и пошёл пить пиво. В круглосуточный магазинчик, где работали мои приятели. В магазинчике дневной продавец Саня как раз сдал смену ночному продавцу Юрке и налил, конечно, себе выпить. И мне тоже налил, когда я пришёл. «Попробуй, – сказал Саня – Ты не пил ещё такого». Это был ром с колой, и я действительно такого не пил – ни до этого, ни после. Никогда в жизни больше, никогда! Ром был чешский, назывался «Гуземский», очень дешёвый. Водка стояла тогда пять с полтиной, а ром этот – семь.

До сих пор отчётливо помню запах этого коктейля, помню пряное, сладковато-сивушное благоуханье того вечера безумного моего лета девяносто седьмого года.

Мы говорили о джазе и слушали джаз, и играли в бильярд на игровой приставке «Сегга», и очень быстро выпили Санину бутылку, а я купил ещё одну, и Юрка запер магазин, чтобы выпить с нами.

На последней четверти второй бутылки в дверь постучали, и мы открыли, потому что клиент – это святое. Клиент был чёрен ликом и одет как Яшка-цыган из фильма «Неуловимые мстители», там, где он поёт в корчме. Он стоял на крылечке в красной косоворотке, бархатных штанах и блестящих сапогах, в руке у него был длинный ремешок, а к ремешку была привязана лошадь. Я даже не поверил сначала, тем более, что лошадь была практически сивая, вся увешанная бантиками и гирляндами бумажных цветов. Нет, не поверил я. Всё-таки, вторая бутылка на пустой желудок, и жара, и громко-громко Рэй Чарльз... Но тут почти трезвый Юрка закричал: «Ух ты, лошадь!», а с улицы прилетело немного свежего воздуха, и я поверил. Почти. Клиент стал рассказывать, что они с лошадью работали на какой-то свадьбе цыганом и лошадью, а теперь идут домой, и нельзя ли ему, пожалуйста, бутылку водки. А я сказал, что у нас есть лучше водки, у нас есть ром с колой, и я куплю ему бутылку рому и колы тоже, если он пустит меня покататься на своей лошади. «Да легко! – сказал цыган – Только я буду её держать, а то она убежит».

Я взял зачем-то портфель, через крылечный параплет перелез на лошадь, и цыган повёл её в поводу – по Котовского вверх до Садовой, потом направо, потом вниз по Комсомольской до Фонтанного переулка. Все эти улицы к тому времени давно переименовали в более национальные, но я ехал ещё по старым названиям, по волшебному центру Кишинёва моей юности, где гулял я когда-то, удивляясь его смешным и ласковым маленьким чудесам и уверенно ожидая чудес великих и сияющих.

А теперь квартал был тёмный, убогий и обшарпанный, тёмный и нищий был любимый мой театр «Лучафэрул», мертвые фонари у входа, и всего-то света в Фонтанном переулке было от витрины приткнувшегося к театру магазинчика.

Я ехал по любимым местам на восхитительной сивой в бантиках кобыле, ведомый в поводу ряженым цыганом и пытался радоваться, но не мог. Лошадь шагала, равнодушно шевеля мускулами под моей неле-



пой пьяной задницей, цыган шагал молча и устало, и я тоже молчал, хотя собирался галопировать, громко поя какой-нибудь лихой цыганский джаз. Но нет, не смог. От выпитого отяжелел язык, омертвели губы и скулы, подо лбом в глубине глазниц ворочалась густая, лишняя боль. По всегдашней своей привычке я забормотал подходящее к моменту из Мандельштама: «Хотели петь – и не смогли, хотели встать – дугой пошли через окно на двор горбатый...». И сразу ещё вспомнил: «Я буду метаться по табору улицы тёмной».

Жизнь подарила мне такой подарок, такую отличную лошадь и вообще, а я был пьян и совершенно здесь неуместен, я потерял любимую женщину и почти полгода не видел сына, и не знал, как дальше жить. Я сидел на лошади, как собака на заборе, прижимая к животу идиотский пустой портфель и всё шептал одно и то же: «Я буду метаться по табору улицы тёмной, я буду метаться по табору улицы тёмной, я буду метаться по табору улицы тёмной...».

## ГОЛУБЦЫ И БЕЛАЯ ВОРОНА

Белую ворону сегодня видел. Впервые в жизни. Рано утром, из окна автобуса. Я ехал домой, издалека ехал, с севера Молдавии к себе в центр Молдавии. Там у них на севере листья на придорожных орехах почти все уже поголовно жёлтые, а чем ближе к центру, тем желтизны меньше. И я ехал и наблюдал это в окно, и всё ждал, когда подъедем поближе к центру, чтобы посмотреть на лес, потому что у них там на севере дорога далеко от леса проходит. А у нас огромные дубы прямо на дорогою нависают. Подлесок уже ощутимо осенний, а дубы – нет, нет! В тёмно-зелёной могучей листве их ещё полным-полно жизни, сама себе она кажется ещё бессмертной. Я видел это вчера, когда ехал на север, и сегодня всё ждал, чтоб снова увидеть. Но пока по беслесным северным равнинам вез меня автобус с неописуемо прекрасным именем «Барабой» на белом своём лбу. Но нет, конечно, это не его имя. Это имя некоего удивительного, никогда, увы, не виденного мною села Барабой, откуда автобус поехал в Кишинёв, а по пути прихватила и меня, стоявшего на обочине в селе с почти таким же прекрасным именем Софья.

За окном плавно мелькали жёлтые северные ореховые деревья, а за ними – серо-жёлтые пастбища, по которым печально гуляли одинокие кони и маленькие плотные гурты овец, потом пошли чёрно-жёлтые убранные поля, а над полями кружили небольшими стаями чёрные вороны. И вот в одной из этих стай была белая ворона. Полупасмурным, полусияющим утром, над отчаянно грустным пустым полем – белая, ослепительно-белая птица среди штук восьми таких же, только чёрных.

И от этого у меня вдруг заболело что-то в самой середине груди, и стало больно дышать, и я чуть не заплакал.

Бывает, да... У некоторых нервических мужиков это с похмелья обычно бывает, по себе помню. Но сейчас-то я чего? Какое нахрен похмелье? Я пью очень мало и редко, и вчера весь вечер тянул единственный бокал сухого красного, и тот не допил. Вот ел я – это да. Да. Это – да. Очень. Весьма. Даже слегка чрезвычайно. Но не до слёз же! Тем более, переварилось всё давно. Непонятно мне это, нет...

Ездил я вчера на крестины. У брата двоюродного дочка родилась. Это мне второй раз выдалось ребёнка крестить, три года назад я крестил дочку другого двоюродного брата. И оба раза я выглядел слегка придурком, хотя полагал, что не буду. Потому что по основной своей работе я этнограф. Специалист по народным ремёслам и немножко по обычаям и традициям. Оказалось, что очень, очень немножко. Я прекрасно знал, что когда идут крестить детей, то в церковь надо брать с собой «крижму» – такую ткань, в которую заворачивают ребёнка, вынимая из купели. Ткань эту надо особым образом сложить и воткнуть в неё веточку базилика. И отправившись на крестины в первый раз, я, лопух, купил именно отрез ткани и пошёл с ним в церковь. А все остальные пришли с пледами и детскими одеяльцами, и я чувствовал себя глуповато со своим куском ткани, тем более, она попала, зараза, скользкая, из неё всё время выпадали то конец, то середина, и я о них спотыкался и чуть не упал несколько раз, и базилик потерял.

Во второй раз я купил одеяло, чтобы быть как все. Специально побольше выбрал, тщеславный идиот! В этом селе все пришли с пелёночками и полотенцами в маленьких аккуратненьких пакетиках, один только я пёр огромнейшее одеялице, за всех и за всё цепляясь, чуть не повалил в притворе большой подсвечник и какую-то лесенку. Базилик безвозвратно упал куда-то внутрь одеяла. Этнограф, блин! Профэссионал-тэорэтик!

Но ладно, это фигня всё. Всё остальное, кроме моего одеяла, было чудно. И весёлый поп с коричневыми руками (он извиняться стал сразу за руки и объяснять, что это он внукам орехи чистил, а от кожуры потом не отмоешь), и дивная моя щекастая двоюродная племянница, разублававшаяся в купели, и хрустальные голоса певчих.

Потом мы пошли есть, пить и плясать, и начались привычные уже траблы современного сельского праздника: копытами в поддых лупящие динамики, чудесные народные песни вперемешку со зверской попсой и лирическими русскими песнями про тюрьму.

На меня вид пляшущих людей всегда нагонял почему-то жуткую тоску. С детства ещё, с первых школьных дискотек. И вчера я был готов, что меня опять закошмарит. Но вот нет. Вдруг как-то – раз, и не закошмарило. Пьяненькие люди были немножко смешные, особенно когда подпрыгивали в танце, но смотреть на них было вовсе не тоскливо. Потому что хорошие, живые лица, и руки хорошие – уработанные крестьянские руки. И всем этим людям очень шли их наряды праздничные, и лицам краснота шла, и шальные от вина и музыки блестящие глаза. Радость их была искренней, и мне было за них приятно, и вообще приятно. А когда грохот динамиков совсем уж доставал, можно было выйти на улицу покурить и утащить за собой кого-то из своих двоюродных. Я так редко вижу их, годами не вижу, я соскучился. И это немного грустно, но очень хорошо – вот так обнять брата, пободаться лбами, рассмотреть в здоровенном лысеющем мужике когдатопного пацанёнка. Братишкааа... Родня.

Вообще, мне вчера не очень-то и было когда выпасть в привычную меланхолию, рефлексировать и тэпэ. Ибо я, как уже было сказано, ел, и весьма. Старался отрезать малюсенькие кусочки и подольше жевать – чтобы не обожраться. Но обожрался всё равно. До последнего предела набил несчастный свой желудок. И тут принесли голубцы.

У нас голубцы – обрядовое блюдо. Его обязательно подают предпоследним на свадьбах, крестинах и поминках. Готовить голубцы надо обязательно в печи, в глиняных горшках, лучше всего в чёрных, у кого сохранились. Это редкость теперь. Нынешние гончары почти не практикуют закрытый обжиг, от которого получается чёрная керамика. Но надо, чтобы в чёрном горшке, обязательно в чёрном. Как вот эти! Да простят меня остальные соотечественники, но нигде в Молдавии не готовят таких голубцов, как в северных сёлах! О! Ооо! Разве можно так пахнуть? Нельзя, ни в коем случае нельзя! Вот так пахнуть, что словами не передать! Ни на какие в мире слова это не похоже. Только разве чуть-чуть на музыку. Бывает, Моцартом вот так задохнёшься счастливо или, например, Шубертом. Или иволгу вдруг услышишь в лесу в начале лета.

Подумать только, я ведь не любил когда-то этого запаха. Мне было скучно с ним, он был слишком будничным, слишком земной, а я весь был такой почти городской, на понтах такой весь. Я уже хорошо по-русски говорил, и книжек прочитал много, и кино всякое смотрел, мне интереснее было всякое яркое в телевизоре и в книжках, чем голубцы. И только когда стал совсем взрослым и даже слегка постарел, полюбил я этот запах и вкус этот. Потому что когда несёшь гроб на похоронах, и от гроба тленом тянет, а в церкви потом – свечами и ладаном, а от могилы – суглинком и порубленными лопатой корнями бурьяна, то это всё застревает в горле горьким, колючим комом, и только густой, сытный, немного дымный дух от тарелки с голубцами в силах вытолкнуть этот ком и уложить в душе горе так, чтоб можно было его вынести.

Эх... Прорва я всё-таки ненасытная. Только что я был уверен, что ни крошки более проглотить не смогу, а тут взял четыре голубца. Мамочки, вкусно-то как! Ах, как вкусно! Ещё парочку, пожалуй. Нет, не парочку, а три штуки. Вот этот третьим возьму, который подгорел чуть-чуть... Не, не лопну. Хрен вам, не дождётесь.

Я растворяюсь весь во вкусоте этой. Растворяются, исчезают вся моя глупая взрослость, все понты, шуточки мои дурацкие. Я снова мелкий, тощий пацан и лежу у бабушки на печке на осенних каникулах в дождливый денёк. Бабушка, мама и тётушки внизу возятся, готовят голубцы, потому что родился Гришка (вот этот самый, который сидит сейчас с женой напротив меня и только что показывал фото четырёх-летней дочки), и завтра крестины. Я лежу и пытаюсь читать про Ходжу Насреддина, но не могу, ибо коварные двоюродные Игорь, Алёнка, Андрюха и Толик подкрадываются и накидывают мне на книжку серую кошку Мурку. И я тогда рычу и кидаю в них подушкой, а они в меня кидают, и мы устраиваем большую возню, и мама с тётушками нас ругают.

– Вкусно! – блаженно шурится взрослый Гришка, а маленький Гришка агукает в коляске около печки – там, тридцать пять лет назад. А сегодня Андрюхина дочка вот так агукала у меня на руках.

Околдовало меня прошлой ночью, заволокло душу тёплым голубцовым волшебством. И начал я тогда понимать одну штуку, а окончательно понял уже утром, когда белую ворону увидел. И тут не в вороне дело, так совпало просто. Я понял, что это земля меня тянет к себе. Вот этой моей любовью. К голубцам и вообще. Моя земля, на которой я родился, чёрно-жёлтая осенняя моя земля, в которой меня когда-нибудь похоронят. Потому что сегодня я поверил наконец, что, наверное, всё-таки когда-нибудь умру, но это не страшно. Не страшно, нет, я почти не боюсь.



Мне бы очень хотелось, чтобы на свете был бог, и чтобы был он всемилостив. Я совершенно искренне на это надеюсь и пытаюсь даже верить. И очень хочу, чтобы, если он есть, достало его милости этой вот земле, моей земле, на которой есть село Барабой, и село Софья, и другие всякие сёла и города, над которой летит сейчас белая ворона и другие птицы. И на которой живут любимые мои люди, и просто знакомые люди и незнакомые тоже, и лошади живут, и кот мой Яшка, и собака Спиридон, и все остальные коты и собаки, и много, много, кто ещё. Господи, да пребудет с нами со всеми милость твоя. Чтобы нам было не страшно.

# «ОКОЁМ»

*От редакции: «Южное Сияние» представляет в рубрике «Окоём» Поэтический конкурс «Пятая стихия» Международной литературной премии им. Игоря Царёва. Мы рады познакомить читателя с победителями и финалистами третьего сезона конкурса: Гран-при – Юрий Бердан, финалисты: Сергей Макеев, Сергей Смирнов, Никита Брагин, Владимир Кетов, Виктория Кольцевая, Вера Кузьмина. Клавдия Смирягина, Ольга Флярковская и Евгений Овсянников выходили в финал и раньше, в первом и втором сезонах, поэтому представлены несколькими стихотворениями. Редакция поздравляет победителей и благодарит организаторов конкурса и Ирину Царёву за подготовленный материал.*

## ПО ИТОГАМ «ПЯТОЙ СТИХИИ – 2016»

11 ноября 2013 года учреждена Международная литературная премия имени Игоря Царёва, задуманная как ежегодная акция. Премия утверждена для сохранения и популяризации литературного наследия Поэта, а также в целях поощрения творчества граждан России и иностранных государств по созданию высокохудожественных литературных произведений на русском языке и присуждается за наиболее талантливые произведения, созвучные поэтическому творчеству Игоря Царёва.

Учредители Премии: Ирина Царёва – жена Игоря Царёва, член СП России, писатель, Вадим Могила – отец Игоря Царёва, профессор, Марк Розовский – драматург, режиссёр театра «У Никитских ворот», Людмила Мережко – заслуженный работник культуры РФ, директор Московского литфонда, Международный литературный журнал «Зарубежные задворки» (Германия), проект «Русское безрубжье» (США), Южнорусский Союз Писателей (Украина), Межрегиональная общественная организация Литературно-общественное объединение «Изба-Читальня» (Москва).

Поэтический конкурс «Пятая стихия» Международной литературной премии имени Игоря Царёва за три сезона своей работы заслужил уважение и доверие у русскоязычных поэтов не только России, но и ближнего и дальнего зарубежья. В нём приняли участие яркие и талантливые авторы со всех концов света, показавшие своё безупречное владение русским языком, высокую технику стихосложения, благородство и честность личного мироощущения.

Поэтический конкурс сезона 2016 прошёл под девизом: «...по тонкой грани между тьмой и светом» (строки из стихотворения Игоря Царёва)

### Я РЯДОВОЇ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА

*Стихи бывают как листья осоки –  
Не прочесть, не искромсав души.  
В них корни слов сквозь строки гонят соки,  
Суть отделяя от предлогов лжи.*



*По тонкой грани между тьмой и светом,  
Сквозь рифмы, как сквозь рифы корабли,  
Проводят нас Верховные Поэты  
К божественному краешку земли...*

*Я не ношу атласные лампасы  
И не смотрю на рифмы свысока –  
Я рядовой словарного запаса,  
Я часовой родного языка.*

*Неровной строчкой гладь бумаги вышив,  
Пишу, ещё не ведая о чём,  
Но ощущая, будто кто-то свыше  
Заглядывает мне через плечо.*

11 ноября 2016 года на Торжественной церемонии вручения наград Международной литературной премии имени Игоря Царева были названы имена лауреатов Третьего поэтического конкурса Премии «Пятая стихия – 2016».

Победителем стал поэт **Юрий Бердан** (г. Нью-Йорк, США). Ему был вручён Гран-при Международной литературной премии имени Игоря Царёва 2016 года – «Бронзовый колокол» и 30 тысяч рублей.

В финал вышли: **Сергей Makeев** (Москва), **Ольга Флярковская** (Москва), **Клавдия Смирягина** (Санкт-Петербург), **Виктория Кольцевая** (Ровно, Украина), **Вера Кузьмина** (Каменск-Уральский, Россия), **Евгений Овсянников** (Нижний Новгород), **Сергей Смирнов** (п. Кингисепп, Россия), **Владимир Кетов** (Гамбург), **Никита Брагин** (Москва).

Учредителям приятно отметить, что четверо в этом списке повторили свои достижения прошлых сезонов нашего конкурса (уже известные в поэтическом мире Юрий Бердан, Ольга Флярковская, Клавдия Смирягина, а также впервые «вышедший в свет» в прошлом году и сразу попавший в число финалистов Евгений Овсянников).

Порадовали и имена тех, кто ранее не принимал участия в поэтических конкурсах «Пятой стихии», но были ещё при жизни Игоря Царёва отмечены им как «поэты одной крови»: Владимир Кетов, Никита Брагин, Сергей Makeев.

«Совки», «Честное слово», «Утиная охота» Веры Кузьминой, Сергея Смирнова и Виктории Кольцевой точно, хотя и по-разному, вписались в тему конкурса. В них нет ни тяжёлого пессимизма, ни кликушества, или же, наоборот, лозунгов и ура-патриотизма. Только память, честь, боль и светлая вера...

*Стартовал Четвёртый поэтический конкурс «Пятой стихии», который (будем верить!) не только раскроет новые таланты, но и поможет засверкать новыми гранями своего поэтического дарования тем, кто уже отмечен нашими наградами!*

## **ЮРИЙ БЕРДАН**

**Нью-Йорк**

### НЕПРАВИЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ

Был этот год моим последним сроком:  
Я высчитал когда-то, что уйду,  
Как говорится, возвращусь к истокам  
Большим и старым, в сумрачно далёком  
Две тысячи семнадцатом году.



Но, видимо, Господь решил, что рано:  
И, как юнцы, в полупустом ряду  
Под всяческую киноерунду  
Целуемся бесстыдно у экрана  
В две тысячи семнадцатом году.

С усмешкой Он взирает с эмпиреи,  
Как в городском заснеженном саду  
У публики почтенной на виду  
Нахально обнимаемся в аллее  
В две тысячи семнадцатом году.

Счастливых нас под утро будят грозы,  
И, задыхаясь, как форель на льду,  
Сплетая в узел вены, стоны, позы,  
Мы нашей страсти ловим передозы  
В две тысячи семнадцатом году.

Мне к вечности пора готовить душу  
И к собственному Высшему Суду  
За рай, который каждый миг краду,  
За боль и страх, за общую беду,  
За Млечный путь, за небо, воду, сушу...  
А я люблю! Я все законы рушу  
В две тысячи назначенном году.

#### ВЕТЕР С ВОСТОКА

Здесь, у нас, в эту пору штормит,  
А у вас – ветры знойные с Юга.  
Шуламит, Шуламит, Шуламит...  
Вот и прожита жизнь друг без друга.

Отпусти, Шуламит, отпусти!  
Пусть не чуждятся больше, не надо,  
Лунный блик на щеке и в горсти  
Искры розового винограда,

Прядь, скользнувшая вниз по плечу,  
Губ и пальцев дразнящая робость...  
Шуламит! Вспомню – камнем лечу,  
Гулким камнем в библейскую пропасть.

Те рассветы сгорели дотла...  
Наша молодость не виновата  
В том, что бросила нас и ушла  
На прощальный шабат листопада.

Здесь обочины в талой грязи,  
А над вами – ни тучки, ни точки,  
И не женская штучка – узи  
На точёном бедре младшей дочки.



Гаснет день. Ни тоски, ни обид.  
Пересохла земля у истока...  
Почему же шумит: «Шуламит... Шуламит...»  
В ночь ненастную ветер с Востока.

\*\*\*

Бьётся птицей-подранком закат на ветру,  
О прибрежные скалы смертельно изранясь...  
Срок придёт, и, пришелец, изгой, чужестранец –  
Больше негде – у этого моря умру.

А на той стороне ни звезды, ни огня...  
В летних парках с эстрад отыграли оркестры,  
В молчаливых старух превратились невесты,  
Подвенечные платья в комодах храня.

А на той стороне двор полыньёю порос,  
Там чужие глаза и забытые лица,  
Там в простенках заброшенных комнат таится  
Одурающий запах любимых волос.

Может быть, хорошо, что на той стороне,  
Там, где был я когда-то чужак и пришелец,  
Под сто грамм и листвы облетающей шелест  
Больше некому будет всплакнуть обо мне.

\*\*\*

Когда мы устаём сражаться с тенью,  
Неотвратимо наступает срок  
Прозрачных и простых, как дождь над степью,  
Негромких слов и мыслей между строк.

Летают щепки: лес доньне рубят.  
Я уцелел. В ином не повезло.  
Теперь другого встретят и полюбят  
Безжалостно, смертельно и светло.

А новый день в затылок нервно дышит,  
Бесстрастна память и глаза сухи.  
Я не сумел. Теперь другой напишет  
Божественно прекрасные стихи.

Ушла весна. И вновь начало лета.  
Губ нетерпенье. Грудь шальной дугой...  
Но просто и красиво скажет это  
Уже не я, а кто-нибудь другой.

#### ТАНЦЫ В ПТУ № 5

Кавалеры где? Засранцы!  
Вовка, Славка, Петь, ау!..  
Танцы-шманцы-зжиманцы  
В номер пятом ПТУ.



Навалило снегу тонны –  
Белым стал микрорайон.  
Наварила тетя Тоня  
Полкастрыюли макарон.

В семь пришла соседка Ира,  
К чаю тортик принесла.  
Над сервантом карта мира.  
Нет в квартире командира,  
Только кот Мирон, задира.  
В общем бабские дела.

Был Валера, вот холера –  
Оказался сволочной.  
Заскочила в восемь Вера  
Посидеть перед ночной.

Две селёдки, помидоры...  
Говорят, от соли – зло.  
Смерть в Донбассе, смерч в Андорре –  
Сколько, девки, в мире горя...  
А вот мы сидим, не вздора,  
При еде, в тепле-просторе.  
Есть, что вспомнить. Повезло.

Жрут портвейн в углу, поганцы!  
Рожи набок, лбы в поту...  
Рок-н-ролл, протуберанцы,  
Грудь в истоме, ногти в глянце –  
Танцы в пятом ПТУ.

Между стульев, посередке,  
Молча мыслит кот Мирон.  
На стене пейзаж Чукотки,  
На столе цветные фотки,  
А на фотке три молодки,  
Чай, не мымры, не уродки.  
Сын на атомной подлодке,  
Огород – четыре сотки...  
Полкастрыюли макарон.

### ЛЮБОВЬ И СПЕЦНАЗ

Забудем мы. Забудут нас.  
Опять – взглянуть, не излечиться...  
Неужто вновь она стучится,  
Теперь уже в последний раз,  
Любовь-волна, любовь-волчица!

Глаз – бархат. Тёмно-сер окрас.  
Сожмёт клыки, вопьётся в горло,  
Прибоем рук всплеснёт покорно.  
Забудем мы, забудут нас...  
За стенкой снова крутят порно,



Мечтою пахнет ананас,  
На кухне кран журчит минорно,  
В Неваде смерч, футбол в Ливорно,  
И с неба падает спецназ.

Глаза – закат. И ночь близка.  
Гремит метро, дрожит посуда.  
Неужто вновь – любовь-простуда,  
Любовь-война, любовь-паскуда!  
В настенном зеркале – тоска:  
Небритый тип глядит оттуда  
И вертит пальцем у виска.

### РОДНЫЕ ГОРОДА

Был виден мне наискосок  
Двора кусок, её висок,  
И в прядке каждый волосок  
С последней парты...  
Записка – в клеточку листок,  
И смех её, и мой басок,  
И робость пальцев, и росток  
Под снегом в марте...

«Вот ваш коньяк, лимон и сок.  
Вы на меня, милоч-дружок,  
Как мусульманин на Восток,  
Глаза не пьяльте!  
Мой бал закончен – вышел срок...  
Я не кино, не образок,  
Не море в Ялте.

О, да, мадам! Конечно, да!  
Ни отпечатка, ни следа  
На мокро от дождя асфальте...  
Через пространства и года  
Бурлила талая вода,  
И в чахломе парке у пруда  
За чередой череда  
Хрипели барды.

Не заезжайте, господа,  
В свои родные города...  
Сотрите с карты.

\*\*\*

За стенкой шумит молодежь,  
С экрана – погодная сводка:  
Закончится в пятницу дождь.  
Сегодня закончилась водка.

За стенкой поют вразнобой –  
 Ну, что с неё взять, с молодёжи!  
 Там каждый второй – голубой...  
 Закуска закончилась тоже.

Вот как пели мы? В унисон!  
 И жили негромко и кротко...  
 Когда-то закончится всё,  
 Сегодня закончилась водка.

## СЕРГЕЙ МАКЕЕВ

Москва

### СТАЛКЕР\*

*Шёл грека через реку...*

...идти по низине, по чёрной воде,  
 где ивы скелет не найти в лебеде...  
 ни порванной нитки течения...  
 где жжёной сосёнки торчит булава,  
 где чувства не могут попасться в слова,  
 и всё не имеет значенья...

где сроки условны, где родины нет,  
 где был или будет свинцовый рассвет  
 над стиснутым кряжами полем,  
 где ворон привязан с далёких годин,  
 как «змея» за верёвку... внизу – господин –  
 с сигаркой зажжёванной Голем.

идти и считать, не сбиваясь, до ста,  
 пока не проглотит того пустота,  
 ногою почувствовать мягкость  
 высот поналепленных грубо из глин,  
 понять наконец: ты остался один.  
 и плакать, и плакать, и плакать...

не ждать ни пощады, ни вящих чудес,  
 и волком косить в напозающий лес  
 с водой дождевой, – а не талой,  
 где ветер поймает её на язык  
 (ах, он – невидимка – как он многолик!)  
 шершавый, рябиновый, алый.

проделать весь путь, как бы ни был далёк...  
 присесть у стены и раздуть камелёк,  
 шепнуть однозначное «грека» –  
 и пальцами выдавить капли «Лыхны»...  
 листать принесённые ангелом сны,  
 в себе сохранив человека.

\* Использованные в стихотворении образы – из произведений Игоря Царёва.

**СЕРГЕЙ СМИРНОВ**

Кингисепп, Россия

## ЧЕСТНОЕ СЛОВО

Мы держались на честном слове (а на чём нам ещё держаться?):  
мы когда-то его давали – и остались ему верны.  
Посмотри, как тревожно тени тёмной сетью на мир ложатся,  
посмотри, как плывут туманы с той, неведомой стороны.  
Безответные тонут звёзды в этой ночи чернее ваксы.  
Мы остались, согласно слову, на границе, на рубеже,  
на часах, на посту, в дозоре, на проклятой собачьей вахте,  
мы когда-то давали слово и его не вернём уже.

Ну, а там, за границей света, копошились такие звери,  
на две трети – создания мрака, и создания мечты – на треть.  
Мы в такие шагали дали, мы в такие входили двери,  
что ни в сказке сказать словами, а увидеть – и умереть.  
Мы такие дымы вдыхали, что нет слаще и нет приятней,  
на отеческом пепелище, в изголовье родных гробов.  
Мы когда-то давали слово и его не вернём обратно:  
встать за веру, хранить надежду и в сердцах сберегать любовь.

**НИКИТА БРАГИН**

Москва

## АПОКРИФ

Проходил селом богатым Спас, а с ним апостолы, –  
был в тот день великий праздник, колокольный звон.  
Все село тогда молилось, пели алконостами  
литургийные стихиры, праздничный канон.

А когда накинуд вечер покрывало мглистое,  
все сельчане собирались у огней лампад,  
и внимали благодати, и молились истово,  
и горел закатным златом тихий листопад.

Но не слушал Спас молитвы, не стоял во храме Он,  
а сидел в избушке старой на краю села,  
где над маленьким ребёнком голубищей раненой  
пела песенку сестрёнка, пела и звала...

И апостолы внимали, словно откровению,  
и сложили в красный угол хлеба и гроши  
догорающему слову, тающему пеню,  
незаученной молитве, голосу души.

**ВЛАДИМИР КЕТОВ**

Гамбург

## ПОЭТ

Повернётся нехотя ржавый ключ,  
Кольхнётся походя скарба хлам,  
И сквозь штору душную пыльный луч  
Перережет комнату пополам.

Где в разводах масляный потолок  
И на кухне капает дряхлый кран,  
И зачем-то девушку приволок,  
Усадил, пунцовую, на диван.

Разве ей почувствовать, как в ночи  
Пальцы подбираются к кадыку  
В пике полнолуния, – хоть кричи...  
Разве ж это мыслимо – чтоб в строку?!

Но хирург таинственный в две руки  
Вдруг раздернет рубище пополам,  
Чтобы с кровью вытащить из строки  
Душу, неподвластную докторам.

На свободу выпустив этот крик,  
Голос окончательно потеряв,  
Он сутуло сгорбится, как старик,  
Безразличный к формуле «Прав – не прав».

И всего-то выжато десять строк,  
А как будто прожито десять лет,  
И нелепо паялться в потолок –  
Никакой реакции сверху нет...

Он куда-то выскочит по делам,  
Чтобы как-то выправить скудный быт,  
Позабывши начисто про диван  
И про ту, которая там сидит,

Краску потерявшая на щеках,  
Трепетно прижавшая локоток,  
Ничего не знавшая о стихах,  
Да и в полнолуниях не знаток.

Целый мир открывшая в пять минут,  
Выйдет неуверенно за порог,  
Чтоб пойти, куда её поведут  
Эти непонятные десять строк.

А над пыльным городом из-за туч,  
Неподвластен времени и упрям,  
Снова выйдет солнечный узкий луч  
И разрежет комнату пополам.

**ВИКТОРИЯ КОЛЬЦЕВАЯ**

Ровно, Украина

**УТИНАЯ ОХОТА**

А кто бы здесь назвал меня по имени –  
ни старожила и ни пришлеца.  
Две уточки с подрезанными крыльями,  
два вскинувших лорнетки озера.  
И душу отразят, и не поморщатся,  
и сумрачный не выкажут зрачок.  
В реликтовом настенном одиночестве  
и звуки, и зрачки – наперечёт.

Так жертвуешь всем этим, будто козырем,  
и будто вовсе не игрок уже.  
Крошит или раскрашивает озеро  
на стёклышки для ложных витражей,  
на водоросли, пёрышки и камешки  
чужая, не фартовая рука.  
Оглянешься на стены и поранишься  
о доньшко утино зрачка,  
об острое, солёное, гранёное.  
О хлебницу и чашку на столе.

Твердеешь и сливаешься с пилонами,  
сыреющими заживо в земле.  
Но кто бы здесь блаженствовал и нежился,  
колени от какого праотца...  
Родись ты хоть татарин, хоть нежинцем,  
хоть уточкой родись у озера.

**ВЕРА КУЗЬМИНА**

Каменск-Уральский, Россия

**СОВКИ**

Давай-ка, мой хороший, по одной – за нас, дурных, а больше бы не надо...  
Моя страна натянута струной от Сахалина до Калининграда.  
Сейчас в неё распахнуто окно, там огоньки, далёкий лай собачий.  
Не виноваты водка и вино, что мы живём вот так, а не иначе –  
Вот так – не отрываясь от страны, гитарно-балалаечного гула...  
Играй «Хотят ли русские войны» и «Журавлей» Гамзатова Расула,  
Играй, страна!  
Добавь смешной тоски:  
Артек, Гагарин, Жуков, батя юный...  
Да, мы совки.

...а дети на совки  
 В песочнице натягивают струны.  
 Давай ещё – и по последней, ша! За Родину, натянутую туго.  
 За каждого смешного малыша.  
 За то, что удержали мы друг друга.  
 Да, перебрали. Улицы страны дрожат струной, неровные такие...  
 Споем «Хотят ли русские войны», чтоб слышали Берлин, Париж и Киев?

Живёт страна, пока живут совки: смешные дети, мужики и бабы.  
 А Господу – подтягивать колки, стараясь, чтоб не туго и не слабо...

## КЛАВДИЯ СМИРЯГИНА

Санкт-Петербург

### СЛОВО

Слова произрастали просто так,  
 высокие и стройные, как свечи.  
 Порой он их безжалостно калечил,  
 колол, рубил, топил словами печи  
 и грелся сам, и грел своих собак.

Слова дождями падали с небес,  
 несли прохладу, жажду утоляли.  
 Он в них купался, думая едва ли,  
 куда они текли, куда впадали,  
 какой ещё питали дом и лес.

Слова стучались странниками в дверь,  
 отведав снеди, в путь пускались снова,  
 он их не помнил, мало ли такого,  
 не стоящего вздоха или слова,  
 случается порой среди потерь.

И день пришёл, ударив наповал,  
 из пустоты, блестя алмазной гранью,  
 возникло слово, и цветки герани  
 осыпались навстречу увяданью.  
 Он принял дар  
 и крест на плечи взял.

### ИЗ ТАЛОГО МАРТА...

Из талого марта сквозь май круторогий,  
 сквозь марево летнего дня  
 я вижу, как осень бредёт по дороге,  
 бубенчиком шейным звеня,  
 как греют неровные рыжие пятна  
 её налитые бока,  
 как шепчутся дуб и рябина невнятно  
 о том, что зима далека,



что бродит по жилам, гудит понемножку  
с весны нерастраченный сок,  
покуда дедок на потёртой гармошке  
играет осенний вальсок.  
Дубовые листья и листья рябины  
кружатся на раз-два-три-раз...

Из талого марта мне чудятся спины  
осенних обнявшихся нас.

### СКВОЗЬ ТРАВНЫЕ ВЕТРЫ...

Сквозь травные ветры, сквозь пеплы метелей  
желания наши на тройках летели.  
От станции *юность* до станции *зрелость*  
так нежно мечталось, так много хотелось.  
И всё, что сбывалось, и что не сбывалось,  
в пыли полустанков на память осталось.

А память ночами относит к причалу,  
где мама, ещё молодая, молчала.  
Молчала, и только сутулились плечи  
в ответ на мои беспшашные речи,  
и только лицо на глазах постарело...

Желания в памяти стали пробелом,  
желания, видно, устали сбываться.  
На станции *зрелость* в пыли декораций  
хочу одного – на подмостках причала  
чтоб я, а не мама тогда промолчала.



**ОЛЬГА ФЛЯРКОВСКАЯ**

Москва

### ОТ ВЕКА...

*Игорю Царёву*

«От века поэтовы корки черствы»\*,  
Зато не бывают поэты мертвы,  
Когда бы и пили мертвецки...  
И то, что для Дании просто «слова...»,  
В России – поэтава с плеч голова  
И кровь на страницах и «рецах»...  
Поэт – это выход в гудящий портал,  
Быть может, там ангел Господень летал,

А может, насвистывал демон...  
Слова для поэта – что к небу ключи,  
А может быть, небо стихами звучит  
В мерцательном пульсе фонемы.  
И всё, что на сердце наносит рубцы,  
Что жизнь нанизала на наши венцы,  
Вернётся энергией рифмы...  
И пусть изречённая мысль не нова,  
И тяжело подчас достаются слова,  
В приливе толкая на рифы...  
Сияет гвоздинными язвами твердь,  
А шагом к бессмертью становится смерть,  
И слава легонько стучится...  
Как нитью, потомков прошила строка,  
Сердца человек связав на века  
И высветив судьбы и лица...

*\* Из стихотворения Марины Цветаевой «Чердачный дворец мой, дворцовый чердак!..»*

### ХРАМ СКВОЗЬ МЕТЕЛЬ

Полно плакать и жалиться:  
Боль свалила в постель...  
Посмотри, приближается  
Белый храм сквозь метель!

Сыпают жемчугом молотым  
Облаков жернова.  
Тусклым светятся золотом  
Сквозь метель Покрова.

Слева поле безбрежное,  
Справа лес над рекой.  
Здесь краюшкою свежеею  
Пахнет русский покой.

Боль в церковном Предании –  
Воли Божией перст.  
Ты несёшь не страдания,  
А спасения крест.

Где подымутся пажити,  
Снег наполнил купель...  
Свет нечаянной радости  
Сквозь густую метель...

### РОДИНА МОЯ В ЧАСЫ ПЕЧАЛИ...

Родина моя, в часы печали  
Я гляжу, как плавно над рекой  
Голубыми вёслами качает  
Среднерусский девственный покой!



Спит река, объятая прохладой,  
Видят рыбы сны на глубине.  
В тяжкий час душевного разлада  
Тишиной лечиться надо мне.

Над речным туманом, над осокой  
Чуть дрожит рубцовская звезда,  
Так поэта вечер одинокий  
В слове отразился навсегда.

Отчего-то странно тянут душу  
Огоньки знакомых деревень,  
Здесь поют на майские «Катюшу»  
И с гармонью бродят целый день.

А когда засвищут в ночь Победы  
Пойменные асы соловьи,  
На побывку с неба до обедни  
Отпускают воинов к своим.

Мужики хлебнут из мятой кружки –  
Поминать убитых – не впервой!  
И всплакнут, как водится, старушки,  
Затянув «Платочек голубой».

Вот и мне, стоящей у осоки  
На мостках в желанной тишине  
На душе уже не одиноко,  
Только страшно думать о войне...

---

## **ЕВГЕНИЙ ОВСЯННИКОВ**

Нижний Новгород

### ЛОЗОХОДЦЫ

Так видят руду сквозь прозрачное чрево земное.  
Так смотрят на солнце, а слышат гуденье огня.  
Змеящийся воздух изъеден коррозией зноя,  
И ос вувузелы в осоке высоко звенят.

Так рыбу выводят – уже на крючке – опущая  
Её полупойманность нервной, натужной лесой.  
Так мчатся по встрече на чашку небесного чая.  
Так в лес уходя от погони, петляет косою.

Так мерит былая больным, обезлюбившим взглядом.  
Так дети, играя, случайно находят ключи  
От дверцы за гранью...Заходят... Далёкое – рядом.  
Так память о прошлом порой потрясённо молчит.

Так снится под утро столетним в тумане деревня,  
 Легка и бесклёкотна снов журавлиная вязь.  
 Вот так и живём и плетём – и неровно, и верно,  
 То матерной сказкой, то словом высоким давясь...

### ФОКУС

А снег в предчувствии воды  
 Плывёт легко и бестелесно  
 Сквозь арки, стройки и сады,  
 Ему ни солоно, ни пресно,

Он в кадре тёмного окна  
 Проявлен фонарём, разглажен  
 И взгляда закреплён фиксажем,  
 И блёсток пыль подметена.

А на площадке во дворе  
 Снег поглощает лепет детский,  
 Его съедает пёс соседский  
 Со взглядом старого скопца  
 И, во щенячество впадая,  
 Он голубей сгоняет стаю  
 С перил ближайшего крыльца.

И, воплощённый в сизарях,  
 Испуг промелькивает в ленте –  
 В проёме чёрном октября,  
 В затвором пойманном моменте.

\*\*\*

Шиты белыми нитками стёжки-дорожки зимы,  
 И не бог весть какой нужен здесь следопыт-аналитик:  
 Не науки, напрасно умеющей множество гитик,  
 А наитий – случайных открытий волшебной сумы.

И за шагом неслышным тогда есть читаемый след  
 На понятном наречье зверья или мира пернатых,  
 «Полюби – и поймёшь», и уже в небесах тридевятых  
 На любые вопросы готов моментальный ответ.

Окрапивило ветром, приправленным снежной крупой.  
 Где подранок прошёл, там цепочка следов – опечаток  
 На краю окоёма дрожит в белизне непечатой  
 Тонкой бисерной нитью, ничейной визирной тропой.

Закуржавел подлесок. Морозом армирован дром.  
 Бездыханна марена. Измором – и гладом, и хладом –  
 Крепость-осень взята. Не грусти над её листопадом,  
 Зимний полдень уже колокольным звенит серебром...

# «ШШКАФ»

## ПЬЕСА МАКСИМА ПАНФИЛОВА «В КРУГУ НОЧИ» – О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ

Пьеса М. Панфилова «В кругу ночи» отправляет нас в драматургическое путешествие по судьбе Сергея Есенина. Действие начинается с монолога Поэта, произносимого в некоем инопространстве. Здесь присутствует ощущение безысходной отчуждённости от своего тела, от себя. Заканчивается этот первый, «камертонный», настраивающий на общую тональность пьесы монолог борхесианским мотивом, напоминающим «Круги руин», – *«похожий на меня человек непонятными буквами пишет поэму о человеке, который в другом круглом застенке...»*. В принципе этот транслитературный мотив ведёт ещё дальше вглубь традиции – ко кругам Ада Данте...

Но далее в пьесе нет, исключая самый конец, больше подобного органного вознесения, нет больше прямой символизации. Впрочем, имеется два прямо символических «лица» или, скорее, две маски. Это на сцену вступают персонажи-константы. Они в дальнейшем, меняя обличия, в сущности, будут оставаться теми фигурами, которые ещё в традиции театра Ю. Завадского, называются ПДП – постоянно действующими персонажами...

Мужской персонаж – Неизвестный, впервые представленный как свидетель самоубийства Поэта, женский персонаж – Инония, получила своё имя от сфантазированной Есениным идиллической крестьянской страны Инонии – буквально – «иной страны». Имя звучит действительно и фантастично и женственно.

В принципе, действие всей пьесы можно, а возможно и должно, принять за своеобразную «астральную», эмоциональную модель посмертного «пробега» по жизни покончившего с собой поэта. Это своеобразная духовная ретроспектива... Мы знаем не только из книги Раймонда Мууди, но и по более ранним мистическим книгам, что человек перед уходом в иной мир как бы просматривает в основных моментах-вехах свою уже прожитую жизнь... Здесь же, в пьесе М. Панфилова, нет строго биографических эпизодов детства и

юности, но есть камертонные линии – краткий пунктир взаимоотношений со всеми основными, с точки зрения драматурга, людьми Судьбы Есенина, теми, кто может психологически своим соприкосновением с ним пролить на его личность определённый свет...

Короче – происходящее видится путешественнику Духа Есенина вспять по его живой жизни, впечатления которой у него, уже лежащего под белой простыней, становятся, как сказал Неизвестный – *«мнимым стремлением, колеблющимся звуком...»*. То есть всё дальнейшее – это ещё и ещё шаги по лестнице отчуждения. Но лестница отчуждения, чьи ступени могут идти только вниз, ни в коем случае не цель и не самоцель. Она – причина гибели человека с поющей душою в мире, где души завёрнуты в саван одиночества.

Исследователи жизни Есенина настаивают на одиночестве поэта, несмотря на большой круг тех, кто считался его друзьями. В пьесе Есенин предстаёт окружённым, образно говоря, *ночным кругом* людей, но, используя метафору В.В. Розанова, ставшую названием одной из его книг, можно сказать, что это были люди Лунного света... То есть люди собственных страстей, собственных интересов и самолюбий, о которые, в конечном счёте, и разбилась стремившаяся забыть вине, в дружбе, в скандалах, в гульбе больная, полудетская, знающая лирические бездны душа поэта...

Полное оттолкновение в результате диалога с З.Н. Райх, в пьесе её роль – всего собою дарить Поэту холод и непонимание, их она дарит щедро – она своего рода женщина в футляре, завёрнутая в боа своих светских интересов, своего собственного блеска, ей совершенно далёк, пограничен Есенин... Её кажущаяся случайной реплика: «Смотрите! Лдына» – кажется весьма уместной и не случайной, как символ охлаждённости, непонимания...

Вторая подобная лдына непонимания предстаёт в обличии комиссара революционных

театров – Мейерхольда, у которого вполне совместимы при постановке «Гамлета» финал трагедии с пением «Интернационала». Мейерхольд, как известно, действительно увёл у Есенина жену, всё ту же Зинаиду Райх. Сцена диалога с Мейерхольдом проникнута иронией. Но важны в ней не матримониальные подробности; наоборот, Есенин бывшую супругу как раз иронически-насмешливо Мейерхольду уступает. Значительно важнее, правда, сказанная Есениным фраза – «*Если Станиславский бог театра, то ты – его сатана...*» и Мейерхольду лестно такое сравнение, он напоминает, что были художники прошлого, почитавшие князя тьмы выше Бога... Вот от каких лунных страстей отшатывает Есенина, в жизни его тоже были богоборческие моменты, но они не доходили до такого ариманически-определённого экспериментально-коммунистического абсурда, в который попадал Мейерхольд. Всё-таки по всему РСФСРу ходил тогда в списках стихотворный ответ Есенина Демьяну Бедному, покусившемуся в агитационно-атеистическом раже на Христа...

Удачна и сцена в кафе поэтов. 1920-ые годы были определённно временем поэтических ристалищ и М. Панфилов драматургически эту колкую, несколько митинговую атмосферу передаёт.

Далее – дальнейшим пробегом во времени – со сцены пятой появляется и воцаряется на сцене «Знаменитая босоножка» Айседора Дункан... Её образ достаточно рельефен, хотя роль сначала смотрится несколько одолинейной – больно много говорит она о своих творческих намерениях в России, но с разворачиванием диалога (а в пьесе всё построено на диалогах и их сценических *доконстатациях* при помощи двух ПДП), взаимодействие персонажей становится всё естественней и художественно убедительней. Полны юмористическими акцентами все или почти все сцены, где участвует Дункан. В этой роли актрисе даются большие возможности для того, чтобы создать Образ...

Думаю, у Дункан не очень то, как и у Есенина, развита самоирония, оттого её роль должна играть не резко-характерная и не ультра-комедийная актриса... Природа юмора но и, одновременно, трагичность сцен рождается из *надмирности, детскости* как известной балерины, так и знаменитого поэта. Поэтому тут надо удерживаться от гротеска, не изображать типичную «Grand Dame» 1920-ых годов, а Характер...

Теплы и естественны диалоговые страницы, где передано общение Есенина и Мариенгофа. Чувствуется знакомство с мемуарами последнего. Но и здесь Есенин уходит от друга, ведь тот, если

задуматься, умиляется его стихами, всё же больше видя в них чувствительность, сентиментальный флёр, а не лирико-трагическую глубину... В той же подспудной волне воспринимается и последняя сцена-встреча – последняя буря-непонимание в анфиладе-галерее подобных в пьесе – «Проголка» с Бениславской, той, которая покончит потом с собой на его могиле... Но и она жёстко предрекает ему смерть. Впрочем, в её обвинениях Есенину есть и горькая, ядовитая капля правды. Но важна тут последняя констатация пустоты – *Ни друзей, ни близких... Одни стихи...* Решающий «рефрен»! И ещё монолог, обращённый к чёрному гостю, неожиданно пришедшему в его сознание, но незримо Бениславской... Эта сцена столь же сильна эмоционально, как и сцена скандала, ранее данная в конце встречи и питья вина с Мариенгофом.

Исторически-мемуарно выверена и сцена свидания Есенина со Львом Троцким, который посвятил и ему статью в своей книге о литературе, увлечение которой он воспринял, сколь помнится, от своей старшей кузины, начальницы частной одесской гимназии, выгнанный из дома отцом. Он подолгу жил у неё. Эта преподавательница русской литературы была матерью известной советской поэтессы Веры Инбер.

Общение Троцкого с Есениным кончается предательским звонком Троцкого к Каменеву, отменяющим только что обещанное Есенину основание журнала. Иначе быть и не могло – не нужна была Троцкому русская исконная тема Есенина, нужен был пролетарский уклон поэзии, следующей за партией по магистральной, а не попутной дороге...

И заключительная сцена. Поэт сидит на железной кровати посреди комнаты... Это снова не поэт, не его жизненный образ, а его дух... в котором остались осколки мечтаний о мужицкой земле обетованной, об избе с земляным полом, о воде в кадке под тяжёлым притвором... Но воду эту прилетает пить большая серая птица-призрак, откинувший с крышки кадки камни притвора... Этот прямой символ, которым оканчивается пьеса, начавшаяся также символически. Тут эту птицу можно прочесть как символ Судьбы, пьющей воду, – то есть по мистическому значению, – чувства человека... Человек по-латыни – «Акварнус» – от латинского – aqua – вода.

К чести драматурга надо сказать, что достигнуты в силу хорошего знакомства с первоисточниками правдоподобность и цельность пьесы, стрела постепенности летит уверенно и динамично от начала к концу. Действие не буксует на месте, и во



власти актёров увеличить его темп, или замедлить.

Трагизм Образа основного героя также явен – запертый в полуглухом кольце нависшего над страной тёмного круга, он предчувствует свою смерть и умирает... Даже не умирает, а переходит в инопространство, под условную «синенькую лампочку»...

Ощущается, что пьеса написана режиссёром-профессионалом, – она очень зрима... Визуализация достигнута, несмотря на примат «словесного»

материала над действиями, которые изойдут из умело и оправданно созданных мизансцен...

Так что автора, Максима Панфилова, следует поздравить с созданием историко-биографической пьесы, отразившей трагическую Судьбу Поэта, в своей творческой интерпретации. Подобных попыток, насколько мне известно, не делалось за последние десятилетия истории Театра, а если и делались, то не таким, – иным художественным, драматическим мазком, иной лирической тональностью...

## АЛЕКСАНДР КАРПЕНКО

### РОГ ИЗОБИЛИЯ СЕРГЕЯ ШЕЛКОВОГО

Любой современный поэт есть, в сущности, синтез влияний предшественников. Потому классицизм, романтизм, модернизм, в широком смысле этих понятий, бессмертны. Меняются только исполнители и удельный вес того или иного качества у поэта. Если посмотреть на историю русского стихосложения применительно к поэзии Сергея Шелкового, думаю, не слишком ошибусь, если назову его творческий метод неоакмеизмом. Сергей Шелковый отдаёт предпочтение живой жизни, которая бьёт в его стихотворениях ключом. Он, без сомнения, один из самых «богатых языком» украинских поэтов, пишущих по-русски.

*Все были здесь и все слышны доныне.  
Озоном слов их лечится душа.  
Ползука от святыни до гордыни.  
II, взвешен во всемирной паутине,  
так и живёшь – и каешься, и греша...*

Стихи Шелкового панорамны, он пишет обо всём на свете, широко, размашисто, смачно. О странах, где побывал, о предшественниках-поэтах, вылетая их звучные имена в повседневность и даже в иностранные пейзажи. И во всём этом сквозят любовь и благодарность – к судьбе, к родной земле, к поэтам-предтечам. Словарь поэта обширен и современен. Сергей не боится вкраплений в виде старинных слов. Украинизмы, старославянские выражения придают слогу харьковского поэта неповторимый шарм. Например, вот строка: «Нахватавишись реньёв, аки пёс...». Так писал ещё Иван Грозный в XVI веке! Но Сергей Шелковый органично вводит нетрадиционную для XX века лексику в свою поэтику. Прижились там и слова

новояза – блокбастер, бестселлер и др. Шелковый наглядно демонстрирует нам, что слов, совсем непригодных для поэзии, не существует. В руках мастера любое слово – отшлифованный алмаз.

Поэт давно живёт «на земле скудно-ласковой», он принял в своё сердце жизнь в полном её объёме – как дурное, так и хорошее. Поэтому его стихи так разнообразны по мелодике и тональностям. Порой в его стихах слышатся даже нотки Гомера. «Оркестр многотрубный в браваурной сливается ноте». Конечно, это не гекзаметр, но двусложные эпитеты были ещё у великого слепого, и наш современник Сергей Шелковый успешно примеряет на себя словесные изыски седой древности. Это не случайная нота, таких «эманаций Гомера» в стихах Шелкового много. Вот, например, «жертволюбивая отчизна», «свежемолотый кофе». Но, в отличие от древнегреческого рапсода, в стихах Сергея Шелкового двусложные причастия встречаются гораздо чаще, чем «составные» прилагательные. Конечно, это Осип Мандельштам бережно передал ему по наследству «бессонницу, Гомера, тугие паруса». «Стихи в Харькове» – опять же переключка поэтов из прошлого, бродивших по улицам этого славного города. Конечно, Сергей Шелковый постоянно слышит в родном городе голоса великих поэтов. И хотя лично Сергей был знаком с одним лишь Чичибабиным, у меня возникает ощущение, что и с другими классиками он разговаривает вполне по-родственному. Так же когда-то и Пушкин, оставшись в одиночестве, с особой нежностью вспоминал своих товарищей по Лицею в бессмертном стихотворении «19 октября». Иногда у Шелкового возникает в стихах спонтанный и неожиданный космизм:

*Стихи – роса... Едва ль напьётся птица.  
Но есть магнитный неизбывный зов.  
И если звёзды нам не дышат в лица,  
откуда у Завета столько слов?*

Морозными февральскими вечерами я водил несколько лет тому назад Сергея Шелкового по московским поэтическим клубам. Удивительно скромный человек! «Ничто не выдавало в нём поэта, пока он не заговорил». Его творческая плодovitость поражает! Причём у него, в отличие от многих других активно пишущих поэтов, качество от количества ничуть не страдает. Сергей Шелковый умеет до дрожи, до мурашек писать в мажоре о хорошем и славном. Это очень редкое, эксклюзивное качество! Свет души, который, не смотря ни на что, пробивается к людям.

Сергей Шелковый – человек широкой души; в нём язычник уживается с добрым христианином. На практике это не так уж невозможно. Сергей Шелковый – «певчий», он не сетует, что родился не в том месте и не в то время. Богатство души побеждает, в конечном итоге, «век Иуды». Главный

герой произведений Шелкового – это, безусловно, его язык. Не случайно в предтечах у поэта такие славные мастера слова, как Андрей Платонов, Максимилиан Волошин, Осип Мандельштам, Борис Чичибабин... Напутствие последнего, возможно, и придало юному ещё Серёже Шелковому спокойную, величавую уверенность в своём даровании. Харьковского хлопца заметили в столице. Издательство «Советский писатель» включило его в антологию самых даровитых молодых поэтов восьмидесятых годов прошлого века. И Сергей не зазнался, не зазвездился, его талант с годами только креп – и обрстал новыми гранями.

*В зимний вечер – тоска изначальна,  
сквозь метель всё бывшее видней,  
а душа – просветлённо печальна  
в ожиданье Рождественских дней.  
Век мой отдан без спросу Иуде,  
но, пока не занёс меня снег,  
лепечу о прощении-чуде  
в непрощаемый Господом век...*

## АЛЕКСАНДР КАРПЕНКО

### «ПАДЕНИЕ В НЕБЕСАХ» СЕРГЕЯ ГЛАВАЦКОГО

(Сергей Главацкий. «Падение в небесах», Одесса, КП ОИТ, 2016. – 274 стр.)

У одесского поэта Сергея Главацкого вышла новая книга «Падение в небесах». В названии сразу же обращает на себя внимание последняя буква «х». От наличия или отсутствия этой «беглой» буквы зависит смысл всей фразы. Изменение одной литеры приводит к кардинальному изменению тональности всего повествования. «Падение в небеса» – это выражение счастья, «падение в небесах» – символ неподдельного горя и космической утраты. Ты уже в небесах, где, казалось бы, и падать некуда. И если человек упал в небесах, значит, произошло действительно что-то непоправимое, из ряда вон выходящее.

Новая книга Сергея Главацкого составлена из стихотворений последних тринадцати лет. Доминирующее настроение книги, на мой взгляд, – печаль по поводу несвершённости сокровенных помыслов, а также – обретение нового голоса через утраты. «И будет душа – тяжелее свинца», – говорит поэт. «Два их, спешащих, окрашенных в красное, сердца». «Никогда я тебе не скажу, что над нами когда-то был нимб». Сергей Главацкий верит в единый нимб над

двумя влюблёнными. Дуэт двух любящих сердец – тончайший музыкальный инструмент, который требует филигранной настройки. Чуть что пошло не так – и вместо божественной музыки в тандеме влюблённых начинает звучать какофония, которая может привести к саморазрушению:

*Эти альты кощунственно громко скрипят.  
В этом теле немислимо много души.  
Этот день слишком свят для тебя.  
Ты не сможешь его пережить.*

*И жемчужные пухлые плавни веков  
Омывают твои и мои корабли.  
Это нимб над неснешной тоской.  
Это гул электрочки вдали.*

Сакрализация и десакрализация любви – вот основная тема новой книги Сергея Главацкого. Мы возносим порой свои чувства на недостижимый пьедестал, упываем с ними в сизую вечность – а потом внезапно падаем вместе с ними в глубокую



пропасть. В ловушку, подстроенную судьбой. Что-то не связалось, и, даже если мы выясним, что именно, это не спасёт от пожираемого горзой отчаяния одиночества.

Грехопадение в ортодоксальной мифологии обычно трактуется в миноре, с сожалением, как отпадение от Бога. Но, в сущности, повесть об Адаме и Еве – это диалектика в виде притчи. Невозможно определить, что ценнее – скучное бессмертие в райских садах или поиск новых путей, за который нужно заплатить тем самым бессмертием. Я думаю, что истинное богатство человека – в симбиозе прошлого и настоящего. Герой Сергея Главацкого страдает, ибо он помнит Рай. Но, если бы Рая у него не было, не было бы и страдания, не было бы этой тоски по вечно ускользающему идеалу. У Главацкого всё осложняется тем, что Ева и Лилит – мимикрируют в одно лицо. Что же остаётся делать бедному Адаму? Может быть, надо стать Пигмалионом и создать свою Галатею?

*Адам не любил яблоч  
 И потому остался в раю  
 Наедине с собой и своим бродяжничеством,  
 Снящимся седой Еве.  
 Ему даже не пришлось вспоминать  
 Обезболивающие молитвы,  
 Ведь Отец знал,  
 Что время неразборчиво  
 И всё приводит к нулю.  
 А Ева воспитывала Каина,  
 Променяв молитвы на таблетки равенствий,  
 И храбро смотрелась в кривые зеркала,  
 И всматривалась в сны,  
 Где её муж  
 Неподвижно сидит  
 У входа в их соломенную жизнь  
 И готовит ужин  
 На две персоны...  
 Так на Земле родилась тоска.*

Лирика Сергея Главацкого изысканна и щедра интонациями. В ней естественным образом присутствуют «муаровые вечера», «увертюры ироний», «пассатное соло» и т.п. Эта эстетика, возможно, тяготеет к Игорю Северянину. Только Северянин у Сергея Главацкого очень грустный, как Фёдор Сологуб.

*Внимательно подслушивай течение времени  
 Сквозь жабры раковин морских.  
 Ведь сплывает океан в каком-то декабре меня  
 На берег, в хищные пески.*

В текстах Главацкого встречаются щедрые рифмы, вроде «времени – декабре меня». И, конечно же, чувствуется, что стихи пишет молодой человек, выросший уже в постсоветскую эпоху. «И каждый декабрь я след твой теряю под снайперским снегом...». У любовных переживаний, при всей их остроте, на грани жизни и маленькой смерти, есть одно несомненное обретение – начинаешь смотреть на окружающую жизнь философски. Разочарованные романтики становятся глубокими философами. Обретения – оборотни потерь. Хочется от всей души пожелать Сергею Главацкому ценить свои обретения, невзирая на горечь утрат.

*Нет яви. Есть – воображенье.  
 Очнись от спячки, и тогда  
 Лишится смысла все движенья  
 И всех нас в мусор пустота*

*Сейчас же выкинет, конечно,  
 И ты поймёшь, столкнувшись с ней,  
 Что нет и не было безгрешных,  
 Да и греховных тоже нет,*

*Что пустота перекрестилась,  
 Запутавшись в добре и зле,  
 Что жизнь ещё не зародилась  
 На этой огненной земле,*

*Что в чреве разъярённой тверди  
 Зачнут червивые дымы –  
 Единство времени и смерти,  
 Единство памяти и тьмы,*

*Что потому всё в мире – тайна,  
 Что ничего в помине нет,  
 Что миражу мираж случайно  
 Приснился в обморочном сне,*

*И тот взаимностью ответил,  
 И миражи, спускаясь с гор  
 И убаюкивая ветер,  
 Друг другу снятся до сих пор.*

*Их ветер сдул уже с пустыни,  
 И сны их – стали сниться: нам,  
 И, утонув в движенья линий,  
 Мы сами снимся этим снам.*

## ЕЛЕНА КОРО

### РЫБНОЕ МЕСТО

(Евгения Джен Баранова «Рыбное место» – СПб.: Алетейя, 2017)

Сборник – остов и остров поэта, рыбное место хоры, водоворот, в котором время теряет хронологическую выверенность, превращаясь, точнее, обращаясь, Протеем, улавливаемым героями в миг, когда запечатлённый лик теряет возможность вывернуться ипостасями. В центре водоворота, как и в центре циклона, – хора, рыбное место. В нём немые глубинные архетипы как сущи океанского дна, никогда не всплывающие на поверхность. Они обитают в сущем и сами сущь, и сущи Соляриса. Вот поэтому мы и подойдём к сборнику Джен «Рыбное место» как к месту хоры, в котором герой утрачивает ипостаси реального, но обретает лик, лик глубинной рыбы, смотрящей сны девочки Жени Барановой, поэта Джен, видящей в водовороте не пену дней, но разность путей и мест бытия поэта, одномоментно исток и исход.

Обращаясь к судьбе поэта, невозможно не провести её реконструкцию. Поэт понимает это сам, давая книгой право не только на себя, но и на миф о себе. Просачивающиеся струйками инобытия мысли оборачиваются образами, историями, сюжетами; ипостаси обретают плоть имён, рождаются в становлении героями, становятся кентаврами. Литературных кентавров предостаточно в книге поэта, ибо он обременён хорой, а точнее, хора беременна поэтом. И если в мир приходит поэт, то это явление внутри хоры. Он вне времени, как и сама хора, и отягощён бременем, о котором, как о блаженном наследстве, писал Мандельштам, – «чужих певцов блуждающие сны».

Творчество Джен как водоворот блуждающих снов, как предел хоры, хоризмосом пограничья, подвешенным шагом аиста, нет, зозули, кукушкиным льном, оксюморонами-кентаврами, каждый из которых предельно выверен и завершён в смертельной незавершенности оксюморона на границе между паузой и речью. И в смертельной тишине паузы зозуля, замёршая в незавершенности звука между языками: зозулей и кукушкой, становящаяся межъязыковым кентавром, разъятым на до и после санитарным кордоном пограничья, что оксюморонно страшно разводит водоворотом реалий современности:

*прекрасные истерические люди  
страшат меня*

*когда наконец закончится  
то что должно закончиться  
и я не знаю право стоит ли им отвечать  
потому что в небе по-прежнему существует кукушка  
отвешивающая фрузики нашим жизням...*

*неважно о чём говорила кукушка  
не так ли  
не так  
чи не так  
чи не так*

«Зозуля»

Так создается искусственная межъязыковая непреодолимость форм на санитарном кордоне пограничья. Но живым голосом из хоры, звуками без перевода, зозуля ли, кукушка ли, говорит о важном, о жизни и смерти.

*... лишь перестать в фамилии Зозуля  
ловить кукушек.*

«Полонез Огинского»

Поэт делает, наконец, единственно верный шаг: птицеловом имён, именем, катарсисом пульсирующих минорных доминант беотийского лада души, пульсарамии оксюморонно сложных, уже запредельных метафор переводит через водоворот Леты голоса имён, становящихся глоссами. На внутреннем пределе трагизма создает новый глоссарий Мнемозины.

Вернёмся же в рыбное место хоры.

Хоротопом листригонов предстаёт эта местность в реальности.

*Цареубийцей вырвался закат  
(бежал по бухте, отражаясь в иле).  
Вся Балаклава – стянутый канат,  
который незаметно отпустили*

«Рыбное место»

Протяженность его хронотопа: от листригонов гомеровского мифа, палимпсестом пиратской гавани тавров, к балаклавским грекам-листригонам Куприна. Так хора в пространстве мифов оформляет реальность местности пиратов-листригонов. Так миф-палимпсест от поэта к поэту передает



листригонство как качество характера обитающих в этой местности.

Здесь мы и переходим к героям, к литературным кентаврам Рыбного места.

Каковы они, обитатели, устроившие засаду в центре водоворота?

*...герои – плывут и плывут наружу,  
как вексель, под жабрами скапливая века.*

«*II летят голоса*»

И вот «чужих певцов блуждающие сны» не отпускают поэта ни на миг, и в этом странный симбиоз души, принимающей все формы как свои, не все, конечно, все формы носит в себе только хора, носит праформы вещей. Но в этом качество души поэта, его беременность, вынашивание и чувство материнства речи. Мандельштам был так близок к хорическому строю поэзии, к хорической речи – до обморока. Вот и Джен этот мандельштамовский обморок «взяла, отобрала сердце и просто пошла играть – как девочка мячиком».

*Короткий обморок сирени  
был неглубок, но Мандельштам  
вернул кустарник сизой лени,  
лиловых сумерек рукам.*

*II обморок остался – щуплый  
отросток лета на сносях.*

«*Сирень*»

Точнее не скажешь. Это хорическая способность «отбирать сердце» у вещи, явления. Это возможность нарекать вещь именем скрытого смысла. «Меня больше обморок интересовал, ибо точнее выразить сирень сложно» – Джен.

И в этом вся Джен. Назовём ли мы эту способность симбиозом с акмеизмом? В чём суть этого литературного феномена 21 века?

И здесь мы вновь вернёмся в рыбное место, в центр циклона, туда, где засаду устроила уже сама Джен, – литературе, поэтической речи.

*Нище похож на Троицкого.  
Оруэлл – на коня.  
В мире безмерно плоского  
хватит меня ровнять.*

Плоское бывает безмерным, одномерность восприятия бытия, как ни странно, болезнь мира и века it-технологий. В мире матрицы живут под видом людей программы-менеджеры, управленцы среднего звена. Это фантастическое явление, увы, реалии современной литературы. Молодые люди

заканчивают литинституты, становятся литературными работниками, называют себя поэтами, начинают считать себя поэтами, ведут образ жизни поэтов и бла-бла-бла. Они все знают о жизни поэтов 20 века, они считают, что сейчас устарело название «поэт», что женщинам-феминисткам в начале 21 века стоит называть себя поэтессами, а лучше поэтками. Они дают себе право на странности, на флэшмобы и чудачества. Наконец, речь заходит об их стихах. Вначале недоуменно зависает вопросом в одномерном пространстве, потом ты видишь, что всё, мы все попали в то плоское, что безмерно и циклично, что плоскими кольцами пронизало всё, и не вырваться из этого круга, как из Садового кольца современной московской литературы. Между поэтами живут литературные работники, менеджеры среднего звена современной литературы, по воскресеньям совершающие запланированные странности, как и положено современному поэту, по вторникам организующие поэтические акции. Имитация настолько совершенна и завершена, что если бы не стихи, напрочь лишённые живого голоса поэзии, если бы не поэты, взрывающие пространство мёртвого междуличья – живой речью поэзии, если бы... не различить мёртвое и живое...

*В мире историй лаковых  
хватит искать почин.  
Творчество не для всякого.  
Творчество – для мужщин.*

*В мире спокойных почестей  
бьётся святая злость.  
Творчество – это творчество,  
а не собачий хвост.*

*До белены, до пенсии,  
до снеговых вершин!  
Мужество в каждом действии.  
Или же не пиши.*

А Оруэлл троянским конём речи в поэтическом междуличье из междометий, из матричных схем, универсальных рифм, из брошенных глосс создает новояз для менеджеров. И пала Троя поэзии, и версификация новояза подменила живую поэтическую речь, и пришли менеджеры-литераторы, управленцы-культурологи и вытеснили поэтов, учёных и перекрыли им кислород, закрыли институты. И было сказано: «Культура – удел прошлого, будущего у неё нет».

А Оруэлл бил в набат, кричал о спасении. И Замятин бил. Закрывали.

Поэт приходит в мир последним не с заданным набором странностей, как считают современные литераторы, он приходит потому, что иначе прервется связь времён. Отсюда этот удивительный симбиоз, эта крайняя близость блуждающим снам чужих певцов.

И рыбное место хоры – колыбель поэта, место силы, бесконечный источник поэзии. Его место живёт живыми мифами, творящимися вокруг каждый день и от начала времён, от Гомера.

*Приятно на острове лет в девятнадцать.  
(не остров! не остров! у острова – шея!  
конечно, не остров: снаружи виднее:  
кагор, Воронцов, водопады, колонны)*

*Приятно в деревне, с которой ты скован.*

*Из рыжей земли на кровавом кизиле  
тебя, как подснежник, деревья растили.*

*И солнце цвело, и тетешкала осень.*

*Приятно в посёлке, который ты бросил.*

«Кореиз»

И так же из рыжей земли на кровавом кизиле, как подснежник, поэта растили не только деревья, но и слова, но и образы поэзии от начала времён, как вековые деревья.

И душа росла, тянулась, произносила слова самой интимной из всех близостей, – с голосами поэтов.

*И сверху дно, и снизу дно,  
и жар теплушкой волоокой.  
«Мне совершенно все равно,  
где совершенно одинокой».*

«Цветавой»

*Кукушонок выпрыгнул из гнезда.*

*– Мама-мама,*

*я тоже хочу  
как все.*

*– Посмотри,*

*мой милый,  
кругом вода.*

*Что ни день,*

*то мёртвый Саддам Хусейн.*

«Посвящение Блоку»

*В этом городе, бледном, как шерсть,*

*Притворялись птенцы птицеловами.*

«Путешествие из...»

И диалог во всём, со всем, со всеми, птички переклички с Блоком, Севастополя с Петербургом, «его лиц ледяная очередь почему-то пропала де-

ревом», такое петербургское «лиц ледяная очередь» с таким родным, крымским, запахом – дерева.

*Я – только дерево, я – слово,  
произносимое в горах.*

*Какая разница с какого  
мы переводимся как «прах»*

«Посвящение Крыму»

*Чувствую, как из меня вырастает слово,  
рвётся на небо, боли моей испив.*

*Слово, пожалуйста, выжми себе другого,  
как золотую мякоть из тела слив.*

«Посвящение слову»

*Так ценноно – со словом, кфикам – никому:*

*Ты же писатель, Женя! Если случится – жи:  
рукопись, письма, тело или саму Москву.*

«Посвящение себе»

В мире поэта перекрёстки дорог – созвучия аллитераций: «из Кореи тянет в Кореиз»; перекрёстки диалогов:

*Нравственный закон снаружи*

*Вряд ли будет обнаружен.*

*Кантом вышивает Фейербах.*

Материнское хорическое, младенчество речи, млечноречное предречье, малореченское, из рыбного места, из бухты символов хоры – хоротопом дорог, через посты пограничья языка, где сурова таможня, призрачна, виртуальна, тем самым страшна и реальна:

*Министерство горькой правды*

*превращает стадо в равных.*

*Осторожней в мыслях и словах.*

В мегаполис полисов, в мегаполис, матричный, реальный, – эмигрантом из хоры – в бытие отца.

*Приставки, суффиксы, софизм.*

*Рифмовка вяжет узелок, садится тихо в самолёт  
и эмигри-, и эмигри- ать.*

*Меня расплощивает жизнь. Песчаной змейки поворот  
так выбивает из-под ног,  
так выворачивает вспять.*

*Я – Эми Грант,*

*Гат Мегрэ.*

*Я детектива персонаж –*

*размиллионенный, пустой, и все улики – на лицо.*



Так забывают на земле  
простивший небо экипаж.  
Так убивают в тишине.  
Так объясняются с отцом.  
Так оставляют маму ждать,  
и ждать, и ждать (за скайтом дверь).

«Эмиграция»

И персонажем, уличенным взглядом «миллионноглазого ангела»:

Что же мне, южанке, делать с этим взглядом –  
голубым, зеркальным, ледяным.  
Миллионногубый, ты же привкус ягод,  
золотая Азия и бьём.

«Москва»

Услышать вдруг изначальную речь, что течёт  
рекой через весь мегаполис, увидеть вдруг истоки  
предречья, хорическое начало, хору Москвы, что  
«водит разговоры, хороводы-воды над рекой»

И куда мне деться от своей отваги,  
от дремотных улиц калача?  
Смоква, бог куринный, счастье на бумаге,  
теремок, не спящий по ночам.

И обрести себя в рыбном месте Москвы, что  
смоквой, оказывается, крымским инжиром – род-  
ным деревом вновь в тебе, и тобой, и с тобой, и  
ты – Москвой.

Так поэт прорастает деревом, словом, речью-  
рекой струится по улицам ледяных лиц, рыбьим  
глубинным оком – в окоём языка, так поэт во всём  
и со всеми, кто называет вещи своими именами.

Вот в чём горькая правда XXI века: поэт ведёт  
летопись, извлекает из поэтической речи обмо-  
рок сирени, стрекозьи движения белого листа  
ромашки,

которую Набоков-гимназист  
всё ловит крепдешиновым сачком.

Во мне живут ромашки. Их глаза  
напоминают цветом мушмулу,  
которую успеет облизать  
дворняга-дождь шершавым языком.

Вынужден извлекать, не нарекать как акменсты  
в начале XX века. Извлекать, как ашпик извлекает  
звуки из саза, как фазет извлекает глоссы из Леты,  
слагая летопись Мнемозины, чтобы списком пер-  
вородства, перечнем кораблей, «сим списком – жу-  
равлиным, красноперым», фаззией в матричный  
мир новояза топосов – хорическое первородство  
поэтической речи, «метафизический Чернобыль  
необитаемой души».

### ПОСВЯЩЕНИЕ ПОЭЗИИ

Не покидай меня! Не пробуй!  
Не пей, не ройся, не взыщи.  
Метафизический Чернобыль  
необитаемой души.

Моя поэзия!  
Хотя бы  
не проходи. Не привечай  
дороги-дроги, мысли-крабы,  
и горюхов чужих печаль.

И лица лишние, и скатерть  
в слезах от кофе с эскимо.  
Любимец музыки, певчий катет!  
Смотреть и больно, и смешно.

Моя поэзия! Трамвай ли,  
от солнышка ли ржавый пёс.  
Ты-дух\_ты-дым. И осень валит.  
И жизнь летит из-под колёс.

## НИНА ГЕЙДЭ

### СЮРТУК ИЗ ВЕЧНОСТИ

Рецензия-отражение на книгу Станислава Айдиняна «Механика небесных жерновов»

Вселенная каждого большого поэта неисчерпаема. Она населена своими собственными созвездиями образов и символов. В ней – своё переплетение смыслов и толкований бытия; в ней – свой млечный путь, свои метеориты, астеронды, далёкий свет «белых карликов» и магия «чёрных дыр». Каждый читатель – странник по

поэтической Вселенной – найдёт в ней что-то своё – волнующее, родственное. Так и я, отправляясь в путешествие по лирическим страницам книги Станислава Айдиняна «Механика небесных жерновов», буду, прежде всего, останавливаться у своих «небесных колодцев» с живой водой, чтобы посмотреть в них и зачерпнуть созвучия, не



претендуя на полный охват-обзор разнообразных поэтических измерений, представленных в книге.

*Механика небесных жерновов  
Невидимо земле необходима;  
И пролетают мимо, сквозь века  
Ночей метеориты-пилигримы.  
И музыки расплавленной нутро,  
Что через хаос девственно струится,  
Мелодию планет перепойт  
И Абсолютом солнца воплотится...*

Механика небесных жерновов... Сразу же – столкновение несовместимого. Небо на то и небо, чтобы быть на расстоянии от земных забот: перемалывания хлеба насущного. Но поэт творческим своеволием переламывает эту кажущуюся несовместимость. Поэтически легко, но напряжённо эмоционально поднимает, как атлант, землю к небу. И удерживает там. Вся поэзия Айдиняна – служение именно этому действию, действу. Потому что – «в небе тысячи исхоженных дорог» и бесконечное множество ещё нехоженных, которые предстоит открыть.

*Стихи из образов земных слагаются,  
Как крылья птицы слагаются  
Пред взмахом высоты...*

Как человеку подняться к небу? Прежде всего, через силу духа, силу мысли. Редко удаётся прикоснуться к поэзии, столь преданно служащей высшему – духовному – началу бытия. Столь искренне верующей в безграничность миропознания. Столь устремлённой к Вечности.

Не авторское альтер-эго, именно Вечность – главная лирическая героиня большинства стихотворений «Механики небесных жерновов». «Мы все у Вечности в прямом долгу» – утверждает поэт. Если это не так – не стоит и браться за перо. Будут сменяться эпохи, гибнуть царства, города, развенчиваться идеи, поколения будут сменять друг друга. Останется поэзия – разве что с музыкой делящая лидерство в духовной первооснове человеческого бытия («весь мир – органнй звук, в котором ноты – тайны...»). Потому и служит поэзия таинству довоплощения земного в небесное. Она – те жернова, которые перемалывают зерна земного, чтобы испечь небесный хлеб вечного. Изначально насущный.

Кипучий, близкий водоворот житейского, повседневного промчится мимо и не оставит следа. А душа всегда будет тосковать по вечному, ловить его ускользающий свет в каждом навсегда

гаснущем дне. За стремительным бегом времени, приближающем небытие, угадывать бессмертие.

*Пусть бешено несутся сквозь века  
Пустые дни.  
А Вечность – неизменна.  
Она как глубина,  
Лишь сверху пена  
Минут, непостижимых до конца...*

В мастерской Вселенной кипит работа. Её замыслы не всегда нам понятны. Но мы наблюдаем, как трудятся её многочисленные подмастерья – невидимые закройщики цивилизаций, культур, судеб. А поэзия привносит в этот процесс завершающую смысловую и образную символику. Одаривает духовным совершенством.

*Портной сошьёт  
Из листьев город,  
Портной не разгибает спину,  
Чтоб сшить проспекты,  
Переулки, мосты,  
Улыбки и печали  
В единый – как ковёр – узор.  
Ковёр старинного «покроя».  
Сюртук из Вечности надет  
На стены южного предместья...*

Стихотворение написано об Одессе. Но образ «сюртука из Вечности», который столь мастерски надевает поэт на «оголённую реальность» – на самом деле всеобъемлющий, очень знаковый в творческой мастерской Станислава Айдиняна. Бытовое, сиютекущее, ходящее своими малыми кругами житейских потребностей, не очень интересно автору. Так же, как не очень притягивает его описание событий собственной жизни в измерении житейском, исторически замкнутом. Поэт ощущает себя частью мировой истории, наблюдателем вселенских катаклизмов и превращений. Он мыслит веками и тысячелетиями, ему легко обозреть с небесных высот исторические эпохи, географические широты, прихотливую вязь взаимопереплетённых культур. В «театре веков» он лёгким движением набрасывает на актёров «одежды Вечности»...

*В театр веков  
распахнуты врата,  
Тевтонский меч  
давно вморожен в камень.  
Тетрафх заснул.  
Желтеющий пергамент...*



Не шлепетит по-гречески строка.  
 Нить освещают белые огни.  
 В гробнице череп сторожит мгновенья.  
 Не перекрывать всецелостного бедня  
 Той чуткости –  
 без носа, без лица...  
 Над миром Логос создаёт себя –  
 Он домышляет судьбы, дни, соцветья  
 Орнамент мыслей, снов, тысячелетий...  
 В его рассвете  
 Пирамида льда –  
 Астральный свет  
 градующих огнелетий...

Вновь и вновь осознавая мир и себя в Логосе, Станислав Айдинян возвращается к изначальной сути поэзии – не отражать видимый мир, но преобразовать его собственным творческим началом, быть его со-толкователем, со-творцом. Переводить на земной – человеческий, поэтический – язык тайные символы бытия. И идти ещё дальше – пытаться подобрать слова к неназываемому, лежащему за пределами видимого. Постигать «пространства прихотливый круг», разомкнутый в бесконечность. Разбрасывать и собирать камни своей судьбы, умея видеть в преходящем – вечное.

Время разбрасывать камни настало давно,  
 Мы разбросали, как камни,  
 Минуты и дни нашей жизни.  
 Камни бросали в костёр,  
 Из костра полыхало зерно,  
 Злак лепетал о любви...  
 И о тризне.  
 Вечности смертный налёт на губах...  
 А вослед –  
 Что на дороге ночной  
 Оставляем мы вечной порою?..  
 Люди уходят, зерно полыхает в костре...

Когда камни разбросаны, и их уже не собрать, когда зерно любви превращается в костре разлуки в пепел, и смертный налёт Вечности появляется на губах – что же остаётся? Только Слово. И возможность творить новую реальность – творить и населять новыми смыслами. «Пусть днесь и вечно будет Слово!..» – восклицает поэт. И смело выражает мысль о том, что, возможно, вся наша жизнь – не более, чем прихотливая игра Логоса. И вовсе не мы создаём Слово, а Слово – нас. Мы – лишь его отражение, его сны, игра его фантазии.

В воздухе дорога, –  
 Путь мой млечный

Небо поит белым молоком.  
 Вижу – тихо вьётся Бесконечность  
 Тускло-звёдно-искристым дымком.  
 Верю в то, что звёзды, разгораясь,  
 В бездны души глядят из полумглы,  
 Что над нами, мыслями свиваясь,  
 Разум-Логос дремлет до поры, –  
 Мы живём во снах его, живого,  
 Мы лишь только «анимы» его;  
 Мысли мы, мы дрёмы, –  
 Полубоги, полутени,  
 Полу-ничего...

Слово делает окружающий мир реальным. Энергия Слова – не бытовая, не житейская. Иногда это не только энергия созидания, но и энергия разрушения – по-своему тоже преобразующая мир. Диалектичность бытия определяет диалектичность сознания и наоборот. Нужно стремиться к постижению жизни, но не грубому, бесперомонному. Скорее – вкрадчивому: вслушиванием, вчувствованием. Не нужно ломать золотые часы, чтобы увидеть «непостижимый ход минут». Надо чутко и бережно прикоснуться к миру видимому и невидимому, к вещам и явлениям, которые «до-воплотиться строчкой рады, тоской по Вечности полны...». И тогда Мироздание раздвинет «ставни бытия», даст услышать, как «дождь идёт за окном Вселенной», покажет, как «вокруг вбивает сваи время», создавая эпохи и цивилизации, затеет «огромную случайную игру неба над зеркалом воды», расскажет о судьбе деревьев, которые стоят «по пояс в снегу, как кони, что замерли вдруг на бегу», научит «удить рыбу прямо из печали», отпустит идти «сквозь отраженья, отзываясь на шорох сна», высечет «из подсознания искры узнаванья» первооснов бытия, доверит краеугольный «камень книги миропревращений», подарит святую простоту «солнцержённого мига миропознания», извечно явленного в Слове.

Великолепна ярость бытия.  
 Пусть конь несёт  
 И порваны страницы –  
 И с них на волю пущены слова,  
 Они летят – как искры и как птицы...

А с ними летит душа – на свободу, потому что Слово – это ещё и проводник за границы материального, телесного, рационального – в сферу духовного, не имеющего пределов.

Душа-невольница рожденьем разогрета  
 Влетает в тело, как ребёнок в дом.

*Вбегают, а потом страдает тязко,  
Вериги из материи приняв...*

Если душа попадает в стихию живого Слова, становясь его со-творцом, её уже не держат «земные вериги». Вершатся новые смысловые реальности, новыми созвездиями заселяется поэтический космос.

Любовь в таком космосе – это тоже чувство над-земное, поднявшееся над законами и законами житейского, бытового, несовершенного. Любовь – абсолют: «любовью в вечность движутся планеты». В книге мало «классических» стихотворений о любви именно потому, что и это чувство, эта стихия – полнее всего проявлена для поэта в измерении небесном.

*Хотя любовь – занятие земное  
Но что земное – вовсе не любовь...*

Отсюда и неизбежное понимание того, что на земле не бывает идеальной любви. Да и вообще идеалы недостижимы. Диалектика бытия требует после приливов – отливов. Мелей. Заводей печалей. Тихого самоосмысления («как трудно идти между “я” и “не я”»). Путешествий по кругу вечных безответных вопросов.

*Куда уносится, куда уходит жизнь,  
Когда открыты в сумрак тихий двери,  
Когда в саду, в треду, лягушка-тишь  
Сидит и ждёт, в кувшинку глазки вперед?  
Куда уносится, куда уходит жизнь?..*

И чем длиннее пройденный земной путь, тем больше разочарований, размышлений о часто неравной борьбе между добром и злом, о непостижимой игре светотеней, об оборотной стороне Вечности – о скоротечности земного существования, о брэнности человеческих чаяний («амфоры, что плывут на корабле, будут через две тысячи лет на дне моря, и вместо вина жизни в них будет лишь ил забвения...»)

*Как странно чувствовать, любить,  
Когда кругом – одни распятья,  
И Смерть, раскрыв свои объятия,  
Смеётся над ульем жить...*

Чуткая поэтическая душа откликается всем печалям и несовершенствам мира так же, как и его жизнеутверждающей гармонии. У поэта, не замкнутого на себе, а разомкнутого в мир, во Вселенную – «раны вдохновения» обнажены всегда,

ведь творчество – это не «комнатное хобби», это способ существования, дыхания. Это судьба. Мужество пропускать через себя «жизни поток алый, кровавый...». Приговор и оправдание. Обречённость в жизни земной и обрётённость себя в Вечности.

*Сердце – усталый камыш.  
Там, на просторе дыханья, ты шелестить,  
Словно кораблик, волною шумишь.  
Плещется в борт твой  
Жизни поток алый кровавый.  
Какого меча, пули какой  
Или обмана ты ждёшь?..*

Одиночества «многия печали», как неизбежная плата за избранность многознания, за отрыв от усреднённо общепринятого – сквозная тема «Механики небесных жерновов», редко, впрочем, явленная открыто. Хотя поэт и проговаривается порой – «у меня на душе столько снега скопилось давно» – он скорее аллегорически рассказывает о том, как одинок путь поэта, как трудно встретить единомышленника на небесных дорогах.

*Крот из норы  
Не хочет взгляда в небо,  
Пусть птица удивляется ему.*

Бывают грустные минуты, неизбежны потери и разочарования. Но очарование поэзии Станислава Айдиняна в том, что сквозь вдруг сгущающиеся тучи в его стихах обязательно пробивается солнце. Исцеленье от всех печалей – «там, где свет, там, где юность, там, где детство». То есть в мире первозданных надежд, непосредственной радости существования, в мире чудес и доброты:

*Для тех, кто в чудеса не верит,  
Чудес и вовсе не бывает,  
И если никого не любишь,  
То сердце глухо к чудесам.*

Мир по сути своей – ребёнок, трудный, порой капризный и жестокий, и всё-таки – открытый добру, любви, милосердию. Главное – преодолевая все беды и ужасы бытия, оставаться на его светлой стороне, не забывать о небе над головой.

*Я небу учусь у детей и стрекоз,  
Не ангел ли тучу по небу пронёс?  
Откуда летела, кружась, стрекоза?  
Ей ангел шепнул – Опускаться нельзя  
На жаркое поле близ старых берёз.  
Не ангел ли время на небо унёс?*



Жизнь скоротечна, смерть неизбежна. Но, возможно, жизнь и смерть, переплетены теснее, чем мы себе представляем. Их единство и есть диалектическая суть Вечности.

*Жизнь коротка! –  
Сказал я эху скал.  
И от вершины ветер побежал,  
Неся ответ, что смерть ещё короче...*

Экзистенциально-философская лирика Станислава Айдиняна насыщена интересными образами, ассоциативными сопереживаниями. Он умеет в одном стихотворении сказать нечто очень важное о сути жизни, её таинственных переплетениях, и – идя ещё дальше – неуловимо коснуться тончайшего шва, связывающего бытие и небытие:

*Куда-то подевался день,  
Рассыпались во прах минуты,  
И в потонувшие каюты  
«Титаника» упала тень,  
И череп улыбнулся Солнцу,  
Чей луч проник в иллюминатор.  
На череп тот глядели рыбы,  
Не понимая ничего...*

*А водоросли плавно плыли,  
Колбясь средь песка и ила,  
Они росли на чемоданах  
И прорастали сквозь пенсне.  
Часы давно остановились,  
Давно не светят большие люстры,  
Но череп улыбнулся солнцу,  
И значит – жизнь живёт везде...*

Читая книгу Станислава Айдиняна «Механика небесных жерновов» – как будто пересекаешь вместе с автором Вселенную на поэтическом астральном корабле, перелистываешь эпохи и города, поднимаешься на горные вершины человеческого духа, падаешь в бездны и вновь возносишься в небо, открывая новые горизонты сознания. Удивительное ощущение свежего воздуха в лёгких, радостное и родственное чувство полноты.

*Я словно на вершине мира,  
Где цикл закончился земной,  
И ледовитые громады –  
Как памятник любви чужой.  
Здесь не солжётся,  
Застыло время  
На нам неведомом пути,  
И я вдеваю ноги в стремя,  
Чтобы небесный путь идти...*

ББК 84 (4 Укр-4 Оде) 62я45  
Ю 195  
УДК 821.161.1'06 (477.74) – 94

Підписано до друку 23.01.2017 р.  
Формат 60x70/8. Гарнітура Garamond Narrow.  
Папір офсет. Друк офсет. Ум. друк. арк. 21,17.  
Зам. 1431. Тираж 500 прим.

Видавництво КП ОМД (свід. ДК № 774 від 17.01.2002 р.)  
Надруковано в КП «Одеська міська друкарня»  
65012, Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17